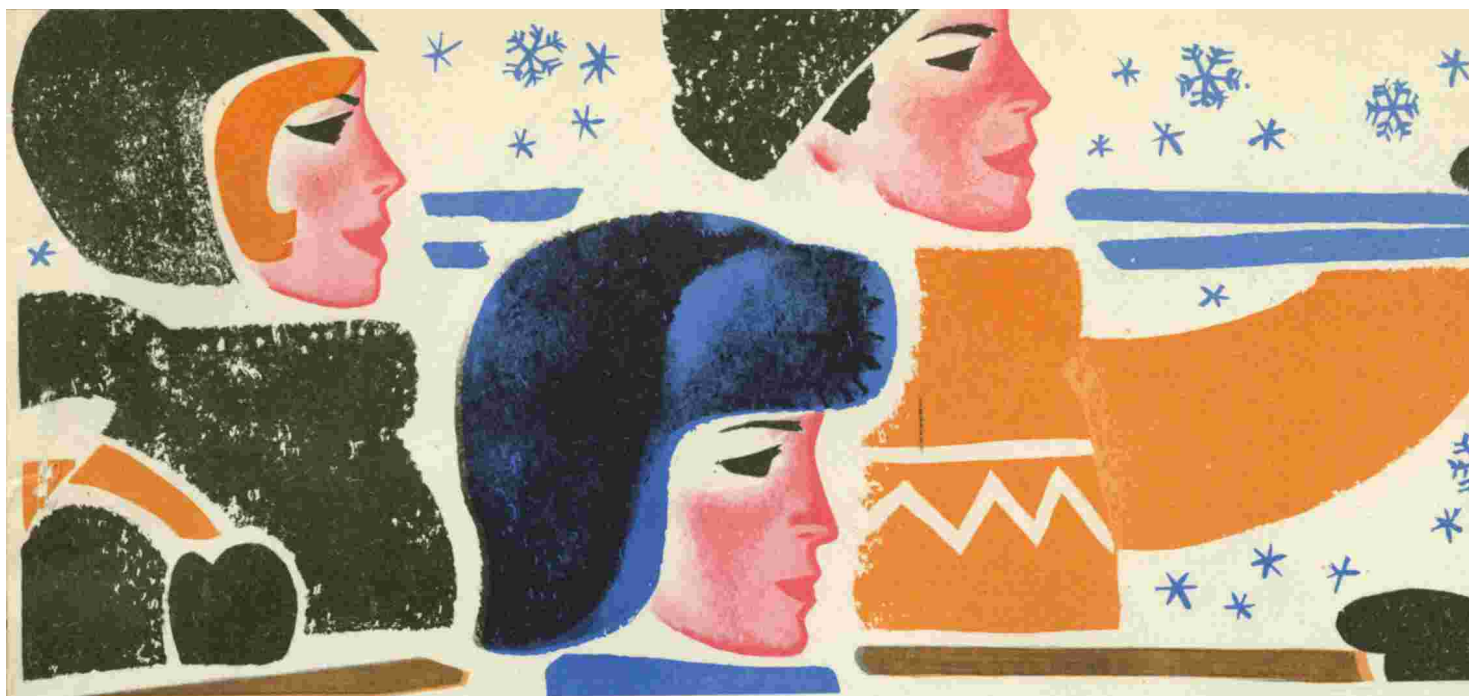




ЮНОСТЬ





Подмосковный пансионат.

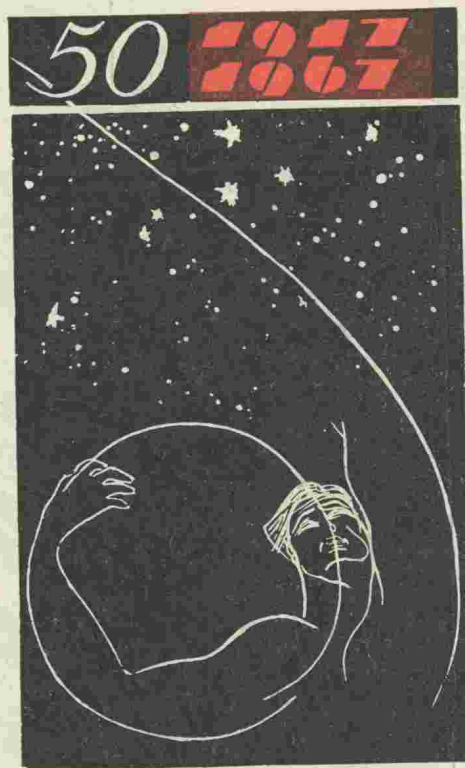
Выставка произведений Г. ХРАПАКА.

Яуза. [Москва.]



ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



Год издания тринадцатый

1

[140]

Я Н В А Р Ь

1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

МОСКВА

В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ

● ПРОЗА

Владислав ТИТОВ. Всем смертям назло... 3
Повесть

А. АВДЕЕНКО. Я люблю. Роман. Книга вторая. Предисловие Валентина Катаева 40

● ПОЭЗИЯ

Кайсын КУЛИЕВ. «Чем горячей костер горит...». «Умели люди сеять хлеб...». «Кто слушает—мудрее говорящих...». Слепые. «Если вдруг в цветке...». «Я уйду, и ты уйдешь в свой час...». «Солнце, нас сначала ты согрей!...». Годы. «Пускай великих дел не совершил я...». Перевел с балкарского Н. Гребнев 38

Римма КАЗАКОВА. «Из первых книг...». Война. Испания. Старина. «А что нам!...». «Над нами власть имеют запахи...» 62

Степан ЩИПАЧЕВ. Почерк истории 64

Гафур ГУЛЯМ. В горах. «Месяц молодой, мой старый друг...». «Цветок опавший превратится в плод...». Перевел с узбекского А. Наумов 70

Белла АХМАДУЛИНА. Сумерки. «Сны о Грузии — вот радость!...». Спать 71

Михаил ЛЬВОВ. Юбилей. «Обожаем властителей дум...». «Прожить, как Пришвин, восемьдесят лет...». «Да, есть во мне народное...» 72

● ПУБЛИЦИСТИКА

Григорий МЕДЫНСКИЙ. У могилы неизвестного солдата... 36

Приглашение к спору. Интервью с академиком Петром Капицей 79

В. СЕМЕНОВ. Сфера добрых услуг 82

Элла ЧЕРЕПАХОВА. Бронзовый вексель (дело № 1230) 86

● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ И ОБЛОЖКЕ

Иван КУПЦОВ. Поющие голоса гуманизма 65

Н. ЖУКОВ. Певец наших улиц 112

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА КАТАЕВА 66

Василий АКСЕНОВ. Путешествие к Катаеву 68

● ПОГОВОРИМ О ПРОЧИТАННОМ

Ал. ГОРЛОВСКИЙ. Время фантастики 73

● СРЕДИ КНИГ

Маленькие рецензии и аннотации 90

● НАУКА И ТЕХНИКА

Владимир ЛЕВИ. Сотвори самого себя (психологические заметки) 92

Новости отовсюду 98

● ДЕБЮТЫ

Наташа АРИНБАСАРОВА. «Я еще ничего не умею...» 100

Виктор ТРЕТЬЯКОВ. «Играть без конца, все лучше и лучше...» 101

● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

✱ Бронислав ГОРБ. Клятва Гиппократ. Аиканавт № 2 дает интервью. ✱ Б. СОПЕЛЬНЯК. Вальпургиев день 102

● СПОРТ

Эвэ КИВИ. Я, Антс и коньки 106

В. КАДЖАЯ. Тренер из угрозыска 107

Н. САМОЙЛОВ. Вновь Тамара Соснова 108

● ПЫЛЕСОС

Виктор СЛАВКИН. Сенина карьера 109

На 1—4-й страницах обложки — рисунок Е. СОКОЛОВОЙ и А. МАКСИМОВА.
Макет номера Б. ЖУТОВСКОГО и Ю. СОБОЛЕВА.
Рисунки к рубрикам Е. СМЕРНОВА.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

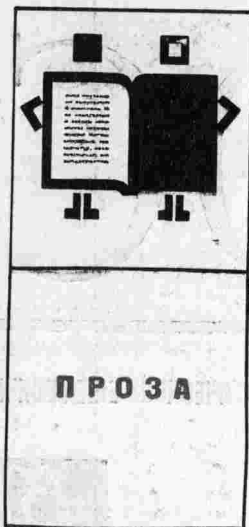
Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52.

Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 15247. Подп. к печ. 27/XII 1966 г. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Объем 7,25 физ. печ. л. — 12,18 усл. печ. л. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 12. Заказ № 3200.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



ПРОЗА

Рисунки Ю. Вечерского.



Владислав Титов

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО...

Жене моей, Рите.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СИДЕТЬ одной в пустой квартире всегда было мучительно для Тани. На этот раз особенно. Второй день она в отпуске, а еще не ясно, когда отпустят Сергея. И отпустят ли вообще в этом месяце. Может случиться так: отгуляет она свои двадцать четыре дня, выйдет на работу, и только тогда Сергею дадут отпуск.

Таня ждет. Рука ее блуждает в коротенькой челке на лбу. Она крутит волосы в тонкие жгутики и наматывает их на указательный палец. Когда вся челка закручена в колечки, рука медленно распутывает их и вновь начинает все сначала. Это привычка. Пыталась отвыкнуть, не получилось. Как только в голове возникают беспокойные мысли, рука сама тянется к волосам. Сергей сначала подшучивал: детский сад мировые проблемы решает? А потом привык. И даже сам иногда крутит в колечки свой чуб. Заразился!

«Неужели не отпустят? — думает Таня. — Столько лет мечтали поехать в отпуск вместе...»

Таня ждет и смотрит в окно... Вот сейчас войдет Сережа, скажет: «Отпуск не дали... Понимаешь, дела».

А она скажет: «Я так и знала. Непутевый ты какой-то, Сережка». А он скажет: «Танюша, я есть хочу...» А она ответит: «Бери и ешь! Я в отпуске, а ты как знаешь. Имею я право отдыхать или нет?»

Таня так отчетливо все это себе представила, что на глаза от досады навернулись слезы.

РАНО нынче пришла весна. Как-то сразу сникли и обессилели снежные бураны, завывавшие долгими ночами по тихим улочкам молодого шахтерского поселка. Робко, словно боясь рассердить седую стужу, улыбнулось из-за туч солнце. И зима



ПОВЕСТЬ

действительно рассердилась. Ошетилилась на ночь ледяными штыками крыш, злобно захрустела под ногами ломкой, белесой пленкой луж, обожгла колючим дыханием дымящуюся вершину террикона.

А потом солнце осмелело. Засуетились, ускоряя бег, облака, и солнце горячим лучом припало к холодной, дремлющей земле. В небе распластался жаворонок. Где-то у балки, будто выпущенная на волю птица, забила песня.

Девчушка с реденькой прядью на лбу, в распахнутом пальто, остановилась, сощуренными глазами отыскивала в небе жаворонка, чему-то улыbnулась да так и замерла с поднятым вверх лицом.

Добралась весна и до шахтного вентилятора. Воздух, пропитанный запахами земли, как бы остановился перед бешено кружащимися лопатками, мгновение подумал и ринулся в темную, сырую пасть ствола, ворвался в штреки и пошел гулять по лавам, забоям, будоража души шахтеров необъяснимо сладкой тоской по солнцу, по высокому темно-голубому небу.

Сергей Петров шел по штреку в лихо сдвинутой набекрень шахтерской каске. Казалось, крикни кто «гол-ля», и он пустится в пляс, стремительный, неутомимый и несуразный.

Сергей торопился. И не потому, что того требовала работа. Нет. Просто им владел ничем не объяснимый восторг, и очень хотелось поскорее выехать на-гора, поближе рассмотреть солнышко. К тому же в столе начальника участка его ждали подписанные документы на отпуск.

Сергей подцепил носком сапога кусок породы, подбросил его и улыбнулся. Он представил себе, как Таня всплеснет руками, затанцует от восторга, а потом обязательно бросится на шею и, смеясь, воскликнет: «Хочешь, задушу тебя, противного?»

А позже, когда радость немного утихнет, сядет и уже в который раз начнет фантазировать по поводу предстоящей поездки. И, конечно, опустив голову, спросит: «А вдруг я не понравлюсь твоим родителям?»

«Почему ее мучит этот вопрос? — размышлял Сергей. — Чтобы она, Таня, и не понравилась? И кому? Ей старикам. Да этого быть не может! У бати

«Как мы не подумали об этом раньше? Увлеклись? Или зарапортовались?» — думал Сергей.

С трудом протиснувшись в узкий проход, он вылез из лавы на вентиляционный штрек. В забое работала бригада проходчиков.

— Игорь! — позвал Сергей.

Луч света поднялся под самую кровлю, метнулся по штреку и уперся в Сергея.

— Це ты!.. — пробасил долговязый парень.

— Кто делал выход из лавы?

— Мы. В чем дело? Узковат?

— Какой ты догадливый!

— Дело поправимое, можно расширить.

Смена близилась к концу. Все объекты были проверены, и Сергей теперь уже не спеша шел по штреку. Он ясно представил себе, как зазеленеют молодые деревца, посаженные комсомольцами на улицах шахтерского поселка. Они подрастут, станут кудрявыми, к тому времени у них с Таней обязательно появится сын. Маленький, смешной карапуз. Сергей и Таня будут гулять с ним по тихим аллеям и рассказывать, какой здесь несколько лет назад был пустырь. А шахта станет предприятием коммунистического труда. Обязательно станет! В поселке построят большой стадион с трибунами, беговыми дорожками, футбольным полем, волейбольной площадкой... Сергей вспомнил об отпуске, и чувства его раздвоились. Радость затуманилась сомнением. «Ребята скажут: «Заварил кашу с воскресником, штабом, а сам... в кусты». Нет, они этого не скажут! Друзья будут рады за нас! Эх, чудно все-таки устроена жизнь! Весна... Таня... Отпуск, а там снова работа, шахта, друзья...

Но не пришлось поехать в отпуск Сережке Петрову...

3

В АГОНЕТКА сошла с рельсов, упала набок и краем кузова расплющила подвешенный к металлической стойке бронированный кабель. Голубая змейка огня, зловеще треща, ползла по кабелю к трансформатору. Через несколько секунд она доберется до камеры, и... произойдет непоправимое... Трансформатор взорвется! Вспыхнет пожар, а в лавах люди. Скорей!..

«Отключить!» — Сергей бежит к камере. «Ручку влево, до щелчка. Корпус ячейки наверняка под напряжением».

Тугие, корявые нити, пронзившие стрелами тело, упруго дрожат, с хрустом скручиваются в спирали и ввинчиваются в руки, в голову, в ноги. Спиралей мириады. Они в каждой клетке тела. Вытягиваются и снова скручиваются, ввинчиваются и дрожат. Тянут к трансформатору. Там смерть. Мгновенная. В пепел...

«Какой жуткий сон! Надо скорей проснуться!» — Сергей хочет крикнуть, но в языке спираль. Она жжет. Становится страшно.

— Лю-у-у-ди-и-и-и! — Крик застревает в мозгу. — Ы-ы-ы, — прорывается к горлу и задыхается там су-дорогой.

«Надо оттолкнуться!». Руки не слушаются.

Спирали резко выпрямились, слились в дрожащую нить. В мозгу что-то взорвалось, закружилось в вихре.

— А-а-а! — закричал вихрь.

Погас свет. Нить перестала дрожать.

«Там же шесть тысяч вольт!»

— Помоги-и-и-те-е-е! — В горле хрипит, не хватает воздуха. «Где-то рядом телефон».

Сергей встает, делает несколько шагов вперед и падает лицом вниз, в жидкую, холодную грязь.

«Надо встать, встать, встать... Кабель еще горит. Ток выключен».

Сергей поднимается на коленях, проползает несколько метров и падает мокрым телом на голубую змею огня.

Его нашли проходчики. Он лежал на кабеле метрах в десяти от трансформаторной камеры, тихо стонал и просил пить. Глаза Сергея были широко раскрыты и удивленно смотрели вверх. На правой ноге горел резиновый сапог. Когда его попытались снять, Сергей вскрикнул и закрыл глаза.

— Пить!

У Коли Гончарова дрожит рука, и вода из фляжки льется на подбородок, на щеки, стекает за шею, оставляя на лице белые полосы.

— Ребята, я жив! — Сергей поднимает голову и тут же роняет ее. — Пить...

— Сережа, потерпи, может, нельзя много воды... — В голосе Николая мольба, просьба, жалость.

Удары по колоколу, торопливые, тревожные. Машинист шахтного подъема настораживается и крепче усаживается в кресле.

Шесть, семь, нет, он не ошибся. На световом табло загорается цифра «7». Она зажигается редко и, может, поэтому кажется чужой и страшной. Смерка требует: «Самый осторожный подъем, машинист, в клетки раненый шахтер...»

Шахтная клеть зависает на тросе и плавно ползет вверх. Набегающая струя воздуха шепеляво свистит в железном козырьке клетки, врывается внутрь и брызжет мелкими каплями дождя. Капли гахнут весной и прелью околостольного двора. Коля Гончаров стоит на коленях и осторожно поддерживает голову друга.

Сергей открывает глаза и смотрит на склоненные к нему лица.

«Почему они молчат? Что случилось? Неужели это явь? Там же шесть тысяч вольт. Если не сон, то я мертв. Разбудите же меня!» Сергей пытается приподнять руки и морщится от боли. На мгновение к нему возвращается ясное сознание. «Неужели со мной!..» По телу пополз страх, сердце сжалось и вдруг упало. «Молчат...»

Когда в шахту приходит беда, шахтеры угрюмы и молчаливы.

Клеть остановилась у приемной площадки. Яркий весенний свет слепит глаза, давит в уши, щекочет в носу. В открытую дверь Сергей видит машину с красным крестом на боку. Крест, как огромный паук, неуклюже ворочается, тянет беспальные красные лапы к лицу и хрипло скрипит: «По-о-пал-ся-а-а...»

— Чга-чга-чга... — визгливым скрежетом хохочет вверх.

Сергею хочется сделаться маленьким-маленьким и убежать, спрятаться от красного паука и страшного металлического хохота.

Паук схватил за руки, больно придавил глаза, бесено завертелся сплошным красным колесом.

— Петров, Петров! — донеслось откуда-то изда-лека, и колесо стало черным.

— Какой молодец!.. Отключил!.. На верную смерть шел... Руки, руки... осторожней... — Голоса слились и потонули в красно-черном тумане.

Шофер «Скорой помощи» резко хлопает дверью, бегом направляясь в кабину. Машина срывается с места и мчится от шахты через поселок, по хрупким весенним лужам, брызгаясь мокрым снегом, прозрачной талой водой.

Девчушка в распахнутом пальто по-прежнему стоит на дороге и смотрит в небо. Машина с красным крестом гудит, и девчушка, посторонившись, смотрит ей вслед: в глазах у нее возникает встревоженность, а губы еще продолжают улыбаться...

В небе звенит жаворонок.

На чистом бланке истории болезни несколько строк: «Петров Сергей. Электроожог 4—5-й степеней обеих верхних конечностей и правой стопы. Доставлен каретой «Скорой помощи» в глубоком шоке».

Срочно созданный консилиум заседал недолго.

— Надежд мало. Положение больного почти безнадежно... Смерть может наступить каждую секунду. Это чудо, что после поражения током в шесть тысяч вольт человек жив. Наш долг сделать все от нас зависящее... — Главный врач больницы отодвинул бланк истории болезни и тихо добавил: — Будем надеяться... Лечащим врачом назначаю Валерия Ивановича Горюнова.

4

ТАНЯ стоит у окна и смотрит, смотрит...

Цепочка людей, растянувшаяся от шахты до поселка, заметно редет и через несколько минут совсем обрывается. На руке тикают часы. Таня злится:

«Опять у Сергея какое-нибудь заседание!»

На дороге появилась группа людей. Шли, размахивая руками, вероятно, спорили. Тане показалось, что среди них Сергей. Рассмотрела лучше и рассердилась еще больше: снова нет. Люди прошли, и дорога опять опустела.

Из окна квартиры виден террикон. По нему вверх медленно ползет вагонетка. Доезжает до вершины, останавливается на миг и переворачивается вверх дном. Из вагонетки высыпаются крупные куски породы, катятся вниз и плюхаются в лужу, разлившуюся у основания террикона. Летят брызги, а вагонетка торопится вниз, за новой порцией камня.

«Сергей любит смотреть на террикон и эту, как он ее называет, трудягу-вагонетку». Таня улыбнулась. Вспомнила, как однажды зимой у мужа неожиданно испортилось настроение. Она волновалась, думала, неприятности на работе. А когда утихла вьюга, Сергей подошел к окну и рассмеялся, вагонетку свою увидел, сказал: «Кажется, ничего нет примечательного. Гора изломанных камней — и все... А вдумаешься... Это же сама жизнь! Мудрая, интересная и вечно живая. Может быть, по этим камням делал свои первые шаги наш предок. Прошли миллионы лет. Миллионы!.. И вот из этого питекантропа труд сделал умнейшее на земле существо. Миллионы лет... И как мизерно коротка наша жизнь в этой вечности. Одно мгновение... А у нас вчера целый час не работала лава из-за нерасторопности одного шалопа. Вот и войдет этот час пустым местом в вечность. Обидно!»

«Смешной он у меня», — подумала Таня.

Таня не заметила, как к дому подъехала голубая «Победа». Хлопнули дверцы, она увидела людей, торопливо идущих от машины к их дому.

«Это же Сережкин начальник... И дед с их участием. Где Сергей?» Таня почувствовала, как мозг цапнула мысль, от которой кровь прилила к лицу,

часто-часто застучало сердце и вдруг упало, сжавшись в болезненный комок.

«Может быть, не к нам. Чего ж я боюсь!»

В дверь постучали. Стук робко повторился. Послышались приглушенные голоса.

«Надо открыть». Руки дрожат, никак не могут найти защелку от двери. И когда медленно, словно в квартире покойник, сняв шапки, вошли Петр Павлович и старый мастер, дед Кузьмич, Таня без слов поняла: случилось что-то ужасное.

— Что с Сережей? — И заплакала.

Метнулась к шкафу за косынкой, но ноги подломились, в глазах пошли черные круги.

— Не плачь, дочка, бог даст, все обойдется. — У Кузьмича срывается голос, старчески дрожит, и нельзя понять, надежда в нем или соболезнование. Большая шершавая ладонь неуклюже гладит щеку. — Ничего... там хорошие врачи, организм у него молодой, крепкий... не плачь... Что ж теперь делать... всякое бывает... такую уж выбрали мы себе долю — на работу, как в бой... Случаются и шальные пули... — Спohватившись, что сказал лишнее, заторопился: — Поехали, дочка, одевайся...

Машина едет бесконечно долго. Тане кажется, что они заблудились среди этих многочисленных улиц, переулков и, когда найдут правильную дорогу, будет поздно: Сережка умрет.

— Сейчас приедем, — говорит Кузьмич и весь съеживается.

Какая-то неизвестная сила рванула Таню из машины, заставила пробежать по длинному коридору больницы и остановиться именно перед теми дверями, за которыми был он, ее муж, Сергей Петров. Толкнула дверь, сделала шаг в палату и застыла на месте.

Слева, на койке, закутанный в бинты, с бледным, осунувшимся лицом лежал Сергей. Таня боком подвинулась к постели и безвольно осела на пол.

— Сереженька, родной мой, как же ты так, а?.. — Рукой потянулась к лицу и вскрикнула отчаянно, страшно: — Сережа!

Очнувшись в пустой, просторной комнате. Посмотрела и удивилась: где это она и что с ней? Вошла женщина в белом халате, что-то сказала и ушла. Когда закрыла дверь, до Таниного слуха дошел звук ее голоса, а слов не разобрать. И вдруг обожгло глаза: окровавленный бинт на груди мужа.

5

НА ВТОРЫЕ сутки утром Сергей открыл глаза. Таня, сидевшая рядом на стуле, затаила дыхание. Посмотрела в мутные глаза Сергея и тихонько позвала:

— Сережа!

Глаза повернулись к ней и закрылись.

— Таня, разбуди меня. Я не могу сам проснуться.

— Сереженька, тебе больно?

— Буди скорее!

— Ты не спишь, Сережа. Мы в больнице. Тебе руки током немного обожгло.

— Неправда... меня убило... Там же шесть тысяч вольт...

Таня молчала. Глотала комок, подступивший к горлу, и не могла проглотить. «Заговорил, заговорил, значит, будет жить, будет!» — А слезы заливали лицо.

— Почему ты плачешь?

— Я ничего... я так... я уже не плачу...

— Что в шахте?

— Ты спас людей и шахту от пожара... Там что-то могло взорваться..

— Кто подобрал меня?

— Коля Гончаров с проходчиками.

— Что говорят врачи?

— Врачи?.. Врачи говорят: ничего страшного нет. Немного полежишь здесь, и все пройдет.— Таня старается сказать это быстро-быстро, словно ждет, что вот войдет кто-нибудь в палату и крикнет: «Нет, не говорят этого врачи, они не надеются на спасение жизни!». И опять замолчит Сережка, и снова наденется страшная ночь.

— Ты мне говоришь неправду, Таня. Зачем?

— Они... они ничего не понимают... они...— И со слезами выдохнула:—Они говорят, что ты умрешь... Это неправда, неправда!

Сергей открывает глаза и смотрит в потолок. Он в палате, высокой и ослепительно белой. Справа, из угла, тянется узкая темная трещинка, тоненько петляет среди маленьких белых бугорков и незаметно теряется.

И опять показалось Петрову, что он спит и видит сон. Сон, как спрут, засосал его в свои липкие объятия, и нет сил высвободиться из них.

— Выйдите на минутку, мы посмотрим его,— обращается человек в белом.

Сзади стоят двое, держат стеклянного спрута с длинными резиновыми щупальцами.

«Врачи!» — мелькает мысль.

Женщина в белой косынке долго разбинтовывает левую руку Сергея. Бинт собрался в большой окровавленный клубок, а она все мотает и мотает, время от времени внимательно смотрит в лицо больному, вздыхает и вновь сматывает бинт. Сергей приподнимает голову, пытается увидеть свои руки. Сестра прикасается к его лбу и поддерживает его голову на подушке.

— Не надо смотреть! Не надо...

Горюнов наклонился над койкой, спрашивает:

— Больно? А здесь?

Сергей не чувствует боли и, только когда укололи в плечо, ойкнул.

— Я так и предполагал.. Плохи твои дела, парень! Может быть, придется ампутировать. Я о руках говорю.

— Как ампутировать?! Резать?! Вы шутите, да?!

Горюнов смотрит мимо больного и молчит.

— Ам-пу-ти-ро-ва-ть... Как же это, а?! Как же я жить-то буду?! Руки!.. Таня! — И вдруг закричал диким, нечеловеческим криком: — Не дам, варвары, лучше убейте меня!

И затих.

На третий день началась гангрена. Выход был один — ампутация.

И немедленная...

6

В КАБИНЕТЕ главного врача больницы сидело два хирурга. Главврач, не мешая им, напряженно слушал.

— Большой безнадежен. Зачем его дополнительно мучить операцией? — говорил Валерий Иванович Горюнов.

— Не согласен. Надо испытать все. Вы лечащий врач и не имеете права отказываться от риска,— возражал Ваню Ильич Бадьян.

— Решено,— прервал их главврач.— Валерий Иванович, я забираю у вас больного Петрова. Ваню Ильич, готовьте больного к операции.

7

ХИРУРГ Бадьян присел на краешек постели Сергея и повел осторожный разговор о необходимости операции. Петров смотрит мимо врача, и кажется, что он не слышит ни о жестокой гангрене, угрожающей ему, ни о том, что надо быть мужественным в тяжелые минуты жизни.

— Я не ребенок, доктор...

— Вот и хорошо, вот и хорошо!

Во время операции Сергей, не мигая, смотрел на яркую операционную лампу и молчал. Бездонными омутами голубели широко раскрытые глаза, которые ничего не видели, не желали и не чувствовали. Даже боли. И только когда противно завизжала хирургическая пила, Сергей весь сжался и закрыл глаза.

После операции Таню не пустили к мужу. Она проплакала — все бесполезно.

— Ему нужен покой, а вы не сдержите себя,— отказал Бадьян.

Таня встала и решительно направилась в палату. Ваню Ильич остановил ее, молча накиннул ей на плечи свой халат и так же молча вернулся в кабинет.

«Только бы не заплакать, сдержать себя. Во что бы то ни стало сдержать,— думала она.— Надо подбодрить его, не дать упасть духом — это главное сейчас. Он сильный! Вдвоем мы все переживем, лишь бы выжил». А внахлест упрямое: «Выживет, выживет...»

8

С ТОГО момента, как понял Сережка Петров, что не кошмарный сон случился с ним, а дикий по своей жестокости поворот судьбы, мозг подсознательно решил: «Все кончено». Что подразумевать под этим «все кончено», Сергей не знал. А на операционном столе, когда загорелось огнем и стало неестественно легким левое плечо, подумал: умереть бы... И испугался. Не смерти испугался, а внезапно пришедшей мысли о кей. Что-то простое и совсем обыденное мелькнуло перед глазами, отчего сжалось сердце и подступила неумная тоска.

В палате он молча смотрел в потолок и не мог совладать с приливом горьких мыслей. «На могиле посадят березку...»

И опять стало страшно Сергею.

— Сестра, а почему меня сразу не убило, ведь там высокое напряжение?

— Наверно, вы бессмертный...— тихо сказала она и, оглянувшись, добавила: — Не надо разговаривать, а то нам влетит от врача.

— Лучше бы я был смертный...

— Что вы, Сережа! Разве можно так... Вы выздоровеете, работать пойдете, ну и все такое... Вот у нас был случай...

— Я знаю эту историю, сестричка. Скажите лучше, когда собираются мне другую?..— И замолчал.

Туго сдвинул веки и, как пулю в сердце, ждал: сейчас скажет «завтра...»

У дверей палаты Таня остановилась. Поправила волосы, косынку, протянула руку вперед, намереваясь открыть дверь, и не решалась. Боялась увидеть Сергея в окровавленных бинтах, без руки, и чувствовала, что не выдержит, расплачется. Всем те-

лом налегла на дверь и вошла в палату. Глаза Сергея на миг вспыхнули и погасли. Сестра встала и осторожно вышла.

— Я дома была,—выговорила Таня и удивилась звуку своего голоса. «Зачем я это говорю, это же неправда!»—Дома все хорошо,—сказала она и подумала: «Зачем я вру? Я же все время простояла под окном операционной, держа руки около ушей, чтобы закрыть их сразу, как только раздастся крик Сергея».—Сереза, я с тобой тут буду... помогать...

— Сядь, Таня, поговорим...—Сергей глотнул слюну и отвернулся.—Маме всего писать не надо. У нее больное сердце.—Он на минуту замолчал, кусая губы, а потом строго сказал:—Вот и кончилось наше счастье...—И заспешил:—Ты не ходи ко мне, Таня. Так будет лучше. Для нас обоих. Брось меня, уйди. Уходи, я не люблю тебя... я...—Сергей болезненно сморщил лицо и умолк.

Таня судорожно закрылась руками.

— Зачем ты обижаешь меня, Сереза?—Она хотела задушить подступивший вскрик и не смогла.—Зачем ты так?.. Я же люблю тебя.

— Тебе двадцать лет, твоя жизнь впереди... Для меня все кончено. Уходи, я прошу...

Дверь качнулась, как в тумане, пол зыбко дрогнул и поплыл в сторону. Из-под рук ускользает дверная ручка, делаясь то гигантски большой, то мизерно маленькой.

«Надо уйти, он просит, я не нужна ему...»

Выстрелом ударила дверь—ушла. Ушла—заныло в груди и придавило к постели. Не дотянуться до двери, не открыть ее, не позвать: вернись! Сергей всем телом рванулся вслед и тут же беспомощно упал. Зубами рвал наволочку и неумело, по-мужски плакал. Впервые за свою сознательную жизнь—неутешно, навзрыд.

Как в пустыне, шла Таня по улицам шумного, черного города. На что-то натыкалась, поворачивала в другую сторону и снова шла без цели, без дум, без желаний. У железнодорожного переезда перед самым лицом тяжело ухнул поезд и зацокал частой дробью колес. Таня вздрогнула и побежала назад. «В больницу, скорей!» Пробежав метров десять, остановилась.

— Вас обидели, девушка?—Незнакомый человек осторожно отвел Танины руки от лица и, заглянув в заплаканные глаза, заботливо спросил:—Что-то случилось? Может, помочь?

— Никто не поможет нам,—всхлинула Таня.

— Зачем же среди улицы плакать? Вам куда идти?

— Не знаю. Муж мой в больнице...

— Что с ним?

— Несчастье в шахте...

— Обвал?

— Нет. Током руки обожгло. Он жить не хочет. Меня гонит от себя.

Человек задумался. Махнул рукой: пошли!

Таня шла рядом и не понимала, куда и зачем ведет ее незнакомый человек. Отвечала на его вопросы, торопясь, начинала рассказывать о своем горе, на полуслове умолкала, всхлипывая, закрывалась ладонями.

Больница была заперта. На долгий звонок вышла дежурная сестра, молча открыла дверь и, не взглянув на поздних посетителей, ушла.

Танин спутник остановился в коридоре. Растерянным взглядом осмотрел многочисленные двери и почесал затылок. За какой-то из них лежал человек, попавший в беду. Чем он поможет ему? Там, на улице, когда он увидел одиноко плачущую женщину,

было проще. Человек в беде: надо помочь. В пути подбирал ободряющие слова, не подозревая, что все они поблекнут, станут неубедительными даже для самого себя, стоит только оказаться в этом ярко освещенном коридоре с дурманящим запахом йодоформа.

— Как фамилия вашего мужа?—спросил мужчина, будто ожидая, что эта неизвестная ему фамилия внесет ясность в создавшееся положение.

— Петров.

— Смотрите, какое совпадение! А моя фамилия—Петренко!—Хотел улыбнуться, но только виновато сморщил лицо и откашлялся.

Из операционной вышел врач.

— Кто вас пропустил сюда?

— Мы к Петрову...

— Время для посещения больных с двух часов до пяти. Днем, к тому же!

— Товарищ!—Петренко шагнул к врачу.—Нам на пять минут, это очень важно.

— Все в нашей жизни важно, и никто не хочет ждать.—Врач повернулся, чтобы уйти.

Таня узнала Бадьяна.

— Что с ним, доктор?—уцепилась она за халат. Бадьян остановился.

— Открылось артериальное кровоотечение. Кровь остановлена. Для вливания крови не хватило наших запасов нужной группы... В Макеевку пошла машина. Часа через полтора кровь будет. Вот и все. Вы здесь не нужны.

— Как же так, товарищ врач! Доктор! Два часа... это же много! А вдруг человек...—Петренко мямл в руках кепку, совал ее в карман, вытаскивал и тряс перед лицом врача. Ища поддержки в какой-то своей, еще не высказанной мысли, Петренко посмотрел на Таню и тихо, умоляющим голосом сказал:

— Товарищ, возьмите у меня кровь, пожалуйста, я совершенно здоров. Вот посмотрите!—Он сбросил с себя пальто, заторопился, нащупывая на рубашке пуговицы.—Вы не имеете права отказать мне!—Голос Петренко дрогнул.—Я не уйду отсюда! Я буду жаловаться! Что вы так смотрите на меня?

— Вы хоть знаете, какая у вас группа крови?—устало спросил Вано Ильич.

— Какое это имеет значение! Кровь есть кровь!

— Нам нужна первая группа, резус положительный.

— Вот, вот! У меня точно такая... с резусом... Посмотрите военный билет, если не верите.

Через полчаса Бадьян настраивал аппарат для переливания крови и задумчиво улыбался.

— Сереза, ты знаешь, кто стал твоим донором? Известный тебе...—и поднес ампулу с алой жидкостью к глазам Сергея, надеясь приятно изумить его. На этикетке торопливым почерком было написано: «Петренко Геннадий Федорович. Токарь. Группа крови первая».

Сереза не знал токаря Петренко так же, как токарь Петренко не знал шахтера Петрова. Но врач полагал, что они хорошо знакомы: зачем бы иначе человек врвался в больницу среди ночи и предлагал свою кровь?

9

НОЧЬ Таня провела в больнице. Сидя на стуле, около столика дежурной сестры, силилась задремать, хоть на минуту забыться, и не могла. Несколько раз ходила в палату к спящему Сергею, молча смотрела на него и, боясь распахнуться, убежала.

Однажды Тане почудилось, что ее зовут. Бегом направилась в палату. Сергей метался в бреду по постели, хриплым шепотом звал:

— Таня, Танечка... иди ко мне... не плачь, мама... мне больно, доктор... я не хочу, не хочу...

Утром Таня взяла полотенце и повесила на спинку кровати, заслоняя лицо Сергея от солнечных лучей.

— Пусть светит, Таня...— услышала она и замерла.

— Ты не спишь, Сережа?

— Нет.

— Я не уйду от тебя. Что хочешь делать со мной. Не уйду. Мне жизнь без тебя не нужна.

— Спасибо...

Днем больницу осаждали шахтеры. Упрашивали, грозилась, потрясали всевозможными бумажками перед глазами главврача и уходили ни с чем. Посещать Петрова категорически запрещалось. К знакомым и незнакомым людям выходила Таня. Сбивчиво рассказывала о состоянии здоровья, принимала кульки, записки, протоколы собраний, вся суть которых сводилась к одному: не падай духом, друг, мужайся, шахтер!

К вечеру приехал весь состав комсомольского бюро шахты. Ребята, хмурые, присмирившие, гуськом прошли в приемный покой и попросили к себе врача.

К ним вышел Бадьян.

— Почему к Петрову не пускают друзей? — сердито спросил Мамедов.

— Существует определенный порядок, к тому же больной очень слаб, — ответил Ваню Ильич.

— Сколько это будет продолжаться? И что сделано для его выздоровления? — спросил, выдвигаясь вперед, Волобуйский.

— Мы все мужчины. Я понимаю ваши чувства. Но... случай исключительный...

— Мы решили дежурить здесь. Это же наш Сергей! Такой парень... Если потребуется кровь, кожа... в общем, все мы в вашем распоряжении, — тихо закончил Гончаров.

— Спасибо! Пока этого не нужно. Но... все может быть...

Бадьян ушел. В белом больничном халате вошла Таня.

— Коля, Сереже и вторую операцию готовят...

— Успокойся, Танечка, — обнял ее за плечи Гончаров. — Надо крепиться, понимаешь, надо...

— Как посмотрю на вас, все живы, здоровы, а он... — заплакала Таня. — Как же вы не уберегли его?..

— Это он уберег нас... большинство было там... в лаве... а он, как Матросов... грудью... — давясь спазмами, медленно сказал Мамедов.

Состояние Сергея час от часу становилось все хуже и хуже. Оттягивать ампутацию второй руки стало опасно.

За несколько минут до начала ампутации он открыл глаза, обвел взглядом суевившихся вокруг врачей и сказал:

— Значит, и правую...

— Сережа, речь идет о твоей жизни.

— Позовите Таню.

В белой маске вошла Таня.

— Прости, Таня, если что было не так... Не хочется мне... Не успели мы пожить... по-настоящему...

По-настоящему... А что было настоящим в их жизни? Кольцо, подаренное Сережкой в день свадьбы? Нет, оно было ненастоящим. Его из трехкопеечной монеты сделали Сережкины друзья — студенты, Таня, понимала: откуда у студента деньги? — и не

обиделась. Оно и сейчас у нее на руке рядом с тем, золотым, что купил ей Сергей с первой полочки. Десять настоящих не надо ей за то блеклое, медное. Может быть, настоящей была свадьба? В разгар веселья им вдруг стало тесно под крышей дома, захотелось поделиться своим счастьем со всем миром. Сергей шепнул:

— Давай сбежим!

И они убежали со свадьбы. Шли по пустынным улицам ночного города, под ногами скрипел снег, и от избытка чувств им хотелось крикнуть: «Люди! Смотрите, какие мы счастливые!»

У Тани мерзли руки, и Сергей грел их в своих, больших, крепких. Потом он целовал ее в глаза, щеки, губы и шептал: «Родная моя, я тебя через всю жизнь на руках пронесу».

У Тани перехватило дыхание, она согласно кивала головой, закусывая губы, боясь разрыдаться, и не могла говорить.

Через два часа Сергей Петров лежал в палате без обеих рук...

Утром, после операции, приехал отец. Старый солдат, сам не раз смотревший смерти в глаза, сел, как подкошенный, у изголовья лежащего без сознания сына.

Двое суток Сергей был на грани жизни и смерти. Двое суток не отходила от него Таня. Она словно окаменела, сидя на стуле. На уговоры пойти отдохнуть молча качала головой и опять неподвижно застыла, уставившись взглядом в одну точку.

— Сидит, сердешная, моченьки нет на нее глядеть, — рассказывала в соседней палате санитарка тетя Даша. — Аж у самой в грудях все разрывается. Стало быть, дюже любили друг дружку.

— Чегой-то ты, бабка, любовь их хоронишь! Любили, любили... Слушать гадко! — рассердился больной с перевязанным лбом. — Встретил я вчера ее в коридоре, — голос говорившего потеплел, — ну, девчушка еще, совсем девчушка. А вот поди ж ты!.. Спасибо ей сказал. А она смотрит удивленно: мол, за что? А я: за это! — Больной постучал кулаком в грудь, по тому месту, где сердце.

Наконец тетя Даша вместе с сестрой чуть ли не силой уложили Таню в постель. Но она спала недолго. Во сне куда-то бежала отяжелевшими, непослушными ногами, проваливалась в ямы, порывалась кричать, но в рот лезла плотная, тяжелая вата и глушила звук.

Вскочила вспотевшая, еще больше усталая, чем до сна. Внимательно посмотрела на свои руки и удивилась, а чему, сама не поняла.

«Что ж ты наделал с собой, Сережа? — подумала Таня. — Неужели оставишь меня одну? Совсем одну?.. Нет, нет! Ты не имеешь на это права! Я не хочу, не дам тебе умереть! Врачи просто растерялись. Поеду в Донецк, к профессорам...»

— Ой, что же я раньше-то не додумалась до этого?!

И мысленно мчалась уже в областной город, к седым докторам, которым, по ее мнению, достаточно посмотреть на Сергея — и он поднимется на ноги.

Бадьян грустно посмотрел на нее, вбежавшую к нему в кабинет, и встал.

— Кровотечение мы пока остановили, — сказал он, — но, к сожалению, кровеносные сосуды пораже-

ны током, они разлагаются в живом теле, и приостановить этот процесс мы не можем. У нас нет уверенности, что не поражены другие жизненно важные центры. — Он хотел что-то добавить, но неопределенно махнул рукой и сел.

Таня молчала. Чувствовала, как в груди закипает глухая злоба, и не разобрать, на кого. Не могла и не хотела она поверить, что самый дорогой ей человек перестанет жить.

— Сначала все говорили, он дня не проживет! — неожиданно резко сказала Таня. — Эх вы! Испугались, что такого случая не было! — уже кричала она, убеждаясь, что ехать в Донецк надо немедленно.

На скамье у больницы Таня увидела Сережиного отца. Он сидел, обхватив руками голову, низко опущенную к земле.

— Папа! — окликнула Таня.

Антон Андреевич поднял голову, торопливо заговорил:

— Таня, дочка, горе-то какое, горе... Сережа, сынок мой... вот таким пупешком... ручки тянул ко мне... Говорил: папа, не ходи на войну, там убивают. А сам... И войны-то нет...

Таня заглянула ему в лицо и испугалась. На нее смотрели постаревшие, усталые, но такие родные Сережины глаза. Ей вдруг захотелось сказать этому человеку что-нибудь теплое, ободряющее. Она порывисто обняла отца и побежала.

По пути в Донецк, сидя в автобусе, она про себя повторяла непривычное для нее слово «папа» и дивилась той легкости, с какой оно было произнесено. Куда девались прежние страхи и опасения, что застрянет это слово в горле, неприятно царапнет слух того, к кому впервые будет обращено? «Папа». А каким был мой? Говорят, добрый, веселый... Ушел в сорок первом, и по сей день...

Донецк шумел разногласиями улиц, шуршал по асфальту колесами автомобилей, грохотал переполненными вагонами трамваев. Порывистый апрельский ветер раскачивал деревья, словно будил их от долгой зимней спячки, торопил насладиться жизнью.

Бойкая синеглазая девушка Таниных лет долго объясняла Тане, как проехать в клинику имени Калинина, где, по ее мнению, должны быть хорошие врачи. Смешно сощурилась и сочувственным голосом спросила:

— У вас мама больна, да?

— Нет, муж.

Серая громада главного корпуса больницы, холодно блеснув глазницами окон, вселила в Таню робость и вместе с ней слабую уверенность: ехала не зря.

Сергей очнулся. Обвел палату взглядом и устал вился на отца.

— Ты приехал, папа? А мы собирались к вам... Как дома?

— Дома все здоровы. Мать... мать тоже здорова. Поклон тебе шлет. У нас половодье. «Волчий лог» разлился... Ждали тебя... Ну, ничего, выздоровеешь — приезжайте... Отец смолк, мучительно подбирая бодрые слова, а они, как угри, ускользали, натапливаясь на камнем повисший вопрос: как же теперь, сынок, жить-то будешь?

— Прости... что не уберег себя... По-другому я не мог поступить. Ты всегда говорил мне: будь смелым, сын. Я не струсил, папа... Не знаю, что будет со мной. Говорят, не выживу... Не хочется верить,

но... Отрезали левую... на очереди правая... а там нога...

Отец с тревогой посмотрел в лицо сына: не бредит ли? Ведь руки ампутированы обе. И вдруг по спине пополз мороз: не помнит!

— Сынок, ты все помнишь?

На уровне груди двумя острыми углами поднялась простыня, Сергей широко раскрыл глаза, лизнул пересохшие губы и тихо сказал:

— Где она?

Обезумевшим взглядом поводил по забинтованным культиям рук, ампутированных выше локтей, и вдруг захохотал страшным истерическим хохотом:

С правой стороны по белой простыне, все расширяясь, ползло алое пятно.

10

ЧЕЛОВЕК в очках, внимательно выслушав перемешанный слезами рассказ Тани, молча встал из-за стола и вышел.

«А он совсем не похож на профессора», — подумала Таня.

Профессор вернулся с женщиной.

— С вами поедет доцент Гринь, специалист по ожогам.

Открывшееся с правой стороны кровотечение удалось остановить. Все попытки врачей ввести в вену иглу для переливания крови были безуспешны. Положение усугублялось тем, что неповрежденной была только левая нога. Взмокшие от напряжения врачи тщетно пытались найти спасительный сосуд. От частых уколов нога вспухла, пугающе синела. Пульс не прощупывался.

В суматохе не сразу заметили появление Гриня у койки больного. Она внимательно присмотрелась к действиям коллег, потом внятным голосом произнесла:

— Приготовьте инструмент для вскрытия артерии! Все, как по команде, подняли головы и посмотрели на нее.

— Гринь, — отрекомендовалась она. — Попробуем ввести кровь через сонную артерию.

Ночью шел дождь. Темноту за окном рвала молния. Таня испуганно ждала удара грома, а его не было. Упругий весенний ветер шуршал по окнам, и казалось, не выдержат напора хрупкие стекла, лопнут и впустят в палату буйство апрельской ночи. У столика дремала дежурная сестра. В забытьи глухо вскрикивал Сергей. Злясь на свое бессилие, завывал ветер.

«Перевезти в Донецк надо бы, но риск велик. Если в дороге откроется кровотечение...» — в сотый раз вспоминала Таня слова Гриня и каждый раз пугалась недоговоренного слова. «Риск... А если бы сегодня она опоздала, ну хотя бы на десять минут?» — Таня подошла к окну, всмотрелась в него.

— Отдохни, Таня, свалишься ведь...

— Как вы думаете, спасут Сережу?

— Что тебе сказать! Такого тяжелого случая в нашей больнице еще не было. Врачи растерялись... Вот вчера... Если бы не докторша из Донецка, кто знает, чем бы все кончилось. Никому и в голову не пришло ввести кровь через сосуды шеи. Привыкли же в руку колоть.

— Что же делать, Клава?



— Если бы на все случаи жизни были готовые ответы! — рассуждая как бы сама с собой, проговорила сестра. — Конечно, самое лучшее — перевезти его в Донецк. Но кто возьмет на себя эту ответственность? Гринь выговаривала нашим врачам: почему не перенесли в операционную? А они ведь боятся его с места трогать. Советовала сделать сложную операцию, так после, когда уехала, главный врач сказал: «Советовать все храбрецы, а кто поручится, что он выдержит? О том, что на столе зарезали, найдется кому сказать!» Обратись-ка ты в здравотдел.

— К кому?

— Стукало там есть. Главный хирург области. Он поможет.

Под утро Сергей попросил пить. Таня поднесла стакан с водой:

— Пей, Сережа, пей! Врачи рекомендуют больше пить. — Стараясь не расплескать воду, крепко сжимала стакан обеими руками и чуть не вслух твердила: «Это в первый раз. От непривычки... привыкну... приучу свои руки к нему...» — А они от напряжения дрожали, и вода, минуя Сергеевы губы, текла в нос, к глазам, за шею.

Сергей отдышался.

— Где отец?

— Дома у нас ночует. Завтра ему надо ехать. На работу вызывают срочно... К тебе приходили ребята. Управляющий трестом был.

— Локти у меня остались?

— Не надо об этом, Сережа. Живут же люди... Я все могу делать. Вот! — Таня порывисто встала, протянула руки к лицу Сергея. — Они твои тоже... на двоих будут. Ты не смотри, что они маленькие и сама я маленькая! Я все смогу! Мы еще лучше других жить будем! — Не дожидаясь ответа, заспешила: — Сегодня поеду в Донецк, тебя перевезут туда. Там хорошие доктора, они сразу вылечат!

А новый день нес с собой новые тревоги и опасения. Порой казалось, что минуты жизни Сергея сочтены. Но сильный организм яростно дрался со смертью, гнал ее, и она была вынуждена давать все новые и новые отсрочки.

К вечеру тридцатого апреля зеленый «Москвич», вздымая придорожную пыль, мчался в районный городок. Человек спешил на помощь к другому человеку.

Ознакомившись с историей болезни Петрова, Стукало в окружении свиты врачей прошел в палату.

— Как самочувствие, шахтер?..

— Хвалиться нечем, доктор...

— О-о-о! Вы, я вижу, упали духом. Не годится, не годится! Вам предстоит еще долго жить и, знаете, вспомните когда-нибудь эти дни, стыдно станет за свою слабость. Вот ведь как-с!

Стукало повернулся к врачам, сказал:

— Подготовьте Петрова к эвакуации! Человек рожден жить! Этого в ваших стенах никто не должен забывать!

Стукало вышел. У дверей его встретила Таня.

— Доктор, он будет жить?

— Сколько ему лет?

От встречного вопроса Таня побелела, вихрем пронеслось в мозгу — сейчас скажет: «Жаль, но...» Попятилась назад и замахала руками:

— Не надо, доктор, я не хочу, не надо...

— Что вы, что вы, детка! Я хотел только сказать, сколько ему осталось жить до ста лет.

— Ему двадцать пять.

— Ну вот-с! Значит, семьдесят пять. Повезем его к нам. Сразу скажу: лечиться придется долго. Ожоги заживают не скоро. Крепись, шахтерская жена!

НОЧЬЮ в окно заглядывал остроконечный серп луны. Когда на него наплывали тучи, в палате становилось сыро и неуютно. Издалека долетал глухой шум. Он медленно нарастал, переходил в отчетливое рокотание и потом так же медленно затихал.

«Машины идут, дорога недалеко, — думал Сергей, силясь уснуть. — Сколько сейчас времени? Как болят руки. Огнем жжет. Отрезали ведь, а они болят. Почему здесь не дали морфия? Скорее бы наступило утро. Отца уже проводили. Как он все расскажет маме?..»

Рядом заскрипела кровать.

Сонный голос спросил:

— Не спишь, Егорыч? Я вот все думаю: живешь дома, ходишь на работу, и кажется, нет на свете болезней, страданий, все течет гладко, чинно... А как попадешь сюда, насмотришься... Сколько на человека бед цепляется! Неужели и при коммунизме так же будет?

— А куда ты денешься от всего этого? — откликнулся голос из темноты. — Меньше то есть будет этих гадостей, а быть будут. Победим старые болезни — новые появятся. Болезни — это тоже проявление жизни.

— Унылая картина.

— Нет, таких больных, как мы, то есть лежащих, не будет. Профилактика улучшится. В самой ранней стадии распознают болезнь и убьют ее, а то и вовсе предупредят.

Помолчали.

— Странная она штука, жизнь! — заговорил голос, начавший разговор. — Пока не придавит к ногтю, не задумываешься о ней. Живешь себе... Получку получил — рад, выпил — весел, с женой поскакал — гадко. Транжиришь ее, жизнь, направо-налево... А ей ведь цены нет. Поздно только мы понимаем это. Как у скорого поезда: расстаешься с другом и, пока есть время, болтаешь о пустяках, а тронется, мелькнет последний вагон — и вспомнишь: главного-то я не сказал. Ан поздно! Хлестнет поезд последним гудком — и привет!.. У меня не все получалось в жизни. И лгал, и малодушничал, и прочая гадость была. Это я только теперь понял. Эх, другую бы жизнь мне!

— Жизнь — это не мотор в машине, который можно заменить, — вздохнул Егорыч. — Оболочка осталась, а нутро другое. Недаром кто-то пошутил, что обезьяна, прежде чем стать человеком, сначала засмеялась и подняла голову вверх, то есть разогнулась, потом заплакала, а вытерев слезы, поняла, что у нее есть руки, и тогда стала человеком.

— Да, слезы... Как думаешь, Егорыч, жена останется с ним?

— То есть в каком смысле?

— В прямом... жить, женой...

— Никак не разберу я тебя, Остап Иосифович! Мужик ты вроде ничего...

— Да я просто, я так...

Голоса умолкли.

В наступившей тишине тонко поскрипывала койка Егорыча. Старик сердито ворочался с боку на бок.

АЖЕ самый беглый осмотр больного убедил Кузнецова — нового лечащего врача Сергея — в срочной необходимости хирургического вмешательства. Промедление могло стоить Петрову жизни. Сосуды подключичной артерии лопались, как мыльные пузыри, вызывая обильные кровоизлияния. Остановить этот смертельно опасный процесс могла только немедленная операция по перевязке артерии почти у самого сердца.

Наступали первомайские праздники. Они могли задержать операцию по меньшей мере на два дня. И Григорий Васильевич Кузнецов решил: он будет оперировать завтра же, Первого мая.

Домой хирург шел пешком. Кузнецов любил эти прогулки после работы. Многоголосый шум, здоровое дыхание многолюдных улиц освежающе действовали на него. Отвлекали от больничных забот, глушили думы о служебных неурядицах, успокаивали нервы. И в этот вечер ему хотелось забыть обо всем на свете, пройтись по улицам предпраздничного города, ни о чем не думая, не заботясь.

Григорий Васильевич шел домой не спеша. Веселой суматохой были полны улицы, горели кумачом флагов, в воздухе висел радостный гул и пахло чем-то таким, чем может пахнуть только канун большого праздника.

«А может быть, не надо было назначать операцию на праздник? — неожиданно ужалило врача сомнение. Тут же вспомнилось лицо больного и его голос: «Доктор, я буду жить?» А глаза уже ни во что не верят. — Будет, должен! Человек должен жить!»

В МЕСТЕ с Таней Антона Андреевича провожал Михаил, двоюродный брат Сергея, живший в Донецке. На вокзале сидели молча, тяготясь молчанием. Отец, не поднимая глаз, часто курил. Вернулась фронтовая привычка.

С того момента, когда очнувшийся от беспамятства сын увидел себя без обеих рук, что-то лопнуло в груди отца. Порвалась и без того тонкая нить надежды, что, может быть, все обойдется по-хорошему. В тот день отец, выйдя от сына, против воли потянулся в буфет. Пил водку и чувствовал, что ничем не заглушить жуткий хохот сына.

— Ты навещай его, Миша. А мать я сюда не пущу, не выдержит... В случае чего телеграфируйте...

И опять повисло тяжелое молчание. Когда засветил тепловоз, Антон Андреевич вздрогнул и, неловко сморщившись, встал.

— Папа! — позвала Таня.

— Да, да, я знаю... Ехать... — сказал он и, сгорбившись, пошел к вагону.

Ночевала Таня у Михаила. Бойкая темноглазая Анна, жена Михаила, встретила ее ласково. От всей комнаты веяло покоем, уютом, размеренной семейной жизнью. На столе, напоминающая о весне, стояли цветы. Хлопотали с запоздавшим ужином хозяева.

«Вот так и мы когда-то...» — подумала Таня, сдерживая слезы.

— Кушай, Танечка, кушай! — угощал Михаил.

«Бывало, и Сережа так же...» Кусок хлеба застрял в горле, звякнув, из рук упала ложка. Таня потянулась ее достать и, уронив голову на стол, заплакала.

Ее не успокаивали. Потупив голову, молчал Михаил, украдкой вытирала слезы Анна. Слова были ни к чему... Они, как ветер при пожаре, только сильнее раздули бы огонь.

В постели Таня долго не могла заснуть. Широко раскрытыми глазами смотрела в темноту, пыталась вспомнить, каким был Первомай в прошлом году, но мысли неуловимыми путями уходили в сторону и вели в предстоящий день, к предстоящей операции.

Едва забрезжил рассвет, Таня была уже на ногах. Городской транспорт еще не работал, и она пешком через весь город пошла в больницу.

С УТРА по дороге двигались колонны демонстрантов. Час от часу поток их нарастал, гуще звучали голоса, громче становились песни. Ветер подхватывал их обрывки и бросал в распахнутые форточки больницы, разбивал о горящие солнцем оконные стекла.

Григорий Васильевич Кузнецов, в новеньком, белоснежном халате, стремительно вошел в палату.

— С праздником вас, друзья! Какие сны снились, Сережа, на новом месте? Ну ничего, ничего... Сделаем сегодня небольшую операцию, жизнь пойдет веселее! Сердишься, что не дали морфий? Напрасно! Вот старожил наш, Иван Егорович Ларин, по собственному опыту может подтвердить. — Кузнецов улыбнулся. — Правильно, Егорыч?

— Уж это так. Спасибо вам... А бывало, тоже зубами скрипел.

— Поделись с соседом опытом. Не тем, конечно, как злиться и скрипеть зубами.

И сразу потеплело в палате. Исчезла сковывающая атмосфера, поселившаяся вчера вместе с новым, тяжело больным человеком.

Когда врач ушел, заговорили все сразу, наперебой. Каждый хотел рассказать наиболее трудный случай из жизни, который, по его мнению, может послужить образцом стойкости для Сергея, даст силы духа, необходимые ему там, за плотно прикрытой дверью с пугающей надписью «ОПЕРАЦИОННАЯ».

— Лежал со мной под Берлином, то есть в лазарете, один артиллерист, — уставившись взглядом в потолок, рассказывал Егорыч. — Вот так, койки рядом. Константином звали... Костей то есть... Красавец парень... гармонист отчаянный! Не повезло ему на войне, шибко не повезло. Перед самым концом поранил его фашист. В ногу и глаза. Шлепнул миной, и свет белый у солдата померк... И четверо суток он, Костя-Константин, полз по лесу к своим. Голодный, холодный, израненный, сплошной ночью... Говорит, застрелиться хотел, пистолет достал из кобуры. А потом меня, то есть Костю, такое зло взяло: зачем же я, едрена-матрена, до ихнего логова аж от самого Сталинграда шел?! Нет, фашист, не радоваться тебе моей смерти! И дополз к своим. Лечился в Одессе, глаз один ему восстановили — не совсем, правда, процентов на сорок. Об этом я узнал уже после войны. Случайно встретил в одном селе. Угадал его и он меня по голосу... Он в том селе клубом заворачивает. Женился, детишки есть, а как же... двое. Степка институт кончает — старший его, а младший, Ванятка то есть, тезка мой, в школе учится. Костин баян вся округа сходится послушать!

— А вот у нас, на Волховском фронте, был случай... — начал Остап Иосифович...

Сергей слушал и не слушал, а все равно видел переполненные лазареты, полевые госпитали: от Сталинграда до Берлина с чудо-людьми, перед мужеством которых отступали тысячи смертей.

Сергей нетерпеливо поглядывал на дверь. Ждал Таню. Его не пугала операция. Он понимал, она будет тяжелой, но ни о ней, ни о ее исходе не думал, как будто не он, Сергей Петров, должен сейчас, в третий раз, лечь на операционный стол, а кто-то другой, едва ему знакомый, которому жизнь почему-то стала мучительной обузой.

— А ты запомни, сынок! Тот, кто любит жизнь, борется за нее! — Егорыч откашлялся, свесив ноги, сел на кровать. — Конечно, трудно, когда среди белая дня — камень на голову... Кажется, что и солнце перестало светить. Со всеми так. Ты думаешь, те ребята, о которых рассказывали, были какие-то особенные? Ничего подобного! То есть смертные, как и мы с тобой. Но жизнь они крепко любили, зубами дрались за нее! Я это к тому говорю, жизнь стоит того, чтобы за нее драться до конца.

В коридоре звякнул звонок. В палате смолкли. По окну скользнула песня, прилетевшая от праздничных колонн, скрипнула дверь, и в палату въехала коляска для перевозки больных на операцию.

«Таня не успела, — подумал Сергей и мысленно стал успокаивать себя: — Придет, обязательно придет».

Проезжая по коридору к операционной, Сергей опять услышал песню. «Поют...» — подумал он и прислушался.

В раскрытое окно неслось:

Так ликуй и вершись,
В трубных звуках весеннего гимна!
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно.

Слова песни резанули.

— Везите! Скорей!..

Сестра прибавила шаг, испуганная криком Сергея.

Таня опоздала. Запыхавшаяся, вбежала в палату, протянула руку с цветами и остановилась: кровать Сергея была пуста.

Цветы упали на пол.

— Давно? — дрогнул голос.

— С полчаса, — успокоил Егорыч. — Ты не волнуйся, все будет как надо. Приходила сестра, говорила: операция идет успешно. Чувствовал он себя хорошо, ночью спал.

Таня собрала цветы, шагнула к кровати. На смятую, влажную от пота подушку положила букет.

— Где операционная?

— По коридору прямо. Подожди здесь, туда не пустят.

— Я там... — И, не договорив, убежала.

Сергей успел просчитать до двух, и по краю огромной лампы, висящей над лицом, быстро побежал вниз головой мизерно маленький человечек. «Так это ж я!» — удивился он, а человечек, взмахнув руками-паутинками, оторвался от лампы и, кувыркаясь, полетел в пустоту. На мгновение Сергей почувствовал, как от его тела отделяются конечности. Потом они вернулись, появилось острое ощущение рук.

«Ру-у-у-и-и-и! — зашумело в голове. — Они со мной!» Сергей сжал кисти, хрустнули суставы пальцев, и руки поплыли в воздухе, отрываясь от тела. «Не хочу!» — рванулся Сергей и не успел сказать.

Из-под спины ушла опора, и он рывком провалился в черную, бездонную яму.

«Конец!» — вспыхнула на мгновение мысль и тут же неосознанной погасла, не вызвав ни страха, ни сожаления. Тяжелый, наркотический сон завладел им.

5

ЕСЛИ бы вчера утром кто-нибудь сказал Кузнецову, что его первомайским планам не суждено осуществиться, он бы не поверил. Более того, удивился бы, узнав, что сам, добровольно, предпочтет праздничному веселью в кругу друзей изнуряющую работу в тревожной тишине операционной.

По дороге домой и дома, играя с сыном, Григорий Васильевич, как ни старался прогнать от себя мысли о новом больном и предстоящей операции, сделать этого не мог.

«А если умрет на столе?.. Отложить операцию?.. Я буду веселиться, а у него откроется артериальное кровотечение и... Уж этого-то я себе никогда не прощу!»

И сегодня, подходя к зданию больницы, Кузнецов сильно волновался, так, как никогда за все годы своей хирургической практики.

«Мы еще повоюем!» — подзадоривал и ободрял он себя. Григорий Васильевич решительно открыл массивную больничную дверь. Запах лекарств пахнул ему в лицо, возвращая к обычному и прогоняя волнение.

Но в предоперационной, посмотрев на свои руки в стерильных перчатках, он снова ощутил что-то похожее на страх.

Кузнецов подошел к окну, выглянул на улицу. Сплошной лавиной двигались нарядные колонны демонстрантов. Казалось, яркая радуга легла на плечи людям и трепыхалась всеми своими беспорядочно перепутанными цветами.

— Григорий Васильевич! — позвал ассистент Канделис. — Больной на столе.

Кузнецов резко повернулся от окна и пошел в операционную. В его глазах еще металась знамена первомайских колонн, а думами он весь был уже там — рядом с больным. А когда Кузнецов сказал: «Скальпель!» — все постороннее исчезло. Остался человек, распластанный во весь рост на жестком операционном столе, под ослепительным светом ламп, его пульс, дыхание, самочувствие.

Операция началась с небольшой заминки. Делая неглубокий надрез вдоль ключицы, Кузнецов остался недоволен скальпелем. Он попросил заменить инструмент. Ассистент Канделис удивленно вскинул брови, но, очевидно, поняв настроение коллеги, одобрительно улыбнулся: «Смелее, Гриша!» Вслух он сказал:

— Помни, *nervus vagus*!

«Ох, уж этот чертов блуждающий нерв! Лежит себе рядом с артерией и в ус не дует. А попробуй задеть его! Нет, нет, никаких казусов! Предельная осторожность и точность. Ошибка на миллиметр может оборвать жизнь. Канделис понимает это. Иначе не напомнил бы лишний раз. Заметил, что я волнуюсь. Подбадривает: «Смелее...» С ним хорошо. А он мне верит? Не верил — не пошел бы ассистировать. Вот-вот должна показаться вена. За ней артерия. Пока можно работать немного быстрее».

Григорий Васильевич на миг разогнул спину, и операционная сестра ловким движением салфетки вытерла пот с его лица.

1 *Nervus vagus* — блуждающий нерв (лат.).

«Сейчас начнется главное». Минуты многочисленные кровеносные сосуды и нервы, он должен был добраться до артерии, ничего не задев, подвести под нее шелковую нитку и перевязать.

В операционной стало душно. Сергей в глубоком, наркотическом сне.

— Пульс? — спросил хирург, продолжая опасный путь к артерии.

— Норма!

«Надо обойти вену и пучок нервных волокон сверху».

— Меньше обнажай вену, может лопнуть, — предупредил Канделис.

Скальпель по миллиметру, на ощупь движется к цели. На его кончике — жизнь больного.

«Не вскрыв вены, до артерии не доберешься», — думает Кузнецов и говорит об этом помощнику.

— Вижу, они почти срослись...

Сосуд действительно может лопнуть. Его пораженные током стенки потеряли эластичность и могут не выдержать давления крови.

«Что делать?»

— Вскрывай! — посоветовал Канделис. — Другого пути нет. Видишь?!

Кузнецов скорее почувствовал, чем увидел, то, к чему он вот уже в течение часа подбирался. Кончик скальпеля, словно щупая, осторожно прислонился к стенке артерии и тут же был откинут упругой, пульсирующей волной. Нервные волокна, как паутина, обволокли сосуд. Тронь одну такую паутинку, и... Их надо отвести в сторону, отвести живое от живого, не повредив ни нерва, ни артерии.

Какой-то миг Кузнецова терзают сомнения: «Невозможно, это совершенно невозможно...»

В операционной повисла такая тишина, что стук стенных часов казался ударами тяжелого молота.

— Кетгут! — попросил Кузнецов и тут же, как обожженный, отпрянул от стола.

Бурая струя крови фонтаном ударила ему в лицо, заполнила разрез операционного поля и, перекрывая через край, потекла по груди больного.

— Вену! — крикнул Григорий Васильевич.

— Пульс?

— Пульс слабеет. Аритмичен.

«Черт меня дернул на эту операцию!.. Как я посмотрю в глаза его жены?..»

— Канделис, тампоны! Убирай кровь, я подведу нитку.

«Что это: ошибка или неизбежное? Если в этом мессе я задену нерв, тогда конец... О боже, кажется, перевязал».

В следующее мгновение врач увидел широко раскрытые глаза операционной сестры и услышал ее срывающийся шепот:

— Пульс пропал. Зрачки не реагируют...

— Адреналин!.. — рявкнул Канделис.

«К сердцу! Массаж!»

А когда после нескольких массирующих движений рук хирурга готовое навеки остановиться сердце слабо колыхнулось, он понял: решение провести операцию именно сегодня было единственно правильным. Если бы кровотечение открылось в палате, в тот момент, когда все врачи праздновали Первой, то даже очень срочное оперативное вмешательство не помогло бы...

...Кузнецов вышел в коридор. Подошел к раскрытому окну и жадно закурил. Он чертовски устал. Слово побитые, ныли спина, руки, ноги, тупой болью кололо в висках.

Не слышал, как подошел Канделис.

— Иди, Гриша, выпей за удачу. Ты честно заработал сегодня свои сто грамм!

Кузнецов, разминая затекшие ноги, походил по коридору, заглянул в операционную и, сам того не замечая, пошел в палату оперированного.

У изголовья Сергея сидела Таня. Остальные койки были пусты. «Всех вытянула на улицу весна. А им она не в радость...» И то ли от вида опустевшей палаты со скорбной фигурой молодой женщины, склонившейся над спящим в тяжелом, наркотическом сне мужем, то ли от сознания того, что еще немало дней и ночей придется просиживать ей вот так, призывая на помощь все свое юное мужество, у врача больно сжалось сердце.

Он сел рядом на стул. «Сказали ей или нет, что во время операции у Сергея фиксировалась клиническая смерть?»

Таня сидела, не замечая вошедшего. Изредка она протягивала руку вперед и осторожно гладила волосы мужа. Глаза ее неотрывно смотрели на него.

— Волновалась? — тихо спросил Кузнецов.

Таня подняла голову, посмотрела на него и беззвучно заплакала.

— Ну вот! Сделан решительный шаг к выздоровлению, а ты плачешь.

— Доктор, он будет жить?

— Часа два назад я бы, пожалуй, был в затруднении ответить, а сейчас уверяю: будет, обязан! Он спрашивал тебя там, на столе. Ты ему очень нужна.

— Разве я сама не понимаю этого! Только бы, глупый, не гнал меня от себя. Взбрело ему в голову, что его жизнь кончена, а я могу начать все сначала. Но я не могу!.. Не могу без него!.. Жалеет он меня. А я не хочу так...

Слезы, накопившиеся там, около холодной двери операционной, приносили облегчение. Но боль держалась. Таня терзалась своей беспомощностью, видя страдания мужа. Во время операции хотя и радовалась словам сестры, что все идет хорошо, сердцем чувствовала: не все ладно за этой дверью. Тяжело там Сережке, ой как тяжело! А самой было не легче от сознания того, что ничем не может помочь ему.

— Вам будет трудно. — Григорий Васильевич встал, зашагал по палате. — Но надо держаться. Не плачьте при нем и не жалеете его. Жалость расслабляет человека, делает безвольным. В его присутствии делайте вид, что ничего страшного не произошло. Понимаю, нелегко, но это необходимо... В той больнице ему через каждые четыре часа вводили морфий. Старались облегчить последние, как они думали, минуты его жизни. Ты знаешь, что такое морфинист?

Таня отрицательно покачала головой.

— Морфий — одно из сильнодействующих наркотических средств. Его дают больному тогда, когда у него нет сил терпеть физическую боль. При введении морфия в организм больного боль временно затихает. Но к наркотикам очень скоро привыкают. Если вовремя не прекратить впрыскивания, последствия бывают самые ужасные. Потерять руки — огромная беда. Стать морфинистом — беда не меньшая... А если то и другое... — Кузнецов развел руками. — У Сергея давно прошли сроки, после которых продолжение инъекций становится опасно. По истечении трех дней я категорически запрещаю вводить ему наркотики. Сергею будет трудно. Будут мольбы, капризы... Но это надо пережить. Тебе, ему. Ради его здоровья... и пока еще не поздно...

Григорий Васильевич, заложив за спину руки, широкими шагами ходил по палате. Шесть шагов от

двери к окну, шесть обратно. Когда он подходил к двери, Таня испуганно смотрела на его руку и со страхом ждала: сейчас она потянется к дверной ручке, скрипнет дверь, и он уйдет. Вдруг Сереже станет плохо, а рядом никого нет. Тане хотелось вскочить и крикнуть: доктор, не уходите! Но каждый раз Кузнецов медленно поворачивался и шел назад, к окну.

Кузнецов не уходил. Снова и снова переживал он события последних часов. Он словно взглянул на жизнь с другой, неизвестной доселе ему стороны.

Были и прежде в его практике и трудные операции и полные тревог послеоперационные дни. Но там он вел борьбу с недугом и ясно видел будущее своих пациентов. Там не было этой обреченности, перед которой все мастерство и опыт врача были бессильны. Он мог залечить раны, помочь обрести душевный покой, но руки... рук он уже не мог вернуть.

ИЗ ДНЕВНИКА ХИРУРГА Г. В. КУЗНЕЦОВА

13 мая. Весна пришла! А город-то как хорошеет! «А годы идут, наши годы, как птицы...» У нас сегодня посетительский день. Одна девушка поставила букет цветов на тумбочку Петрову. Тот спал. Проснувшись, спросил, кто приходил. Рассказывая, Таня нарочно подчеркнула, что вот, мол, совсем незнакомые люди желают нам счастья, Сергей рассердился. Весь остаток дня молчал. Отчего бы это? Мне показалось, что ему хочется заплакать и только усилием воли он сдерживает себя. К ночи поднимется температура. А гемоглобина опять мало. Эх-хо-хо, гемоглобин, гемоглобин... третий анализ крови, и хотя бы на процент больше...

14 мая. Сергей сказал жене: жалеть понемногу начинают калеку. (Это о том букете цветов.) Трудно и, наверно, страшно ему было произнести это слово. Калека... Был здоровый парень, и вот тебе... Ночью не спал, просил морфий. Тяжело тебе, Сергей, но наркотиков назначить не могу.

Боюсь за его правую ногу. Неужели ничего нельзя сделать? Надо попросить еще один рентгеновский снимок, основательно посмотреть, созвать консилиум.

Таня валится с ног, а на все уговоры пойти отдохнуть отвечает отказом. На шаг не отходит от мужа.

Странно, с появлением в больнице Петрова больные стали как-то терпеливее. А жены стали чаще посещать мужей. А странно ли?

15 мая. Давно, еще в институте, мечтал (даже приснилось однажды), как после труднейшей операции встаю больной с операционного стола и трогательным голосом говорю:

— Доктор! Я буду вам вечно благодарен! Вы спасли мне жизнь!

Мечты, мечты... Как все это значительно сложнее в жизни. Еремин выписался домой. Подошел и говорит:

— Спасибо, доктор! Замечательные вы люди, но лучше не попадаться к вам.

17 мая. Неужели ампутация?!!

6

ПОСЛЕ вечернего обхода Сергей неожиданно спросил:

— Скажите, Егорыч, у человека есть судьба? Егорыч внимательно посмотрел на него.

— Как тебе сказать... Я не поп и не философ, но, по моему то есть разумению, у каждого человека должна быть судьба. Своя. Единственная. Понима-

ешь? Есть вещи, которые существуют независимо от воли или устремлений человека, но в конечном счете они все равно не могут повернуть судьбу по-своему, бросить ее, как часто говорят, на произвол. Если, конечно, сам человек не откажется от борьбы.

— Да я не об этом... — недовольно поморщился Сергей.

— Об этом, не об этом, Сереженька, а собака как раз тут и зарыта! Если не принимать в расчет религиозную мистику, то словами «человек — хозяин своей судьбы» все сказано. Никто не говорит, что это легко. Трудно... и очень. Но если опуститься, потянуть веру в жизнь, — еще трудней.

Сергей не ответил. Егорыч догадывался, что он мучительно искал ответ на вопрос о судьбе, далеко не праздный и не отвлекающий для него. «Судьба-индейка», «судьба — черная мачеха» — все это старое и древнее, что употребляли люди, когда попадали в тяжелое положение, не подходило к Сергею. Он не роптал на свою судьбу. Он страдал. Страдал, как может страдать человек, лишенный способности все делать так, как он делал прежде. Возможно, спрашивая о судьбе, Сергей старался повеселее взглянуть на свое будущее, будущее человека, который хоть что-то сможет делать, чтобы не уйти из жизни и служить людям. Ведь он оказался таким, служа им, ограждая их от несчастия и гибели.

— Верить надо, сынок, — сказал Егорыч и замолчал.

Он нарочно замолчал, ожидая, что Сергей заговорит. Ведь это уже было неплохо — Сергей заговорил! Столько дней молчал и вдруг заговорил!

— Я не привык, чтобы за мной так... Даже кусок хлеба в рот и то... без помощи не обойдешься...

— А ты не торопись казнить себя. Люди все поймут. Люди... они хорошие.

— Да я нехорош...

В палате держалась тишина. Никто не решался помешать начавшемуся разговору, словно это был разговор о самом najważнейшем в жизни, какого никто никогда не знал.

— Ты не обижайся, Сережа, на старика, — сказал Егорыч. — Я волк стреляный, слава богу, повидал на своем веку... и жизнью и смертей всяких... И умных, и глупых, и нелепых. Каких только не приходилось видеть! Вот совсем недавно, то есть года три назад...

Егорыч медленно опустил голову на подушку и изменившимся, хриплым, словно простуженным голосом повел рассказ:

— Шли мы втроем на Учур... Это в Якутии. Январь стоял. Лютый, шут его бери! Что называется, настоящий сибирский мороз. Кругом тайга... Как невеста в фате разнаряжена. Трость дерево — и сугроб снега на голову свалится. По ночам волки воют. Да такую тоску нагоняют — и самому выть хочется. Пришли мы то есть к назначенному месту и того, зачем шли, не обнаружили. Решили искать. С пустыми-то руками кому охота возвращаться! Два дня плутили по тайге. От ближайшего поселения ушли километров на полтора. Запас продуктов подходил к концу и, посоветовавшись, решили идти назад. Тут как назло поднялась вьюга, и ночью волки спугнули наших оленей. То есть остались на своих двоих. Пошли пешком. День идем, другой, а вьюга и не думает переставать. На третий день вижу: заблудились... И вот тут-то началось. Был с нами парень один. Сильный, здоровый... Только мозги у него как-то не так стояли. Ну, то есть не то чтобы дурак, нет, не в том смысле говорю. Легкую жизнь любил. В ресторане покутить, женщинам голову заморочить, драку с пьяной головы затеять... тут уж ловчее его и храбрее не сыскать. А пришлось туго — куда вся его храб-

рость подевалась! «Не пойду,— кричит,— дальше, и все! Все равно погибать, так уж лучше сразу, не буду мучить себя. Подумаешь, герои! Погибнете, как мокрые курицы! Сядьте и ждите. Спохватятся, искать станут». А какие там из нас герои? Страшно-то нам так же, как и ему, только вида не подаем. И умирать сложа руки не хочется. То есть пришлось бы, так в борьбе. Уговаривали мы его, стыдили, пробовали на себе тащить... Куда там! Сопротивляется... Что делать? Продовольствие на исходе, а идти бог весть сколько. Сидим и слушаем, как он нюни распускает. Плачет, клянет все подряд. И тайгу, и мороз, и тот день, когда к нам в группу пришел, и даже мать за то, что на свет родила. Сделали мы салазки, связали его, уложили и повезли. Орет благим матом, с салазок скатывается... то есть совсем сбесился! Хотя и в полном рассудке. Оно, конечно, ехать лучше, чем идти, но куда же совесть денешь? Здоров, как и мы, а... Чувствуем, не дойдем с ним до своих. Все погибнем. Решили уважить его просьбу: оставить, а самим искать дорогу. Сделали шалаш, отдали часть своих продуктов и пошли. Идем и дорогу метим, чтобы людей со свежими силами выслать. Четыре дня шли. На пятый нас подобрал охотники, обессиленных, полузамерзших, голодных... Через день по нашим зарубкам его нашли. Только поздно было. Замерз. Уснул то есть и замерз... Погиб человек по своей же трусости. Испугался трудной дороги — и вот тебе... был и нет. Жалко, и зло берет! Как это можно на свою жизнь рукой махнуть! Нелепо!

Егорыч долго смотрел отсутствующим взглядом в потолок, потом, вздохнув, добавил:

— Может, и не надо было его одного оставлять? Но, с другой стороны, совсем ведь здоровый парень. А что же нам двоим?.. Сесть и тоже лазаря петь, ждать своего конца?

— Ну и правильно сделали! — выкрикнул кто-то из больных.

— Семейным был? — спросил другой.

— Нет... холостяк... Сережке вот нашему ровесник. В палате снова стало тихо.

— Так кого и с кем вы сравниваете? — спросил Сергей.

— А я, Сережа, никого и ни с кем не сравниваю. К слову пришлось то есть, вот и рассказал.

7

В ОЙДЯ как-то в палату, Григорий Васильевич спросил:

— Сергей, тебе разве не хочется побывать на улице?

И, не дожидаясь ответа, позвал Таню.

Через минуту, уложенный в больничную коляску, Сергей выезжал на улицу.

Впервые за время болезни.

Впервые за свою жизнь — беспомощным, уложенным в коляску, как ребенок.

Сергей не заметил, как распахнулась последняя дверь и он очутился на улице. Яркий свет ослепил глаза, в нос ударила струя свежего воздуха, в голове закружилось, и, не помня себя, Сергей закричал:

— Небо! Смотри, Таня, небо! И облака! — Хотел еще что-то крикнуть, но посмотрел на жену и смолк.

Таня улыбалась, и по лицу ее бежали непрошеные слезы.

— Перестань! — шикнул Кузнецов.

— Они сами... честное слово, сами... — оправдывалась Таня.

А Сергей удивленными глазами разглядывал небо, деревья, скамейки с сидящими на них людьми, будто попал на другую планету и видел все впервые. Перед ним, словно перед ребенком, раскрывался огромный мир, в котором бурлила жизнь, плыла фантастическими очертаниями облаков, шелестела зеленой листвою деревьев, звенела, гудела, шуршала и кричала на разные голоса. Жизнь, которая ничем не напоминала о своей другой стороне, той, в которой были кровь и разочарования, боль и смерть.

Сергей потянулся сорвать лист акации и тут же замер: «Чем же я сорву-то?»

И сразу померкли минуту назад радовавшие его краски. Сергей неотрывно смотрел на солнце, не жмуря глаз, не ощущая боли в них, и не мог отвязаться от назойливого вопроса: «Где я слышал, что солнце черное? Я не верил этому. Считал игрой слов. Только не совсем оно черное, оно кроваво-черное и злое...»

— Закурить... — сдавленно проговорил Сергей.

Кузнецов вытащил из кармана пачку, достал сигарету и поднес к его губам.

— Много курить противопоказано, но изредка можно! — Кузнецов зажег спичку. — И не думайте там с Егорычем, что вы эстраконспираторы! Знаю, курите в палате! Да еще посмеиваетесь: вот, мол, мы какие ловкие, черт возьми, доктора вокруг пальца обводим!

Сергей молчал. Жадно глотал сигаретный дым, чувствуя, как в голове у него все плавно кружилось, очертания предметов смазывались и принимали какие-то заостренные сатанинские формы.

Таня отошла в сторону, к цветам, что пестрели у больничной ограды, и задумчиво собирала букет.

Врач посмотрел на небо, перевел взгляд на свои руки и, насупившись, заговорил:

— Дня через три, Сережа, сделаем тебе операцию на ноге...

Сергей посмотрел на врача и отвернулся.

— У тебя, Сережа, замечательный друг — твоя жена. С ней ты обязательно найдешь себе дело. И, знаешь, дружище, счастье — это ж не призрак неуловимый. В жизни его так много, что хватит и на твою долю. Если ты сумеешь заглушить в себе боль.

— Про Мересьева мне расскажите, про Корчагина... Счастье... Разве оно возможно без труда, без дела, которое полюбил? Что там говорить! — вспыхнул Сергей. — Успокаивают меня, как ребенка! А я и сам знаю разные громкие слова про счастье, борьбу, мужество... Про судьбу мне Егорыч толковывал... умно, хитро... Моя судьба меня не интересует, она сгорела. А вот она, — Сергей кивнул в сторону жены, — она за что должна мучиться со мной? Кто мне дал право переводить жизнь другому человеку?

— Не кричи! Кто тебе позволил лишать человека права на любовь? Только о себе думаешь! Пора бы тебе понять, что за человек рядом с тобой живет!

— Ловко вы все повернули. Все как по писаному, — тихо проговорил Сергей. — Тяжело мне. Никак не отвякну от мысли, почему меня сразу не убило током... было бы легче всем...

— Ну что ж, скажи ей все это. Скажи после того, как она столько выстрадала с тобой. Порадуй ее. Танечка, иди сюда! Сергей что-то хочет сказать тебе.

Таня подошла. Недоверчиво посмотрела на обоих.

— Ты чего, Сережа? — спросила она.

— Так, ничего, мужской разговор был...

ИЗ ДНЕВНИКА ХИРУРГА Г. В. КУЗНЕЦОВА

25 мая. Вот и началось... Пришел сегодня в клинику, а дежурная сестра как обухом по голове: Петров отказался от перевязки, не стал есть, не принимает лекарств... Третью ночь не спит. Лежит, смотрит в потолок, и слова из него не вытянешь. Наверно, догадывается, боится ампутации...

26 мая. Верную мысль погал Канделис — съездить к его грузам на шахту, попросить, чтобы приехали всем участком, поговорили по-свойски, поддержали...

На шахте узнали, что я лечащий врач Сергея, сбегались всей сменой. Хорошо говорили о нем. Обещали в воскресенье приехать во главе с начальником шахты. Старичок один все сокрушался: и как же вы там до того допустили, что наш Сергунька и вдруг скис? Жизнь-то, она, дедунь, когда мачехой повстречается, бьет без пощады. Не дать себя захлестать окончательно — вот ведь в чем соль. А в такой беде это очень трудно сделать. Я верю в Сергея! Не знаю почему, но верю! Пройдет эта хандра!

27 мая. Таня упала у постели Сергея и потеряла сознание. Нервное истощение... Хотя бы ее ты пожалел, Сергей. Уложили в постель, она десять минут лежала и опять к нему.

— Таня, — говорю ей, — отдохни немного.

— Какой тут отдых, — отвечает, — умереть ведь можешь.

И такая боль в словах... Рыдает все в ней, а она вида не подает, улыбается. Правду говорят: большое горе рождает большое мужество. Только не каждый способен на это. А ей всего-то двадцать лет...

30 мая. Сдержали слово шахтеры! Человек двадцать приехало. Пришлось нарушить больничные порядки — разрешил войти в палату сразу всем и без халатов. Нагорит мне завтра от шефа за самоуправство! А Сергей повеселел. Пускать бы посетителей по одному-два человека — утомительно для всех и совсем не тот эффект. А тут он как бы снова окупился в свою среду, хоть на час забыл о себе, слушая их. Я-то в горном деле мало что смыслю. Какой-то там квершлаг сбили, и все искренне смеялись над тем, как по бремсбергу (запомнил звучное слово) «орла пустили», а перепуганные плитовые залезли в вагонетки с мультажкой (очевидно, жидкость такая). Сергей обрадовался, когда сказали, что «штаб ворокает делами на всю катушку».

Не помню я что-то, чтобы в одиннадцатой палате когда-либо было так шумно и весело.

А вышли ребята из палаты, сразу смолкли и, как по команде, полезли в карманы за папиросами.

6 и 7 июня. Что же с Петровым? Ампутировать ногу — самый простой выход из положения, самый надежный и... самый непригодный.

8 июня. С чего ж начать? Как мальчишке, хочется бегать и прыгать. На последнем рентгеновском снимке отчетливо видно, кость хорошая. Будешь ходить, Сергей! Только потерпи. И не пугайся длинного пути к выздоровлению.

8

КОРОТКИ звездопадные июльские ночи. Не успевает солнце скрыться за одним краем земли, как на другом ее конце первые лучи уже рвут редящийся сумрак. И все же, как ни коротки эти ночи, а Егорыч с Сергеем о многом успевали поговорить, помечтать, мысленно побывать в разных местах. То Егорыч спускался за Сергеем в шахту, шел

по штрекам, забоям, встречался с его друзьями, то Сергей вслед за Егорычем уходил далеко в тайгу, искал ценные минералы, открывал и дарил людям богатые залежи.

Так было и в последнюю ночь перед Сергеевой операцией. Несколько раз Егорыч просил Сергея уснуть, умолкал сам, минуту лежали молча, а потом незаметно для обоих разговор вновь начинался. Перед рассветом Егорыч неожиданно спросил:

— Сергей, какое у тебя образование?

— Десять классов кончил, горный техникум...

— Ты литературных способностей за собой не замечал?

— Нет... У нас и в роду-то такого не было. Почему вы меня спрашиваете об этом?

— Хорошая бы специальность для тебя...

— Писать — это не специальность. Для этого талант нужен.

— Чем черт не шутит, может, он у тебя есть?

— В школе стихами баловался...

Утром в палату вошла дежурная сестра и ахнула с порога:

— Сережа, ты всю ночь не спал! Вижу! Тебе же операция сегодня! Боже ж мой! Ты знаешь, что с нами ваш лечащий сделает?

— Тихо, сестричка! — сказал Сергей. — Мы молчим, как рыба. И вы... И все шито-крыто!

— Смотри! — удивилась сестра. — Ты и шутить, оказывается, можешь! А я думала...

— Сонечка, я еще и не то могу!

— Вот и правильно. С такой-то женой!.. Она тебе до ста лет умереть не даст! Где берутся такие? Стоит вчера Таня перед Кузнецовым и упрасивает взять у нее лоскуты кожи для пересадки Сергею. Объясняет ей врач, что не приживется чужая кожа на стопе, а она свое: «Какая же я ему чужая?»

9

АДНИ шли своим извечным чередом. Шли так, как им и положено идти самой природой. Операция прошла блестяще. Кузнецов надеялся, что через месяц Петров сможет встать на ноги и сделать свои первые шаги. Хирург ждал этого дня, как праздника.

Для Петровых наступили мучительные дни, полные тревог, раздумий, исканий: как жить дальше? Первой Сергею казалось, что новый путь найден, выход есть. Но стоило вникнуть в детали, как непреодолимой стеной вставало: нет рук, совершенно беспомощен... И все рушилось. Отчаяние предательски шептало на ухо: спета твоя песенка, парень! Хотелось вскочить и закричать что есть мочи: «Шалишь, стерва! Я еще свою песню допою!» Но в душу вновь прокрадывалась жалость к себе, возвращались сомнения: а может, и вправду спета эта песня, называемая жизнью?

Он смотрел на жену, ища в ее глазах поддержки, а она сидела маленькая, шуплая, с заострившимся носиком, глубоко запавшими глазами и казалась девочкой-школьницей, которую незаслуженно и горько обидели. Сергей внимательно всматривался в лицо жены, неожиданно открывая в нем что-то новое. Таня вдруг переставала казаться обиженной школьницей и становилась взрослой женщиной с какой-то ободряющей внутренней силой. И тогда опять отступало отчаяние, давая место новым надеждам и новым планам.

В начале августа серьезно ухудшилось состояние Егорыча. Старик бодрился, скрывал, что ему тяже-

ло, но с каждым днем, и это было видно, маскировать свой недуг ему становилось все трудней и трудней. Реже звучал его раскатистый смех, день ото дня тускнел блеск еще недавно искрившихся глаз, и шутки, что щедро отпускались по различным поводам монотонной больничной жизни, уже почти не слышались в одиннадцатой палате.

Григорий Васильевич подбадривал больного, но у самого, когда уходил из палаты, хмурились брови в озабоченной складке, беспомощно обвисали плечи.

— Что с Егорычем, Григорий Васильевич? — шепнул ему на ухо Сергей. — Он почти не спит, мучается. Разве вы не видите?

— Ничего, Сережа, ничего... спасибо, я вижу, — грустно ответил ему Кузнецов.

— Егорыч, так нечестно, — шутливо сказал однажды Сергей. — Я собираюсь на ноги подниматься, хотел с вами по свежему воздуху погулять, а вы...

— Вот отпустит меня эта зараза, Сережа, явлюсь в ходячее общество, как вновь нарощенные! Человеку без воли никак нельзя. Каким бы ни был высоким потолок, он давит, душно под ним. Иной раз рубаху хочется рвануть на груди да на небо посмотреть, деревья послушать. — Егорыч помолчал, долго смотрел отсутствующим взглядом в потолок, потом глухо добавил: — На улицу мы с тобой, Сережа, выйдем. Обязательно выйдем.

10

С ПОКОЙНУЮ, неторопливую санитарку тетю Клаву будто подменил кто.

— Доктор, доктор! — закричала она во весь голос. — Сережка встал! — Метнулась к ординаторской и, столкнувшись носом к носу с Кузнецовым, вцепилась в халат. — Поднялся на ноги Сергей-то! Господи, да скорей же вы! Встал ведь родимый!

Сергей, перепопсанный через грудь бинтами, бо-сой, в синих трусах, стоял около койки бледный, худой и открыто, по-детски улыбался. Рядом с ним, придерживая его за спину, стояла Таня. У раскрытых дверей толпились больные, дежурные сестры, няни, врачи, смотрели и не верили своим глазам: человек восстал из мертвых. Егорыч, морщась от боли, сидел на постели и приговаривал:

— Молодец! Ай да Сережка! Ай да герой! Орел парень! Так держать!

А у «орла» кружилась голова, черными пятнами застилало глаза, подкашивались ноги, и крепкий деревянный пол норовил ускользнуть из-под него, словно качающийся из волн утлый плотик.

В тот день Сергей дважды поднимался на ноги. Во второй раз, простояв с минуту, попытался шагнуть. Дернул ногой, намереваясь выбросить ее вперед, зашатался и беспомощно упал на постель.

— Черт возьми! — выругался он. — Ходить разучился! Ноги, как каменные, стали... слушаться не хотят. — Он посмотрел на Таню и, словно оправдываясь за свое неумение ходить, виновато заговорил: — Равновесие трудно держать, качает во все стороны. Хочешь руку выбросить и... А нога нисколько не болит! Не веришь? Придержи немного, я пойду...

— Не надо, Сережа, я верю. Но ты устал. Хватит на сегодня.

А ночью Сергей и Егорыч вновь не сомкнули глаз. До середины ночи в окно заглядывала луна, заливая палату голубоватым светом, и больным казалось, что она напоминает о чем-то давнем, недостижимом. Душевные боли сливались с физическими, и становилось нестерпимо. У Сергея ны-

ла натруженная нога, обливаясь потом, он метался по постели, не находя удобного положения. А Егорыч часто глотал порошки, не испытывая облегчения.

Наконец Сергей задремал. Но тут же был разбужен громким вскриком. В палате горел свет, около мечущегося в бреду Ивана Егоровича сустились дежурная сестра и врач.

— Звони Кузнецову, — услышал Сергей. — Готовь операционную.

На рассвете Ларина оперировали. Григорий Васильевич на расспросы Сергея и Тани нехотя ответил, что операция длилась двадцать минут и безрезультатно. Егорыча перевели в другую палату.

Таня бросилась к двери, но Кузнецов удержал ее.

— Не надо. Он без сознания.

— Как же так, Григорий Васильевич? — волнуясь, проговорил Сергей.

— Вот так, Сережа, мы тоже не боги, черт возьми!

11

НЕОЖИДАННО Сергей открыл, что дни не так уж длинные, как они ему казались некоторое время назад. С утра к нему приходил врач-массажист, крутил ноги, разрабатывая застоявшиеся суставы, потом несколько минут Сергей стоял, с каждым разом все больше убеждаясь, что под ним довольно твердая опора, на которую можно надеяться. Затем Таня перевязывала его полотенцами, делая некое подобие шлеи, бралась за нее, и он делал три шага к койке Егорыча. Садился, отдыхал и снова три шага назад. Каждый шаг — это опаляющая все тело боль. От нее рябит в глазах, бегут невольные слезы и назойливо стучит молоточками в голове: «Еще шаг, еще, еще...»

Сергей падал в изнеможении на койку, закрывал глаза, обливаясь в кровь искусанные губы, твердил: «Одну минутку, только одну минутку отдохну...» Вновь вставал и, преодолевая боль, делал мучительно трудные три шага. Так весь день. К вечеру этих шагов насчитывалось не так уж много — около ста двадцати. Сергей вспоминал, что вчера их было вдвое меньше, и радовался: значит, завтра их будет около трехсот. Ждал этого завтра, коротая душевные летние ночи в болезненном полубытии, в жадном нетерпении деятельности, борьбы. Тосковал по Егорычу, к которому его по неизвестным причинам не пускали.

12

ПОСЛЕ операции, которая закончилась, не успев начаться, из-за очевидной бесполезности хирургического вмешательства, Егорыч почти не приходил в сознание. В редкие минуты, когда к нему возвращался рассудок, он неизменно поворачивал голову к сестре-сиделке и слабым голосом спрашивал:

— Ко мне никто не приходил? Если придет кто, сделайте что-нибудь, сестричка, чтобы я в себя пришел.

Отворачивался к окну и пристально всматривался в зеленеющие деревья и просторное голубое небо. В один из таких моментов Егорыч попросил позвать к нему Кузнецова. Врач вошел, сел на стул.

— Как самочувствие, Иван Егорович?
— Мы не дети, доктор! К чему играть в прятки? Сколько мне осталось жить?

— Егорыч...

— Знаю, мало! — перебил Ларин. — Я о другом хочу говорить. — Егорыч помолчал, потом заговорил отрывисто: — Я слышал о всяких пересадках... Не специалист, не знаю. Говорят, пробуют и на людях. Моя песенка спета. Вы знаете это лучше, чем я. У меня крепкие, здоровые руки. Группа крови у меня и у него одна и та же. Вы понимаете, о ком я говорю. Рискните, доктор! Я согласен. — Егорыч посмотрел на свои руки и опять заторопился: — Я дам письменное согласие. Вот оно. Сережка молод, ему надо жить. А мои дни сочтены... Риск стоит того... Если не получится пересадка, ему это ничем не грозит. В случае же удачи... Прошу вас, Григорий Васильевич!.. Это — мое последнее желание...

— Егорыч, дорогой вы мой! — взволнованно заговорил Кузнецов. — Я... я понимаю ваши чувства. Но, к сожалению, существует в медицине такая вещь, как тканевая несовместимость. Так называемый барьер... Если бы я даже смог пересадить ваши руки Петрову, они не приживутся. Наука на пути к таким операциям, но еще не дошла.

— Не думайте только, что это минутный порыв или еще там... — сказал Егорыч. — Нет. Я долго думал, прежде чем решиться, когда понял, надеяться мне больше не на что. Тешил себя мыслью, что хоть руки мои... А вы мне про барьер... Эх, да сколько их, этих барьеров, на пути человека! Вот они, руки, берите их, отдайте другому! Может быть, завтра или... они никому уже не будут нужны. Никому...

Кузнецов крепко стиснул руку Егорыча.

— Не терзайте ни себя, ни меня.

— Ладно, не буду. С пересадкой рук я не придумал. Слышал по радио, американцы сделали такое...

— То была просто рекламная сенсация. Через неделю руки ампутировали.

— А я боялся, умру, не успею... бумажку написал... оказалось, зря...

мется на локте и воскликнет: «Вот это да! Вот это я понимаю! То есть сам ходишь! Ну, садись, рассказывай!» Сергей сядет...

«А в какое же время я пойду? — неожиданно встал новый вопрос. — Соберется толпа, увидит Кузнецов, и все... В тихий час!» — осенило Сергея.

Когда он вышел за дверь, первое, что поразило его и заставило остановиться, — это необыкновенная длина больничного коридора. Узкий, безлюдный, он тянулся куда-то в глубь здания, и казалось, ему нет конца.

«Неужели до той двери семьдесят шагов?» — ужаснулся Сергей, робко делая первый шаг.

Заканчивая семнадцатый, Сергей увидел людей в дальнем конце коридора. Их было четверо. Они медленно двигались к нему навстречу, наклонив головы друг к другу, тяжело приседая на ноги. Взглянув ниже, Сергей заметил в их руках носилки, покрытые белым.

«Больных так не носят! — с непонятным страхом подумал он. — Чего я боюсь?» — резко, как внезапный выстрел в тишине, ударила мысль. От нее закружилось в голове, тошнотворно засосало под ложечкой.

В следующее мгновение Сергей увидел дверь, к которой шел. Она была настежь распахнута.

— Кто умер? — дрогнувшим голосом спросил Сергей поравнявшихся с ним людей.

— Ларин, — гулко ответил санитар.

Коридор качнулся, словно ящик, неосторожно задевший чем-то тяжелым, и, дрожа, замер.

— Стойте! — вскрикнул Сергей. — Куда вы его?..

— Все мы смертны, сынок, — спокойно сказал человек.

Егорыч лежал на носилках с высоко поднятым вверх подбородком, и на желтом, морщинистом лице его застыло беспокойное, как вся прожитая им жизнь, выражение. Пепельно-белыми иголками торчали кусты бровей и, казалось, еще жили.

— Егорыч! — охнул Сергей и, цепляясь подбородком за скользкую, холодную стену, медленно осел на пол.

13

КАК ни старался Григорий Васильевич с Таней скрыть, в какой палате лежал Егорыч, Сергей узнал об этом. В приоткрытую дверь он выглянул, что до нее надо сделать около семидесяти шагов.

«Семьдесят шагов! — думал Сергей. — Семьдесят раз перенести вес тела на больную ногу и мгновенно выбросить вперед здоровую. Костыль бы какой-нибудь! А чем держать? Ничего, плечом буду упираться в стену. Она покрашена, плечо должно скользить. На перевязке попрошу подложить под бинт больше ваты. У меня без отдыха получается пятьдесят шагов. Мало. Но это ж не упираться в стену! В коридоре лежит ковер. Идти по нему трудней, не хватало еще грохнуться среди дороги. Прибежит Кузнецов: «Кто разрешил, черт возьми!»

План перехода от своей палаты до палаты Егорыча был разработан основательно, до мельчайших деталей. Оставалось самое трудное: осуществить его. Сергей уже представил себе, как он войдет к другу и совершенно спокойно, словно они только вчера расстались, скажет: «Здравствуй, Егорыч! Вот забежал навестить тебя!» Егорыч улыбнется. Приподни-

14

ИВНОВЬ в эту ночь Сергей не уснул.

Вся собственная жизнь его шаг за шагом, со бытием за событием прошла в эту ночь перед глазами, настойчиво требуя для себя новой, более емкой оценки. Поведение, поступки, мысли Егорыча, на которые Сергей взглянул теперь с иной стороны, становились для него ярким эталоном, с которым он сравнивал свое поведение, свои мысли и свои поступки.

Когда забрезжил рассвет, Сергей, с трудом оторвав от подушки голову, поднялся на ноги и, превозмогая боль, начал ходить по палате.

«Никакого послабления себе! Никакого! Каждый день прибавлять по пятьдесят шагов!» — тоном непререкаемого приказа твердил он себе.

Утром, войдя в палату, Таня увидела мужа лежащим на полу, без сознания.

— Три дня постельного режима, — распорядился прибежавший сюда Григорий Васильевич. — Полный покой! Извини нас, — обратился он к Тане, — не досмотрели мы за ним в твоё отсутствие. Он вышел вчера в коридор и встретил там Егорыча, словом, тело его...

Таня широко раскрыла глаза, хотела что-то сказать и не смогла.

— Нет больше Егорыча, — сказал Кузнецов и вышел.

Опасения Кузнецова о возможных последствиях нервного перенапряжения, к счастью, не оправдались. Молодой организм поправлялся, быстро набирая силы. К вечеру Сергей был уже на ногах, продолжал тренировку в ходьбе. И никакая сила не могла остановить его в желании скорее и крепче стать на ноги, вырваться из опостылевшего плена неподвижности.

Все чаще и чаще Сергей с Таней заводили разговор о предстоящей выписке из больницы. Каким он будет, этот день? Что ожидает их там, за высокими воротами больницы? Эти вопросы, как и множество других, пугали своей неясностью, торопили. Хотелось скорее домой, хотя оба не представляли себе, какие огорчения и радости принесет им жизнь дома.

И с больницей, к которой привыкли, было трудно расставаться. Все в ней стало удобным и привычным в его новом положении. На эту половую доску он впервые ступил ногами. Вон там упал. А та трещинка на потолке знает, наверное, как горят, словно их жгут каленым железом, пальцы ампутированных рук. В эту дверь каждое утро входит Григорий Васильевич, улыбается и неизменно спрашивает: «Как спалось?» Потом по очереди в нее заглядывают пришедшие на дежурство и уходящие домой няни, сестры, приветливо машут руками, здороваясь, или с улыбкой кивают головой, прощаясь. А что будет там? Что? Как встретят на улице незнакомые люди? Будут смотреть с жалостью и любопытством...

А вскоре сентябрь закружил пожелтевшую листву по больничному двору. Зачастили унылые осенние дожди, и хмурое небо торопливо погнало вместе с тучами косяки перелетных птиц. Птицы летели на юг. Летели навстречу новой жизни. И было непонятно, почему в их криках слышалась неподдельная грусть и отчаяние.

Эти крики преследовали Сергея днем, будоражили по ночам сон. Он просыпался с тяжелыми думами и после долго не мог заснуть. Болели раны. Отчетливо, словно ничего не произошло, ощущались руки. Сергей сгибал пальцы, локти, кисти, чувствуя каждый сгиб, каждую складку кожи. Казалось, кончился длинный кошмарный сон и сейчас он поднимет руки, проведет ими по лицу, сожмет колющие болью виски, пятерней расчесет волосы... Руки тянулись к голове и падали, невесомые, невидимые, опалив плечи огненной болью. Беззвучный, тягучий крик журавлиной стаи рвал тишину темной осенней ночи, невидимыми тисками давил готовое выпрыгнуть из груди сердце.

«Возьми себя в руки!» — властно шептал внутренний голос, и отчаяние отступало.

«Инвалид!» — кричало оно строками пенсионной книжки. — Старушки со слезой на глазах будут смотреть тебе вслед».

«Не распускай нюни!» — кричал все тот же голос, от которого Сергей вздрагивал и менял направление своих мыслей.

Войдя в палату, Кузнецов нарочито бодрым голосом сказал:

— Ну вот, Сережа! Наступил час нашего расставания. Сегодня был консилиум. Учитывая твою прось-

бу, мы решили: можно выписываться домой. — Григорий Васильевич, не глядя на Сергея, прошелся по палате, подошел к окну и, не меняя позы, отчетливо сказал: — Я желаю вам всего самого наилучшего, мужества, любви, счастья. — Он резко повернулся от окна, поспешно подошел к Сергею, стиснул его плечи. — Будет трудно, пиши... пиши, Сережа... — И быстро вышел из палаты.

Моросил серый, холодный дождь, в пожелтевших деревьях метался осенний ветер, рвал листья и бросал их на тускло блестящий, мокрый асфальт. Около больницы стояла толпа людей в синих больничных халатах, в наспех накинутах на плечи пальто и молча смотрела вслед двум удаляющимся.

Сергей шел, сгорбившись, прихрамывая, наклонив вниз голову. Таня шла сбоку, маленькая, хрупкая, и все старалась заглянуть ему в лицо, словно хотела убедиться: он ли это, воскресший из мертвых, идет рядом с ней? Набежавший порыв ветра зло трепал пустые рукава коричневого пальто.

Таня оглянулась назад, прощально помахала рукой. Сергей остановился и посмотрел на провожающих его людей. Таня, заметив навернувшиеся слезы, осторожно тронула его за плечо.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

НЕ ДУМАЛ, не гадал Сережа Петров, впервые ступая на перрон Донецкого вокзала, что придется вот так идти по нему — слабым и беспомощным.

А на вокзале ничего не изменилось. Та же суета и разноголосый шум, те же каменные ступеньки и плетенные асфальтом деревья, и пересвист поездов, и голос диктора — все с первого взгляда было таким же, как в тот далекий, невообразимо далекий день. Да и был ли он, тот день? Неужели эти деревья призрачно склонялись и радостно шуршали зелеными ветвями, а не роняли, как сейчас, с какой-то необъяснимой болью пожелтевшие листья на неудобный, холодный асфальт? Неужели и тогда, когда душу нетерпеливо жгла комсомольская путевка молодого специалиста, голос диктора говорил так же тревожно, словно предупреждал о надвигающейся неотвратимо опасности? Неужели не было этой границы, перерезавшей всю жизнь на далекое вчера и чужое сегодня?

И опять, уже в который раз, показалось Сергею, что он спит и видит сон. Мимо него сновали люди, а он стоял на ступеньках вокзала с широко раскрытыми глазами и ждал: сейчас подойдет Таня и разбудит его. «На работу опоздаешь!» — скажет она и засуетится, собирая завтрак.

Таня вынырнула из толпы и помахала Сергею билетами.

— Куда? — спросил он.

— В Луганск, — ответила Таня и отвернулась, пораженная и встревоженная сосредоточенным, ожидающим взглядом Сергея.

— Почему не домой?

— Все с нами, Сережа. Где мы — там наш дом.

— Какой вагон?

— Одиннадцатый.
— Как и палата...
— Только без Григория Васильевича. Я дала маме телеграмму. Нас встретят.
— Будем искать квартиру?
— Поживем, потом...

В купе они сидели вдвоем, друг против друга. Сергей смотрел на Таню и молчал. Когда поезд тронулся, он приник грудью к столику и уставился в окно.

Мимо бежали дома, деревья, внизу змеями сплетались рельсы, ошалело бросались под поезд, и, будто раздумав или испугавшись, нехотя выползали из-под колес, и бежали прочь, в сторону. По окну стегал дождь, косыми струями резал стекло и ручьями стекал вниз. Дома мелькали все реже и наконец совсем пропали. Поезд вырвался за город. Реденьким, озябшим строем поплыли деревья, за ними виднелась серая донецкая степь.

Терриконт Сергей увидел сразу же, как только поезд, изогнувшись дугой, завернул вправо. Черный, дымящийся, он высился среди степи огромным конусом, сказочным шатром чудо-богатырей. По его склону маленькой точечкой ползла вагонетка. Ошибиться он не мог: то была шахта, где он работал.

— Боже мой!.. — прошептал Сергей и уронил голову, не в силах смотреть на родную шахту.

Жестко постукивал вагон на стыках рельсов, из репродуктора хрипел веселый марш. Таня ласково гладила волосы мужа и срывающимся голосом повторяла:

— Успокойся, Сережа, успокойся... У нас еще все впереди, ты жив — это главное... Остальное зависит от нас... И счастье тоже...

2

РАЗНЫЕ сны снятся людям по ночам. Человек их не выбирает. Сны приходят сами, хорошие и плохие.

В первую же свою ночь в Луганске, на домашней постели, под сбивчивый стук ходиков Сергей увидел первый после несчастья сон.

Он шел по штреку на свой участок и нес на руках, перед собой, тяжелый кусок антрацита. Уголь больно резал ладони, под ногами хлюпала липкая грязь. Сергей то и дело натыкался на разбросанные по выработке вагонетки, падал, поднимался, снова шел и опять падал. Из гулкой темноты штрека доносились голоса:

— Скорей, Петров, скорей! Полгода ждем тебя! Неси сюда уголь, ты же срываешь план всей шахты!

Сергей порывается бежать, но снова падает, наталкиваясь в темноте на что-то жесткое.

«Я же не посчитал, сколько до них шагов. Надо обо что-то опереться», — решает он, сбрасывая с себя промокший больничный халат.

Откуда-то появился Егорыч. Лицо его было мокрое от слез, и он шептал: «Так и не встретились мы с тобой, Сережа... Ты приходи ко мне, я жду. А кричать так по чужому человеку не надо... Ты же мужчина! Семьдесят шагов — это то есть не расстояние...»

— Его же там изуродовали! — захохотал кто-то из шахтеров. — Какой из него теперь горняк!

Сергей мучительно пытается вспомнить что-то очень важное, но это ему не удается.

«Я не такой, как все. Чего же у меня нет?» — думает он.

Из-за перевернутой вагонетки вышел Крамаренко, секретарь райкома комсомола.

— Я лишаю тебя звания — комсомолец! Ты сорвал озеленение поселка. Кричал о создании комсомольско-молодежной бригады, а где ты был, когда ее создавали? То, что ты спас людей третьей восточной лавы, еще ни о чем не говорит! Каждый бы поступил на твоём месте так же!

— Он хоть и такой, а человек все же... — слабо доносится из темноты.

— Отобрать комсомольский билет! — командует секретарь.

— Не подходите, убью! — взрывается в крике Сергей и просыпается.

Темная осенняя ночь окутывает его тишиной.

«Тик-так, тик-так...» — разрывают безмолвие стальные часы.

«Трр-трр...» — совсем как деревенский сверчок свистит электрический счетчик.

«Где я?» — пытается определить Сергей и съезжается, вспомнив сразу весь прошедший день и то, что месяцами предшествовало ему. «Уснуть, скорей!» — приказывает он сам себе и вспоминает только что виденный сон. Спать расхотелось. Перед его глазами проплывает шахтный террикон, виденный им днем из окна вагона, он застилается дымкой, тает на глазах, и вот уже вместо него шумит, смеется прокуренная «нарядная», деловито переговариваясь, идут к гудящему стволу облаченные в шахтерскую робу ребята, звенит хохочущим звоном околоствольный двор, свистит по штреку упругая струя воздуха, шуршит по транспортеру уголь и, весело поблескивая, падает в вагонетки...

И запахла сентябрьская ночь углем, закружила голову сладкой затяжкой табачного дыма после смены, защекотала сердце стремительным падением на пятисотметровую глубину шахтной клетки, загоготала басистыми голосами друзей-товарищей. И вдруг пропало все. «Руки...» — тягостно тикали сиротливым стуком ходики. И поплыл террикон мимо вагонного окна, и разрывается грудь неумейной болью.

Сергей чуть ли не физически ощутил, как некая сила безжалостно рвала из его памяти все то, что было дорого ему, грубой, беспощадной рукой возводила в живом сердце непреодолимую стену, отгораживая его все, что было ТОГДА, от того, что стало ТЕПЕРЬ.

Сергей искал и не находил средство, способное унять боль или хоть чуточку притупить ее. «Как жить?» — возникал один и тот же вопрос.

Рядом, склонив голову к плечу Сергея, спала Таня. «Нелегкие сны и в твоей голове, Танечка», — подумал Сергей.

Он вспомнил, как шли они днем по двору, где проходило детство Тани. Вокруг стояли любопытные соседи, таращили глаза, некоторые плакали. А они шли рядом: Сергей с низко опущенной головой, словно он был виноват в чем-то перед этими людьми, а Таня с гордо поднятым вверх лицом улыбалась и весело повторяла:

— А вот и мы!.. Вот и приехали!..

Из подворотни резко твкнула собака и вдруг заскулила жалобно, протяжно, будто извиняясь. Какая-то женщина подбежала к Тане и порывисто расцеловала ее в обе щеки.

— Дай бог вам счастья!

— Кто это был? — спросил Сергей, войдя в комнату.

— Не обижайся на нее, Сережа, она не из жалости, она просто так, ну просто хороший человек... А на тех, что хныкали, не обращай внимания. Это они от страха... за себя...

Сергей повернулся к спящей, приник губами к мягким, теплым волосам: «Родная моя, любимая! Чем отплачу я за твои муки, что пришлось принять тебе ради меня, за ту боль, что ничуть не меньше моей? Как помогу тебе нести груз, который ты взвалила на свои слабые плечики? Чем поддержу на том нечеловечески трудном пути, на который ты, не задумываясь, ринулась вслед за мной? Что бы делал я, как бы жил без твоей безграничной, самозабвенной и чистой любви?»

Наступивший день, первый после больницы, не принес Сергею ничего нового, не развеял тяжелых ночных дум. Таня, хлопоча по дому, старалась развеселить его, отвлечь от сумрачных мыслей. Всем своим видом она показывала, что все трудное позади, наступила новая жизнь и жить надо по-новому, не поддаваясь печали.

Сергей в глубине души соглашался с Таней: «Да, так надо! Не плакать же беспрестанно о своей судьбе». Но все то же: что делать? Как жить? Неужели вот так, без дела, завтра, и после, и всегда? Эти мысли не давали покоя. Перебирал глазами вещи в комнате, а они казались какими-то неловкими, потерявшими для него всякую обиходную ценность.

На этажерке стояли книги. Старые, потрепанные Танины учебники. Сергей пробежал глазами по выцветшим корешкам. На первой полке: «Физика», «Алгебра», «Учебник для подготовки сандружинниц»... На второй ему бросился в глаза знакомый малиновый корешок. Где-то он его видел совсем недавно. Но где? Сергей не мог вспомнить.

«Как же ее достать?» — остановился он в раздумье перед этажеркой. «Ртом!» — осенило его. Он сел на колени и потянулся губами к книге. Не рассчитав расстояния, сильно наклонившись, Сергей потерял равновесие и больно ткнулся лбом в полку. Попытался встать на ноги, но тут же беспомощно повалился на пол. «Спокойно, спокойно!» — успокаивал он сам себя, чувствуя, как приступ дикой злобы захлестывает его. Хотелось заорать безумным криком на весь мир, лишь бы дать выход клокочущей в груди обиде. «Спокойно!» — прижимая к доскам ушибленный лоб, прошептал Сергей. — Так дело не пойдет!..»

Медленно поднявшись с пола, он походил по комнате. «Все-таки можно же достать!» — упрямо посмотрел он на малиновый корешок. Злясь и спеша, Сергей снова принялся за начатое дело. Но книга, как назло, ускользала ото рта, пряталась все глубже.

«Сверху, зубами!» — решает Сергей и упирается носом в полку. — Проклятие! Все против меня, даже собственный нос!»

— Глупенький! — услышал он позади себя голос Тани. — Неужели тебе трудно позвать меня? Не делай больше так, Сережа, я обижусь!

— Я хотел сам, — смутился Сергей. — Надо же как-то приспособливаться...

Внимательно посмотрев на Сергея, на его растерянно-удрученное лицо, Таня вдруг улыбнулась и согласилась кивнула головой.

— Это от Егорыча, — положив книгу на стол, сказала она.

Таня открыла малиновую обложку. На титульном листе Сергей прочитал:

«И. Е. Ларину. Другу, как брату. В день рождения». Район Норильска. 17 янв. 49 г.»

Ниже, химическим карандашом, было написано: «Танечке и Сереже Петровым.

На долгую, добрую память.

14 сент. 1960 г.»

А еще ниже, крупным типографским шрифтом: «СПАРТАК».

— Постой, постой! — встрепнулся Сергей. — Четырнадцатое... Это же за два дня?..

— Да, Сережа, шестнадцатого его не стало...

— Ты знала о его болезни?

— Да. Мы с Григорием Васильевичем не хотели расстраивать тебя. Опасались, ты вновь, ну, как тогда... лекарства не принимал. Егорыч сам просил не пускать тебя к нему. Он знал, что умрет...

— Трудно, наверно, жить и знать, сколько осталось... Впрочем, как знать, что трудней: сразу или постепенно...

— Ты о чем? — вскинула глаза Таня.

— Сам не знаю, о чем. Шальные мысли лезут в голову.

— А ты гони их от себя. Не давай им воли.

— Дело нужно, тогда и всякая ерунда перестанет в голову лезть. Ты думаешь, я сам не понимаю, что нельзя поддаваться всяким... Только не просто это, Таня. Когда раны болели, легче было. Порошки, морфий унимали боль, а сейчас? Слышала, как гудят по утрам гудки? Душу рвут. Люди пошли на работу, спешат, волнуются, а я вроде тунеядца... В глаза стыдно смотреть...

— Не сочиняй, пожалуйста! — возразила Таня. — Не на базаре ведь руки потерял...

— От этого сейчас не легче. В двадцать пять лет — и конец... Ни на что не годен. Неужели ни на что? А, Таня? Неужели только спать, есть, да и то с твоей помощью?

— Придумаем что-нибудь, Сережа. Вот увидишь! Таня приблизилась к нему. Ей хотелось сказать что-то очень важное, придумать такое, чтобы сразу все прояснить. Но она ведь тоже не знала, что делать. Она только верила, непоколебимо верила.

Так началась у Сергея новая жизнь. Порой ему казалось, что время застыло, перестало двигаться. Иногда эта кажущаяся неподвижность времени вдруг начинала беспокоить и даже мучить Сергея так, словно она была в действительности. Он чувствовал тогда себя смертельно раненным, и его не так угнетала боль, как то, что время для него остановилось, а товарищи идут вперед, забыв об упавшем и утверждая тем самым его непригодность для дальнейшей борьбы.

Однажды он вспомнил рассказ участника войны о том, как тот в одном из боев бежал впереди со знаменем и был тяжело ранен. Зная подхватил другой, и через несколько минут оно затрепыхалось на самой видной точке «господствующей высоты». Там ликовало многоголосое «ура», трещал автоматный салют, а он лежал на росистой траве и глотал кровавые слезы от обиды на невезучую солдатскую судьбу.

Сергей не видел войны, но всем своим существом понимал чувства того солдата.

В середине октября, сняв небольшую комнатку недалеко от центра города, Петровы переселились в нее. Сергей почувствовал себя свободнее. Исчезло тягостное чувство, что он стесняет кого-то, мешает,

ломает издавна заведенные порядки и привычки. И Таня в новой квартире стала другой. Ей было свободнее. Уходя, она и матери не могла объяснить, почему именно свободнее. Ведь многое трудно было объяснить даже матери.

С первых же дней в комнате одна за другой стали появляться книги. Таня приносила их незаметно для Сергея, потихоньку клала на подоконники, стол, с таким расчетом, чтобы ему было удобнее взять их ртом. Читать книги она не предлагала, надеялась, что Сергей сам потянется к ним без просьб и напоминаний.

— Откуда у нас столько книг? — спросил однажды Сергей.

— Как откуда? — притворилась удивленной Таня. — Из библиотеки, магазина... Тебе они не нравятся?

— Я любил книги... Когда-то дня прожить без них не мог.

— И эти читал?

— Нет. Не все.

На другой день после этого разговора Сергей уселся за стол, подбородком подтянул к себе книгу, губами раскрыл ее и начал читать. Таня вышла из комнаты и, затаив дыхание, стараясь не стучать, радостная, принялась хлопотать у керогаса.

После первой прочитанной книги к Сергею стала возвращаться прежняя любовь к чтению. Сам того не замечая, он просиживал над раскрытой книгой с утра до вечера, удивляясь под конец дня быстротечности времени. И реже стали появляться мысли о случившейся беде, о физической неполноценности. Теперь он сознательно гнал их от себя, загораживался от них книгой, не давая ни места, ни времени для раздражающего сердца анализа.

Это был первый шаг к самоутверждению. Это была уже цель! Она помогала миновать трудный период жизни, перешагнуть душевный кризис и не растерять нервы и энергию попусту, на жалость к самому себе.

Дня Сергею стало не хватать. Все чаще и чаще засиживался он до поздней ночи, не в силах оторваться от захватившей его книги.

— Ложись спать, Сережа, — говорила Таня, проснувшись среди ночи.

— Сейчас, сейчас, Танечка! Чутьочку осталось! — торпливо отвечал Сергей, не отрываясь от чтения.

И когда дочитывалась последняя страница, как бы возвещая о выполнении намеченного на день плана, он, довольный, ложился в постель и, мысленно перебирая прочитанное, засыпал.

Вслед за книгами на глаза Сергею стали попадать свежие газеты и журналы. Многочисленные фотографии, броские заголовки наполняли тихую комнатушку беспокойным шумом жизни. С непонятным удивлением вчитывался Сергей в журнальные и газетные полосы, словно то, что было написано там, пришло с далекой, едва знакомой планеты.

Все происходящее в мире и в стране, все дела рук человеческих были знакомы и близки ему, волновали и радовали его, но, с другой стороны, были отгорожены от него непреодолимой стеной, бередили душу саднящим сознанием того, что во всем, что делается и еще много будет сделано, он уже не деятельный участник, а беспомощный, никому не нужный свидетель. И это вызывало у Сергея гнетущее уныние.

Вспоминались дни, проведенные в труде. И даже самые тяжелые из них, изнурительные, горько-соленые от пота, с кровавыми мозолями на ладонях, рисовались как высшее блаженство, до которого сейчас, как до солнца, даже мечтой не дотянуться. И

только память, выступая союзницей Сергея, воскрешала картины того времени, а он, целиком отдаваясь воспоминаниям, неожиданно находил в них утешение. Оно, это утешение, хоть и пахло пылью сегодняшнего дня, все же согревало сердце теплом минувшего и только теперь до конца понятного счастья.

Вот он, как наяву, вспоминается Сергею первый день работы в шахте. Он многое бы отдал за то, чтобы вернуть право и возможность на ту адски тяжелую, первую трудовую смену под землей.

— Хочу в забой, туда, где уголь добывают! — сказал студент-первокурсник Сергей Петров, придя на шахту для прохождения производственной практики.

Бывалые шахтеры с ухмылкой качали головами: забой не учебная аудитория. Там основное — бери больше, кидай дальше...

— Возьмите, не подведу! — просил студент.

И добился, чего хотел. А хотел сразу же попробовать, каков он, шахтерский хлеб! Говорят, трудный. Что ж, легких дорог он не собирался искать! Только бы под силу было. Только бы не сдал отошавший на студенческих харчах организм.

«Как было все это в тот день?» — Сергей остановился посреди комнаты.

В лаве стоял невообразимый грохот. Выбрасывая из-под себя черное облако штыба, натужно выла врубмашина. Скрежетал металлом по металлу скребковый транспортер. Далеко внизу, будто взрывы гранат, хлопали буферами вагонетки.

Примостившись на коленях, Сергей яростно бил киркой по пласту, не слыша дикой какофонии, не чувствуя усталости, с единственной мыслью в голове: не отстать от всех, не опозориться перед шахтерами... А уголь, как нарочно, сыпал из-под кирки мелкой крошкой, сек лицо, руки и не желал скалываться крупными кусками.

На исходе третьего часа работы студент почувствовал усиливающуюся боль в коленях, руках, спине. Кирка становилась непослушной, антрацит не набирался на вертящуюся в руках лопату.

«Неужели не будет перерыва?» — думал Сергей, ощущая, как его колени и руки начинают мелко дрожать, а ноющая боль медленно растекается по всему телу.

— Кинь стойку, как тебя там, студент, — услышал он голос над ухом.

— Сергей! — зло бросил Петров, нехотя потянувшись за креплением.

— Устал? — рявкнул шахтер. — Попробуй завсегда так! В нашей лаве — цветочки. Вон в девятой попробовал бы! Вода, пережимы. Кошмар...

— Перерывы у вас бывают?

— Партию вагонов загрузим, порожняк загонять будет, тогда отдохнешь. Если груз не забуруется...

— И нам придется разбуривать? — крикнул Сергей.

— Нет, дядя за нас все сделает! — хохотнул тот.

В середине смены транспортер дернулся три раза и замер. Сергей мгновенно выпустил из рук инструмент и блаженно растянулся вдоль забоя. Но отдохнуть не пришлось. В наступившей тишине послышался шорох ползущего по лаве человека, и беспощадный, как гром, голос пробасил:

— Это кто же так крепил?

Сергей вздрогнул. Оценка мастера, несомненно, относилась к плодам его труда.

— Немедленно перекрепить! — возмущенно кричал человек с надзоркой. — Немедленно. Пока не завалилась кровля.

Сил на смену у Сергея едва хватило. Он бросил на транспортер последнюю лопату угля, забил последнюю стойку крепления и ничком повалился на каменный пол. Огнем горели растертые в кровь ладони, вьюном выкручивался позвоночник, но в голове скворчком стучала радость: выдержал, не подвел, не отстал!

Немного отдохнув, Сергей приподнялся на локтях, перевернулся спиной вниз и, опираясь на пятки, пополз вслед за шахтерами на штрек. Там он долго не мог разогнуться в полный рост, а когда это удалось, шатаясь, побрел к стволу. Единственное желание было у него — скорее выехать на-гора, добраться до общежития и упасть на постель.

Проспал Сергей весь остаток дня, ночь и утро, не меняя положения, одетым, уткнувшись лицом в подушку. Проснулся за два часа до начала новой смены от острого приступа голода. «Надо же!» — удивился сам себе, вспомнив, что вчера, после работы, забыл пообедать, а ужин проспал.

Утром, утолив голод в шахтерской столовой, он ощутил прилив свежих сил. Только по-прежнему, как и вчера, болели ладони рук, мелкими иголками колело в коленях.

— Как дела, шахтер? — встретил его в «нарядной» бригадир. — Может, передохнешь? Есть работа полегче.

— Вчера как-то и устать не успел! — не моргнув глазом, соврал Сергей.

— Ну-у-у-у! — удивился тот. — Покажи колени.

— Зачем?

— Любопытно.

Сергей задрал на ногу штаны.

— Э-э-э, сынок! Так не годится... Работал без наколенников? А ну беги в мехмастерскую, там есть старые автопокрышки, отруби два куска и тащи сюда, смастерю тебе наколенники по первому разряду!

Но и в наколенниках второй день работы оказался таким же трудным и болезненным.

«Может, работа в шахте не по мне?» — усомнился Сергей. Тут же встал другой вопрос: «А что делать? Бежать? Как трус с поля боя? Нет! Все так начинали. Чем же я хуже других?»

А за вторым днем шел третий, четвертый... Сергей перематывал бинтами растертые ладони и, стиснув зубы, бил и бил киркой по неуступчивому пластику, вымещая на нем свою злость. И крепкий, бесчувственный, холодный, как сама древность, антрацит покорился студенту.

С каждым днем он становился мягче, податливее и в середине месячного срока практики совсем сдался. Зажили, зашершавились мозоли на руках, кирка стала послушной игрушкой, и крупные плиты угля, казалось, сами, без видимого на то усилия летели в грохочущие решетки.

Сергей не считал уже часов и минут до конца смены, не мерил испуганным взглядом тяжелые сантиметры угольного пласта. Работал увлеченно, задорно, радуясь каждой клеткой тела, что трудный период пройден, одержана очень значительная победа, первая в его жизни.

И внешне не узнать стало Сергея. От растерянности, испуганного мальчишки, впервые спустившегося в шахту, не осталось и следа. Теперь это был уверенный в своих силах молодой человек, знающий цену своему труду, понимающий, что дело, которое он делает, очень нужно людям.

Когда окончился срок практики, Сергей, не задумываясь, остался работать в шахте, отбросив соблазнительные мысли о каникулах, отдыхе и прочем. Шахта, как магнит, присосала его к себе. И после, когда

пришлось расстаться с ней и сесть за учебники, он долго тосковал в скучной тишине аудиторий по славным ребятам из пятой восточной лавы, по громовому реву забоя, по острому чувству собственной нужности людям и радостному ощущению до конца выполненного долга перед ними.

«А ведь и сейчас такие же, как и я, когда-то, безусые юнцы спускаются в шахту, борются, побеждают, может быть, отступают, убеждаясь, что подземная романтика не для них... Это было вчера, сегодня, завтра... А что же осталось мне? Кто даст ответ на этот вопрос? Может быть, действительно это неосознанная жестокость — оставлять человеку жизнь и отнимать счастье? Сейчас моя жизнь в моих руках. Руках... Чтобы свести с ней последние счеты, нужны руки... Есть поезд, машина, несчастный случай... И по крайней мере не прилипнет ярлык живых — самоубийца... А все ли испробовано? Умереть легче всего. Даже вот страха нет. Где же та соломинка, за которую цепляются утопающие? Ее нет. Так что же будем делать, Серега? Ныть или бороться? Скажи откровенно. Если бы я был способен хоть на что-нибудь. Надо учиться, приобрести специальность, соответствующую возможностям? И есть ли такая специальность? И учиться-то как? Надо писать, а чем? Ногами?»

Сергей сбросил с ног тапочки, раскрыл рот от удивления, посмотрел на пальцы.

— Но-га-ми, — вслух повторил он и замер от нечаянно пришедшей мысли. — Это же идея! Но-га-ми...

Ему захотелось сейчас же найти карандаш, бумагу и немедленно проверить на практике свою догадку. Вспотевший от напряжения, он бестолково топтался по комнате, тщетно пытаясь найти нужные ему предметы. На подоконнике лежал карандаш. Обрадованный, Сергей бросился к нему и зло выругался. Карандаш был сломан.

Сергей еще не понимал, что даст ему освоение письма ногой. Не смущали его и такие доводы рассудка, как неудобство для глаз и невозможность писать вне дома, когда на ногах обувь. Он увидел именно ту соломинку, о которой только что думал, которую искал и наконец, как ему показалось, нашел. Уцепившись за нее, он не хотел принимать в расчет возражения ума.

Перво-наперво он, конечно, напишет имя Тани и что-нибудь ласковое. Вот она удивится! «Как же ты смог, Сережа?» А он улыбнется и скажет: «Мы еще повоюем, Танечка!» Но как сделать, чтобы она не заметила? Сюрпризом надо преподнести!

Моментально созрел план: когда Таня вернется из магазина, он попросит ее выписать из книги цитату. Потребуется карандаш и тетрадь. Все будет в порядке! Нужные ему принадлежности после записи останутся на столе, и он использует их, когда она ляжет спать.

Вернувшись с покупками, ничего не подозревая, Таня охотно выполнила просьбу Сергея и оставила на столе все так, как он и предполагал. Длинно потянулся день. Сергей пробовал читать, но, глядя в книгу, видел карандаш, зажатый пальцами ног, медленно ползущий по белому листу бумаги. Несколько раз, измученный ожиданием ночи, Сергей порывался рассказать обо всем Тане, но желание порадовать ее неожиданно было настолько велико, что каждый раз он сдерживал себя. А стрелки часов, словно дразня, медленно ползли по циферблату.

— Что-то ты, Сережа, сегодня на себя не похож? Не заболел ли? — заметив его возбуждение, спросила Таня.

— Нет, нет, Танечка! У меня все в порядке! — поспешил улыбнуться Сергей.

Наконец наступила долгожданная ночь. Бросив обычное: «Не засиживайся долго!» — Таня улеглась в постель и заснула.

Сгорая от нетерпения, Сергей сбросил на пол тетрадь, ногой пододвинул ее к себе и попытался раскрыть. Тетрадь вертелась в ногах, скользила по полу, словно заколдованная, не поддаваясь неумелым движениям. Изловчившись, он все же заставил ее раскрыться и лечь так, как он хотел.

Следующая операция — поднять ногой с пола карандаш и зажать его пальцами в положении, удобном для письма, — оказалась еще более трудной. Провозившись более часа в тщетных попытках поднять злополучный карандаш, Сергей, разозлившись, пнул его ногой и уронил голову на стол. Пот струями бежал по лицу, к взмокнувшей спине липла рубашка, и, будто наперекор бушующему в груди раздражению, в голове стучало: поднять, поднять, поднять... Подчиняясь команде, Сергей подкатил карандаш к столу и снова принялся за работу. «Покорись, покорись, ну покорись же, проклятый!» — умолял и ругался он, чувствуя, что ноги начинают сводить судорога. И когда подступило отчаяние, неожиданно пришла догадка: а если ртом поставить карандаш к стене и тогда... Опустившись на колени, Сергей губами схватил упряма и прислонил его к ножке стула. Но, едва ухватив пальцами правой ноги карандаш, тут же уронил его.

Искалеченная стопа отказывалась подчиняться отчаянным приказам.

Карандаш, стукнув, покотился по полу. Помутневшим взглядом смотрел Сергей на катящийся вниз карандаш, и больше всего ему хотелось в этот момент упасть вниз лицом и расплакаться.

За окном затихал уставший за день город. Смолкали трамвайные звонки, пустыли улицы, гасли витрины магазинов, и запоздавшие путники торопливо шаркали туфлями по асфальту, спеша домой на отдых, чтобы завтра с новыми силами стать к станку, спуститься в шахту, занять место у чертежной доски.

Город-труженик засыпал. Городу снились сны. Большие, как мечта, светлые, как сто солнц, ласковые, как руки матери.

А в одном окне в эту ночь до утра не погас свет. Человек хотел жить. Страстно, до боли, до отчаяния. Жить не бездельным наблюдателем, а участником жизни, ее творцом, хозяином. Человек вел трудный бой с самим собой, со своим увечьем. Жестокий, беспощадный...

Проснувшись утром, Таня не обнаружила Сергея в постели. Тихонько спал, неловко склонив голову на стол, согнувшись на стуле, по-детски подбрав под себя ноги. Внизу, на полу, белела раскрытая тетрадь. Лист бумаги был исчеркан неумелыми кривыми линиями и походил на рисунок ребенка, впервые взявшего в руки непослушный, неловкий инструмент взрослых.

«Не получилось... — обо всем догадалась Таня. — И мне не сказал. Не позвал на помощь».

— Сережа! — позвала она. — Перейди на кровать, здесь неудобно...

Сергей приподнял голову, виновато сказал:

— Ничего не получилось, Таня. Ни-че-го... Хотел обрадовать тебя, и вот... Даже надежды не осталось.

— Первые шаги всегда трудны. Разве ты надеялся, что все пойдет легко? Так не бывает. И ты сам себе прибавляешь трудностей. Замкнулся, стал молчаливым... Почему тебе не хочется выйти на улицу, сходиться в кино, встретиться с друзьями? Или собираешь-

ся жить затворником? Один на один со своими думами?

Сергей давно ждал этого вопроса. Ждал и боялся. Боялся даже самому себе признаться в том, что он стыдится своей физической неполноценности, как стыдится наготы или уродства.

— Я боюсь, — глухо выдавил из себя Сергей.

— Чего? — удивилась Таня.

— Людей... Их любопытства, жалости... Некоторые будут думать: «И зачем путается под ногами?» Есть такие, слышал... Да еще хвастаются: «Вот если бы я! Знаешь, какой я отчаянный!..»

— Ой, Сережка, какой же ты глупый! Разве можно так, за здорово живешь, всех под одну гребенку!.. Услышал какого-то дурака, сам делаешь глупые выводы. Да сколько примеров и в жизни и в книгах, что сильные люди именно те, кто наперекор всему, даже самому страшному, продолжают бороться!

— Не надо, Танечка... И про Мересьева и про Корчагина!.. Я не герой, я просто слабак, если не могу с собой сладить...

— А Егорыч! Ты забыл про него! Сережа, ну нельзя же так... Люди не звери, они все поймут.

— Лучше бы не понимали и не жалели. Затворником жить нельзя — это я знаю, но что делать, что делать?!

3

— МАМА, а почему у дяди рукава пустые?

— Тише, дочка. Не кричи так громко. У дяди ручек нет.

— Почему нет, мама? У всех есть, а у него нет?

— Смотрите, девочки, парень без обеих рук! Ой, молодой какой!.. Вот страшно!..

— Чего уставились-то, дикари! Горько человеческое не видели! Выпучили глаза... Ох, и люди!

А он, втянув голову в плечи, неловко приседая на больную ногу, торопился вырваться из шумного потока улицы, скрыться от людских взглядов и слов, что, будто камни, летели ему в душу.

— Не обращай на них внимания, Сереж... Нельзя же так. И никто на нас не смотрит, это только так кажется, с непривычки...

— Я чувствовал, я знал... — бессвязно повторял Сергей, увлекая жену в безлюдный переулочек.

— Что ж, так и будем бегать от людей? — опустив голову, говорила Таня, когда они забежали в подъезд чужого дома.

— Не могу я, Таня. Мне не по себе. Хоть сквозь землю провалился. Понимаю, нельзя так, но ничего не могу поделать с собой. Кажется, вся улица остановилась и смотрит... В глазах жалость и страх, а я не хочу, не хочу, чтоб меня жалели или пугались!

— Да никто так не думает! Ведь ты все это сам сочинил.

— Да ты посмотри в их глаза... яснее слов...

— Не все же так смотрят на тебя. А ротозеев всегда хватало!

— Идем домой, Таня. Меня будто избили ни за что... Хочется напиться... до беспамятства... забыть обо всем... Купи водки.

Таня стояла, ошеломленная. Впервые за их совместную жизнь Сергей заговорил о выпивке. В больнице ее предупреждали, что Сергей станет пить, попытается залить свое горе водкой. Таня не верила. Знала, Сережка всегда питал отвращение к спиртному, да и не таков он. И вот... Новая беда, казалось, неотвратимо нависла над ним. Отказать ему



в его просьбе она не могла и вместе с тем понимала, что в пьянстве, как и во всяком дурном деле, трудно сделать только первый шаг. Потом уже все пойдет само собой.

— Не пей, Сережа, — попыталась она отговорить его, — что хочешь делай, только не пей. Ты же понимаешь — это может погубить тебя.

— А чем мне дорожить в этой жизни? Что мне в ней еще осталось? Скажи, что? — зло выкрикнул Сергей.

Четвертинка водки, купленная в магазине, казалась Тане многопудовой гирей. Она шла по улице и прятала от прохожих глаза. «Сама несусь в дом горе», — не выходя из головы. «Погоди, узнаешь, бабонька!» — торжествующе хохотнул вспомнившийся голос медсестры из Донецка. «Господи, неужели это судьба? Неужели без нее, проклятой, и мой Сережка не обойдется?»

Выплеснув водку в кружку, Таня дрожащими руками поднесла ее к губам Сергея и затаила дыхание. Запрокинув голову и как-то болезненно сморщившись, Сергей сделал глоток, другой, поперхнулся и, стуча зубами о край кружки, с отвращением выпил водку.

Горькая влага опалила желудок, дурманом ударила в голову. «Сейчас будет хорошо!» — подумал Сергей и закрыл глаза. Стул под ним качнулся, и закружилась вся комната бешеной каруселью. «...у всех есть, а у него нет? Почему нет, мама? Почему?» — вдруг заплакал в ушах детский голосок. «Горе человеческое, горе, горе...» — бубнил мужской бас. «Водка погубит тебя, Сережа».

— Нет, это я гублю тебя! — ударился головой об стол Сергей. — Зачем я коверкаю твою жизнь? Приношу одни страдания. За что? За твою любовь, верность? Но я же не виноват. И кого тут винить? Что же ты молчишь, Таня? Ну почему меня насмерть не убило? Зачем мне такая жизнь? Пьяницей, подлецом я не хочу быть, не могу... Мне все противно... и моя жизнь... Но по какому праву, вдобавок к своим бедам, я гублю тебя?

— Ты пьян, Сергей, и говоришь глупости...

— Нет, я не пьян! Я только отчетливее понимаю свою вину перед тобой. Я живу и в этом перед всеми виноват. Мое место... живым я только мешаю... путаюсь под ногами, как жалкий трус...

— Не надо, Сергей, прошу тебя... перестань...

— Вместе с руками надо было резать и сердце. Что же мне делать с ним, если оно болит... нестерпимо? И водка не помогает. Мало... Сходи, купи еще. Я хочу напиться...

Ближайшей к дому точкой железнодорожного полотна был переезд. Сергей прикинул — идти до него не более пяти минут. Поезда ходят часто — пассажирские, грузовые, маневровые...

Очень давно на том переезде поезд задавил человека. Перерезанный пополам труп лежал по обе стороны рельса, а вокруг толпились любопытные. Студент Петров шел в парк, на танцы, и тоже присоединился к толпе. Когда мертвого по частям клали на носилки, кто-то громко вскрикнул, и мужской голос без тени сожаления бросил:

— Ему уже все равно...

«Почему презирают самоубийц? — на миг задумался Сергей, когда Таня ушла в магазин. — А им все равно... им все равно, все равно...»

Он зубами зацепил пальто и кинул его на плечи. Ноги противно дрожали, по лицу текли холодные капли пота. «Прости меня, Таня. Я не виноват. Так

сложилась жизнь. Тебе будет лучше. Через год, два ты это поймешь».

Уличная дверь оказалась закрытой. «Нарочно или по привычке?» Сергей налег плечом, дверь не открывалась. «Даже здесь не везет!» Он побежал в комнату, метнулся из угла в угол и в бешенстве ударил ногой в оконную раму. Посыпалась штукатурка, звякнули стекла, окно вывалилось в захлапленный двор.

«Я бы написал тебе записку, объяснил бы все, попросил прощения, но ты сама знаешь: сделать этого я не могу. Танечка, родная, прости меня, я не буду мешать тебе. Ты назовешь это подлостью, но так надо. Иного выхода из этой проклятой жизни нет».

На углу улицы Пушкина ветер рванул с плеча пальто, и Сергей еле успел удержать его подбородком. Издали он увидел, что переезд закрыт: вереница автомобилей выстроилась до самой гостиницы.

«Где-то на подходе поезд. Грузовой или пассажирский? Этой дорогой мы ходили с Таней в парк. Кто-нибудь скажет: «Ему теперь все равно...» Увидит, что инвалид, добавит: «Отмучился... Больно не будет, я знаю. Не успеешь почувствовать».

В распахнутом пальто, без фуражки Сергей стремительно бежал к переезду. Прежней боли в ноге не чувствовалось, она сделалась какой-то деревянной и очень мешала идти еще быстрее. Рукава пальто трепал ветер и с каким-то диким остервенением хлестал ими по спине.

«Таня увидит окно и догадается. Родная ты моя, сколько горя я принес тебе! Пусть это будет последнее. Прости... Этот прекрасный мир оказался для меня трудным, невыносимо трудным».

Из здания драмтеатра тяжело ухнул и засвистел сиплым протяжным гудком тепловоз.

«Осталось метров двадцать. Скорей! Шахтеры скажут: «Трус». Ребята, я не трус, вы это знаете. Быть лишним невыносимо... Поймите меня».

В городском парке взвизгнула игривая мелодия и тут же была раздавлена дробным стуком колес. Поезд выскочил на переезд. «Грузовой», — с тупым безразличием отметил Сергей и, сам не осознавая для чего, начал считать мелькающие мимо него колеса. По его лицу катились слезы, а он скороговоркой шептал:

— Раз, два, три... — будто от того, правильно или нет будут посчитаны колеса, зависело что-то очень важное. Под тяжестью вагонов шпалы вдавливались в землю, а рельсы, словно гибкие тростинки, дрожали и гнулись.

«Разрежет сразу. Пригнуться и прыгнуть... только не сильно... головой вперед... Эх ты, жизнь. За что же ты меня так?..»

— Сирники е?

Сергей вздрогнул и оглянулся. Пожилой мужчина стоял рядом с ним и жестикулировал, как у глухонемого, просил спички.

— Зачем они мне? — шевельнул бескровными губами Сергей.

Человек обошел его сзади, пощупал рукава пальто и повернулся уходить. Сделал несколько шагов в сторону, резко крутнулся на месте, подбежал к Сергею и рванул за плечо:

— Не дури, паря! Туда всегда успеешь! З глазду зыхав, что ли! Сидай в машину.

Сопrotивляться чужой воле у Сергея не было сил. Ему вдруг стало все безразлично. Какая-то незнакомая доселе пустота души и мысли завладела им. Слегка подталкиваемый в спину водителем такси, он шел к машине и не мог сообразить, где он, зачем, что собирался делать и куда ведет его этот незнакомый человек.

— Как тебя зовут? Где ты живешь? — допытывался шофер, а Сергей смотрел на него пустыми стекляшками глаз и молчал. Чувствовал, как в его мозг острями вкалываются ледяные иголки, не вызывая ни холода, ни боли, ни страха. На короткие мгновения появлялось желание ответить на вопросы таксиста, но что и как на них отвечать, Сергей не знал.

Водитель включил мотор и дал газ. Машина сорвалась с места и, круто развернувшись, устремилась в город. Куда и сколько они ехали, Сергей не помнил. Когда такси выехало за город, к нему, как обрывок незапомнившегося сна, пришло: вернулась Таня и увидела разбитое окно...

— Куда мы?... — встрепнулся Сергей.

— Мозги проветрить! — сердито ответил шофер.

С минуту опять ехали молча. Водитель достал папиросу, покрутил ее в руке и, скомкав, выбросил в окно. Сергея начинало знобить. Холод зарождался где-то внутри и, медленно расплываясь, заполнял все тело.

— Колы в мене загинув сын... — вдруг тихо заговорил водитель, — я те ж... А потім подумав: що ж це робитись? Виталик своїх дел не доробив на землі, и я здаюся... Говорю собі: Тимохей, скільки ты друзив потеряв на шляху від Смоленська до Берліну? Багато... А як ты мстив фашистам за них! Так будь же солдатом до кінця днів своїх! Зажми серце, як рану в бою, и вперед... Живи, працуй... за двоих... Самовбивство це не вихід з положення... А після смерті сына життя не було... Одын вин у мене. Вся радість и надія... десятый класс кінчав... на мотоциклі с дружком поїхав и... тот каліка, а мій... и не дыхнув... — Водитель помолчал, вновь достал папиросу, постучал себя по карманам и, не найдя спичек, скомкал ее. — Ну, а как ты живешь? С кем?

— С женой.

— Она що... покинула тебя?

— Нет... она хороша...

— Давно... руки-то?..

— В этом году.

— Жінка від постели, навіть не відходила, кормила, поїла...

— Откуда вы знаете?

— Морду тебе набити и того мало! Откуда знаю... Самого себе жалко стало? Герой... До дом?

— На Ленинской.

У ворот машина остановилась.

— Сколько я должен? — буркнул Сергей.

— Добрече по шее, если перед женой на коленях прощения не попросишь! — ответил шофер и потянулся открыть дверку.

Из калитки, бледная, с заплаканными глазами, выбежала Таня. Сергей вылез из кабины, понурился головой, остановился рядом с машиной. Таня повернула голову и увидела его.

— Сережа! — вырвался крик.

Она медленно подошла, каким-то отрешенным, невыносимо усталым движением стянула с головы косынку, уронила ее на дорогу и ткнулась лицом в грудь Сергею.

— Непутевый ты мой...

Подняла голову, Сергей посмотрел ей в глаза и покраснел. Боль, обида, горячий упрек невысказанными, незаслуженными застыли в них.

— Предатель! — Таня неловко замахнулась и хлестко ударила Сергея по щеке.

Попыталась бежать, но тут же повернулась, порывисто обняла голову мужа, прижала ее к груди и, глотая слезы, зашептала:

— Я и в «Скорой помощи» и в милиции... не любишь ты меня, Сережка... скажи, за что ты так... Разве я виновата в чем?..

В начале ноября Петров получил вызов с Харьковского протезного завода. Запрос и все нужные документы были отосланы туда еще из Донецка. Сергей мучился в догадках: согласится завод изготовить ему протезы или нет. «Их и цеплять-то не за что, за плечи или за шею разве... Говорил же один человек в больнице: «Для такой высокой ампутации протезы не делают». И вот: «Предлагаем вам прибыть в г. Харьков по вопросу изготовления протезов плеч».

Всю ночь перед отъездом Сергей и Таня не сомкнули глаз. Строили предположения, какими будут искусственные руки, что можно будет ими делать, и оба боялись: а вдруг скажут там, в незнакомом городе, напрасно ехали, помочь ничем не можем...

Утром, едва засерел рассвет, Петровы, смирив нетерпение, отправились на вокзал.

В Харьков приехали во второй половине дня. Завод, как объяснили в справочном бюро, находился метрах в пятистах, прямо перед вокзалом.

Серое двухэтажное здание с небольшими, точно в старом жилом доме окнами, коричневая дверь, перед ней скверик с засохшими цветами, пустые скамейки — вот все, что жадно схватил Сергей одним взглядом, ожидающим, недоверчивым, тревожным. Метрах в пяти от дверей он остановился. Таня потянула за рукав: ты что, Сережа?

— Подожди, дай отдышаться...

— Страшно? — напрямик спросила жена.

— Да, — не скрывая, ответил он.

— Где наша не пропадала! — задорно улыбнулась Таня.

— Что ждет за этой дверью? Убьют надежду или... — тихо сказал Сергей.

Врач, седой человек в очках, привычно закончив осмотр, сказал:

— Протез правого плеча мы вам изготовим. О левом не может быть и речи. Ампутация слишком высокая. Предварительно вам необходимо сделать операцию. У вас не в порядке кости и нервные окончания выходят на поверхность кожи. При таком состоянии вы не сможете пользоваться протезом.

— Товарищ! А без операции можно обойтись? — заволновалась Таня.

— Таня! — укоризненно перебил Сергей. — Раз надо, значит, надо. — И к доктору: — Я согласен на все, только сделайте мне протез.

К вечеру Сергей лежал в больнице. Таня категорически отказалась вернуться в Луганск и, сняв квартиру неподалеку от клиники, осталась жить в Харькове.

И опять потянулись нудные, длинные больничные дни. Нельзя сказать, что Сергей не боялся предстоящей операции. Нет, он боялся. С внутренней дрожью вспоминал все прошлые, с ярким светом огромных ламп, с гнетущей тишиной операционной, с дурманящей волной, насыщенной новокаином и болью, от чего хотелось рвануться со стола и закричать: «Хватит! Ведь есть же предел человеческому терпению!»

Побороть, подавить страх помогала засветившаяся надежда получить протез. Как никогда раньше, Сергей понимал теперь нужность и значение этой последней операции. Только она откроет ему возможность какой-либо деятельности. И Сергей торопил время. Он готов был немедленно пойти в операционную, лечь на стол и еще раз пройти через боль, страх, лишь бы скорее получить протез.

30

Чего он только не вытворял! Что ни день, то пьянка, дебош. Выгнали, как миленького, из больницы! А он даже за протезами на завод не зашел. Я так понимаю: совсем они ему не нужны. Голову зря морочил!

— Если бы мне только кистей не доставало... А то отчекрыжили... дальше некуда,— вздохнул Сергей.

— Ты не унывай!— бодро перебил его протезист.— Главное, чтобы человек сам себя не потерял вместе с конечностями. Вот ведь в чем вопрос!

Сергей возвращался домой. Сидя в вагоне, он уже мысленно осваивал протез.

Таня сидела рядом с ним, смотрела счастливыми глазами и не могла скрыть своей радости. «Операция позади, мы едем домой, протез сделан, все будет хорошо!» — говорил ее сияющий вид.

В Луганск поезд пришел вечером. Над городом висели тяжелые осенние тучи, сеял холодный дождь. Тане, как и в день отъезда, хотелось пройти пешком, но, видя желание Сергея скорее добраться домой, она передумала и взяла такси.

Сергею действительно очень хотелось скорее попасть домой. Ставшие нестерпимыми фантомные боли в отсутствующих конечностях подтверждали слова протезиста о том, что с протезом не так-то легко сжиться. Желание сбросить с себя протез как можно скорее становилось с каждой минутой все настойчивей и непреодолимей. Казалось, сними он сейчас протез, и сразу же утихнут, уйдут обжигающие боли в пальцах, локтях, мышцах, перестанут выкручиваться несуществующие суставы — и исчезнет скользящая с его тела тяжесть.

«Так вот какой ты жестокий», — думал Сергей.

Ночью он долго не мог заснуть. Беспокойно ворочался с боку на бок, не находя телу удобного положения. Ждал, когда утихнут боли, а они не утихали. Мысленно сжимал и разжимал кулаки и чувствовал, как у самого плеча дергаются мышцы, больно натягивая кожу.

После харьковской операции средний воображаемый палец на правой руке заметно переставал слушаться. Он словно прирос к большому, и все попытки Сергея оторвать его не приносили успеха. У безымянного пальца исчезло ощущение ногтя. В последние дни он сильно болел, словно ноготь медленно срывали, и вот боль ушла, и вместе с ней ушло ощущение ногтя. Сергей знал из рассказов врачей, что ощущение ампутированных рук может совсем, навсегда исчезнуть. Знал и боялся этого. Вот уже полгода как у него нет рук, но он чувствует их, они живут в ощущениях, сняты по ночам, болят всеми болячками и царапинами, приобретенными еще в детстве и в последующие годы. Особенно отчетливо Сергей чувствовал указательный палец левой руки и порез на нем ниже сгиба.

Ему было лет восемь, когда, играя перочинным ножом, он поранил палец. Восьмилетний Сережка очень перепугался и с оглушительным ревом прибежал к матери:

— Палец отрезал, что же теперь будет?!

Но все обошлось. Палец зажил, только остался на всю жизнь бугристым шрам.

И вот теперь, спустя полгода после случившегося в шахте, потерять руки еще раз было страшно. Однажды он хотел рассказать Тане об ощущении рук, но она неожиданно заплакала и, уткнувшись ему в грудь, попросила: «Не надо, Сережа, я боюсь...»

Теперь, лежа рядом с ней, Сергей не решался поделиться своими опасениями.

— Почему не спишь, Сережа? — шепотом спросила Таня.

— А ты?..

— Я...

Таня замолчала. По окну шуршал дождь, далеко в ночи тяжело пыхтел паровоз, протяжно и жалобно гудел, словно безнадежно звал кого-то на помощь. Сергей вдруг сказал:

— В народе говорят: медведя и того можно научить танцевать. Попробуем!

СЕМЕЙНЫЙ ДНЕВНИК ПЕТРОВЫХ

Первые записи в дневнике случайны, не помечены датами и сделаны в большинстве своем чернилами, рукой Тани под диктовку Сергея.

О войне прочитано много книг. Попадались хорошие. Но впервые я увидел войну своими глазами в книгах К. Симонова «Солдатами не рождаются» и «Живые и мертвые». Навсегда запомнились скорбные шеренги военнопленных и слова: «Казалось, что всю Россию взяли в плен».

✧

«За бортом по своей воле». Смелый парень Ален Бомбар! Вот бы попробовать, как он! А, Тань?

— Ночью страшно. Акулы...

— Представляешь, кораблекрушение, люди в море... И вместо паники — надежда! Он же смог быть в океане 65 суток, чем мы хуже?! Да, надежда — великая сила!

✧

Куприн — замечательный писатель. Перечитал всего. Только почему его герои такие бездеятельные? Мечутся из угла в угол, как мыши в мышеловке, и не знают, что делать.

✧

Эх ты, модница, злая молодость,
Над улыбкой — секая прядь!
Это даже похоже на подлость —
За полтинник сегою статьи!

И еще:

И какому кощунству в угоду,
И кому это ставить в вину?
Как нельзя вводить горе в моду,
Так нельзя вводить сечину.

Написала моя землячка — М. Румянцева.

✧

Братцы-проходчики дали всесоюзный рекорд. Бригадир — мой друг, вместе техникум кончили. Эх, Витька, Витька!.. Хоть на денек бы к тебе... Нароботался бы до чертиков, подышал бы шахтным воздухом, ей-богу, легче бы стало... Сны меня, друг, замучили... совсем изведут...

✧

Жизнь дорога каждому человеку. Каким бы он ни был. Жизнь — постоянная надежда на лучшее. Огни подразумевают под этим лучшим материальное состояние, другие — моральное удовлетворение, третьи,

и их большинство, и то и другое. Рознит людей вопрос: что в их деятельности первично — моральное или материальное. И из этого вытекает: одни любят жить, другие — жизнь. Одни говорят: я дышу, значит, существую, другие: я приношу пользу людям, значит, живу. Но умирать не хочется никому из них. Первый надеется пожить, второй — испытать гордую радость от сознания, что он нужен людям. Третьего не дано.

☆

1 ноября. Последний месяц осени, а на дворе теплынь. Скоро праздники! Октябрьская, Новый год... Что подарить тебе, Танечка?

— Подари мне город на широкой лагони степи!

— Если б мог, подарил бы самую яркую звезду с неба. Ведь ты подарила мне жизнь! Свою и мою.

— Нет. Любовь!

— Это равносильно.

☆

Горсовет обещает к Новому году выделить комнату. А чем до того времени толпить нашу халупу? По ночам становится прохладно. Сверчок в углу напоминает детство. У отца, в деревенской избе, такой же певун заливался трелями ночи напролет. Миллион лет прошло с тех пор. Порой кажется, какая-то волна выбросила нас на другую планету — планету боли и безысходного отчаяния.

— Не сгущай краски, Сережа.

— Рад бы... А куда спрячешься от солнца, людского смеха?.. Я ведь тоже человек...

☆

«Комсомольская правда» опубликовала письмо одного парня. Работать он не хочет, всех, кто трудится, презирает, любит красиво одеваться, танцульки, рестораны... Ну и, как у нас водится, рядом печатают ответы ему. Воспитывают, стыдят! Черт побери, неужели то, что труд и жизнь — понятия неразделимые, одинаково необходимые человеку, как мозг и сердце, надо еще кому-то доказывать! Обезьяны знали это!..

Говорят, что тот, кто долго живет далеко от родины, заболевает ностальгией. Что это за болезнь — не знаю. Но, наверное, что-то похожее на мучительную тоску по работе. Знал бы тот младенец, какая это жестокая пытка!

☆

Вчера мужчина спешил к автобусу. Запыхался, мокрый весь, на работу опаздывал. Подбежал и... дверь закрылась, машина уехала. Как он, бедолага, ругался! Я стоял рядом и от зависти чуть не плакал. Я-то куда уже не опаздываю, меня никто и нигде не ждет.

☆

Решено! Начинаю учить английский язык. Пригодится!

☆

«...в глубоком понимании горя, душевного страдания, скорби таится огромная нравственная сила, помогающая людям мужественно переносить тяжкие удары судьбы. Борис Рунин».

☆

Сережа, по ночам читать вредно. Или тебе дня не хватает?

☆

Человеческая жизнь мизерно коротка для познания того, что человека интересует. В юности мы преступно-небрежно тратили свое время. Что мы читали? Чем интересовались? Да и читали ли с должным вниманием? Сейчас перечитываю читанное, и в каждой строке открытие.

☆

Мне все говорят, что я не изменилась, только в глазах какая-то озабоченность и усталость. Правда, Сереж? Ты об этом не говорил.

☆

Помнишь песню:

«Глаза твои усталые
еще красивей кажутся».

☆

Давай забудем и больше никогда не вспомним о вчерашнем. Без упреков, без оправданий... Ничего не было. Была водка. Ее больше не будет. И спасибо тому таксисту.

☆

Пришел вызов на Харьковский протезный завод.
Быть или не быть?

☆

Харьков. Я взяла нашу тетрадь. Не обижайся, что без тебя продолжаю записи. Еще в Луганске я знала: одна домой не вернусь. Не могу. И напрасно уговариваешь.

☆

Ты знаешь, Сергей, в своей любви к тебе я открыла что-то новое. Что это, не пойму. Но, наверное, подобное чувство испытывает мать, выстрадавшая свою любовь к ребенку. Не знаю, может быть, это не так, но я люблю тебя все сильнее и сильнее.

☆

Четверг. Волнения и боль прошедших операций делили пополам, так что же случилось — ты не хотел поделиться со мной этой последней? Неужели сознание того, что вместе с тобой, за дверями операционной, переживает, волнуется близкий тебе человек, не придает сил?

Как увидела тебя в бинтах, испугалась. Показалось, что мы в Донецке, а впереди вечность операций.

☆

Ты уже спишь, Сережа? Сейчас 23, у вас в 22 отбой. Что тебе снится? Друзья? Шахта? Угадала? Послушай, я прочитаю тебе стихотворение Марины Цветаевой:

Л ю б о в ь

Ятаган? Огонь?

Поскромнее, — куда как громко!

Боль, знакомая, как глазам — ладонь,

Как губам —

Имя собственного ребенка.

Спокойной ночи, родной.

✱

— Опять начала крутить волосы в колечки? — спросил ты у меня.

Полгода не крутила, думала, забуду, так нет же, вспомнила. А почему, не знаю.

✱

Вторник. Не ожидала, что протез будет таким примитивным. Тебе он тоже не понравился. В наш век и... такая примитивная сошка... Отчего это так? Где же высокий технический уровень, кибернетика, электроника? Крикунов и хвастунов у нас много. Сделают электронную букашку, и шуму... на всю вселенную... А останется без рук такой букашечник, всучат ему допотопный костыль... Тогда бы, наверное, придумался, что человек — это звучит гордо.

✱

Луганск. Ноябрь. Протезы — это не массовое производство, дохода они не дают, затраты на их изготовление большие. Так кому они нужны! Инвалиды как-нибудь переберутся с первобытными костылями.

✱

Потерпевший кораблекрушение увидел спасательное судно, но оно прошло мимо. Что он чувствует в этот момент? Наверное, ему хочется превратиться в чайку! Ну почему нет на свете волшебства! Неужели нет надежды на протез?

✱

— Сережа, не верю! Я понимаю тебя. Нам трудно сейчас. Но тем крепче должны быть наши нервы, тем настойчивей должны мы быть. Надо искать. И без паники.

Помнишь у Горького? Огни упали на дно лодки, испугались и погибли. Другие наперекор всему боролись и победили!

— Ты права. Выше голову, черт возьми! Когда задыхался в бреду, было не легче. Выжил же...

✱

— У тебя опять в кровь растерта спина проклятыми ремнями протеза. Мне страшно смотреть на него, он весь в крови. Сколько же это может продолжаться?

— Пока не научусь писать.

— А если это физически невозможно?

✱

Врач запретил пользоваться протезом. Лечат растертую спину и плечи. Кажется, его и незачем больше надевать. Разве только для того, чтобы не болтался пустым рукав.

✱

Кому нужны были эти поездки, волнения, операция, ожидания, надежды? Никому.

5

СНЕГ выпал ночью. Сначала он шел вперемежку с дождем, но к утру зима одолела осень. Большие, мохнатые хлопья повалили, как пух из распоротой перины, и за несколько минут одели город во все белое. Ударил мороз, подул северный ветер, и завывала зима снежной круговертью.

Так уж устроен мир — с переменами в природе человек всегда ждет каких-то изменений в своей жизни. Ждал их и Сергей.

Но... по-прежнему длинно и однообразно тянулись дни, серые, скучные, с утра до ночи заполненные бесплодными попытками овладеть протезом, вырваться из опостылевшей беспомощности.

Первая задача — сжиться с протезом — Сергею удалась довольно быстро. Превозмогая боль и неловкость, он трое суток не снимал его с плеч. Измученный днем, Сергей заставлял себя и на ночь ложиться в постель с протезом. Сон походил на пытку. Металлические части давили в бок, ремни врезались в тело, плечи нестерпимо горели, протез превращался в чудовищный капкан.

Лишь на четвертый день Сергей почувствовал облегчение.

«Сжился! — победно мелькнула мысль, и сразу стало легче на душе. — Теперь за карандаш! Писать! Если научусь, то буду готовиться в институт!»

Но шли дни, недели, спина и плечи Сергея превратились в сплошную кровотокающую рану, а сдвигов не было. И чем больше прилагал он усилий, чтобы научиться писать, тем менее оставалось надежд на успех. В короткие минуты передышки, прижимая к щеке холодные, мертвые пальцы, Сергей, словно живых, просил их: «Ну, не упрямитесь, пожалуйста... Почему вы не хотите помочь мне? Вы же теперь мои, мои... Я приучил себя к вам, мне это дорого стоило! Так неужели все напрасно?»

Помогая ртом, ногами зажимал черными, негнущимися пальцами карандаш и продолжал бесплодные попытки написать хотя бы одну аршинную букву. Но и это не удавалось. И когда подступало отчаяние, Сергей сбрасывал протез на пол и бил его ногами. Бил до изнеможения, до кровавых ссадин. И вновь казалось, что жизнь кончилась.

ИЗ СЕМЕЙНОГО ДНЕВНИКА ПЕТРОВЫХ

17 марта. Ура, Таня! Пишу! Сам! Сам! Сам! Пишу!

✱

Два часа ночи. Утром ты проверишь мою писанину. Не ставь, пожалуйста, двойку. Ты и так их сыпала, как из рога изобилия, за те мои палочки и крючочки, что я терпеливо выводил, как заправский первоклассник. Поставь мне пятерку, мой строгий учитель! Ты никак не хочешь понять, что даже самый плохой первоклассник выводит свои палочки рукой, а я зубами.

Я плачу от радости. Те двойки, что я ставила за написанные тобой палочки и крючочки по программе первого класса, которые ты писал, сгрызая карандаши, стоят четырех пятерок, вместе взятых. Ведь нельзя же оценить обычными оценками твой титанический труд, твою настойчивость. Буквы Ж, Щ, Ф потренируйся писать. Задание: по двести строчек каждую.

20 марта. Месяца через два буду писать вполне прилично. Только бы не болели глаза и челюсть! Интересно, каким будет почерк?

Встретил вчера в городе Боря Казакова. Армейский друг! Женат. Растет дочь. А сам несколько не изменился. Вспомнили солдатское житье-бытье. Никогда бы не подумал, что Борис — такой тактичный парень. Наверно, чтобы не бередить мне душу, так и не спросил, как все случилось. Дал адрес и сказал: если нужна будет моя помощь, не стесняйся, зови. А живет-то он в Казани. К нам попал случайно, в командировку. Зови... Нет, Боря, не позову.

Не тот я уже, твой бывший комсорг. Людей стесняться стал. Надломилось что-то во мне. А что, сам не пойму.

Самое трудное — это сознание собственной ненужности. Потерять руки, перенести все кошмары операций — еще не самое страшное. Остаться за бортом жизни в расцвете сил, почувствовать свою ненужность обществу — вот самое жестокое испытание, которое может выпасть на долю человека.

Из письма грузей... а еще сообщаем тебе — наша бригада коммунистического труда каждую смену дает одну норму сверх плана. Нас девять, а в наших сердцах ты десятый. Так что не погасла твоя шахтерская лампочка! Все мы здесь очень жалеем, что ты не вернулся жить в поселок. Его теперь не узнать. Летом утопает в зелени. Очень пригодился твой совет о саженцах. Шесть тысяч корней пересадили с той балки. Еще раз напоминаем: пожелай — и мы мигом перевезем вас сюда. Квартира будет — какую пожелаешь.

Может быть, я сделал ошибку, не вернувшись на шахту. Но поймите меня, ребята: как мне жить, когда загудит шахтная сирена и понесет ветер запах дымящегося террикона? Куда я спрячу свое сердце?

27 марта. Что заставило меня побежать отключать трансформатор? Я же знал — это опасно.

Черт знает что... И ни о чем я не думал, когда бежал. Просто мельтешили перед глазами лица ребят, что были там, в лаве...

В чем смысл жизни? Сколько копий поломаю на этом вопросе! Смешно, как вспомню сейчас те дискуссии...

30 марта. Московский журнал «В мире книг» предлагает своим читателям поделиться мыслями о личных библиотеках. Не попробовать ли? Опыт у меня невелик, да и библиотека несолидная, но ведь есть люди, у которых и этого нет. Написал. Впервые обратил внимание на почерк. Странный механизм почерк: сравниваю рукописи, написанные в техникум — рукой, и вот эту зубами — никакой разницы.

4 апреля. Я никогда не вижу себя во сне без рук. Всегда снится, что у меня чего-то не хватает, а что — не понять. Сегодня играл в волейбол и такие мячи «тушил», ахали все. Проснулся, на лбу холодный пот, а в голове все тот же вопрос: ну и колюча же ты, жизнь, со всех сторон колешься...

Что было бы, если бы я умер? Вот так же светило бы солнце, шумела листва деревьев, по радио пели бы вот эти же песни, и комната была такой же... А Таня?.. Страшно? Да. А самое страшное — это то, что нет на земле моего следа.

7 апреля. Отметили день рождения Таниной подружки. На вечере в основном была молодежь. Выпили, потанцевали, пели, и вот один пижон с галстучком «бабочкой» надумал анекдоты рассказывать. По кругу, все по одному. И начал о женщине пошлый, грязный анекдотишко... Сидят все, как грязью облитые, кое-кто натужно хихикает. Я не выдержал, встал и потребовал извиниться. Парень решил отшутиться.

— А, не защищай их, все они такие!

Мы с Таней извинились и ушли. Ох, и понервничал я тогда! Какой-то молокосос и, видите ли, подводит базу под слюнявые мыслишки! «Все...» Так, значит, и твоя мать и миллионы других?

Сегодня пришел к нам тот «хохмач». Чуть не на коленях просил прощения за ту «пьяную выходку». Он-де не знал ничего о нас и прочее. И что интересно — искренне. Разговорились мы с ним. Вообще-то он парень неплохой. Наслушался только всякой гряди и решил блеснуть остроумием.

13 апреля. Весна!.. А отчего так грустно? Да. Завтра годовщина... Прошел год...

Побежал бы я, если бы знал, что навсегда оставляю там свои руки?

Но тогда я должен был бы знать, что случится с рабочими в лаве после взрыва трансформатора. Если ничего — нет, если да — побежал бы.

Впереди — пустота, позади — пропасть... Можно отступить и упасть. Душевная боль — это камень потяжелее, чем боль ран. Неужели не осилю?

Да, Серега, если повесишь нос, — сломается. И никакой «костер на снегу» тогда тебе не поможет.

17 апреля. Перечитал «Тихий Дон». Никогда не видел я Дона да и казаков настоящих. Но верю — именно так все и было. А черное солнце!

Да, оно может быть не только ослепительно ярким!

☆

Боже мой, как мало я знаю! Надо, перестроить, уплотнить свой распорядок дня. Интересно, какой минимум сна возможен для человека?

☆

Сергей, так нехорошо! С тех пор, как ты научился писать, я не принимаю участия в ведении дневника. Ты отвратительно пишешь букву «ж». Не стыдно?

☆

19 апреля. Ура! Получил ответ от редакции журнала «В мире книг». Моя статья о библиотеке будет использована в обзоре писем. Значит, могу! Могу еще чем-то быть полезен!

☆

22 апреля. Встретил одного. Он мне сказал:
— Я бы на твоём месте пил да спал. Деньги платят, чего ещё надо!
В горе для него одно лекарство — водка.

☆

28 апреля. Окончил новую статью. Получилась очень длинной. Как подумаю, что ее должен кто-то прочитать, — страх берет. Вдруг это никому не нужно. И я отнимаю время у людей.

☆

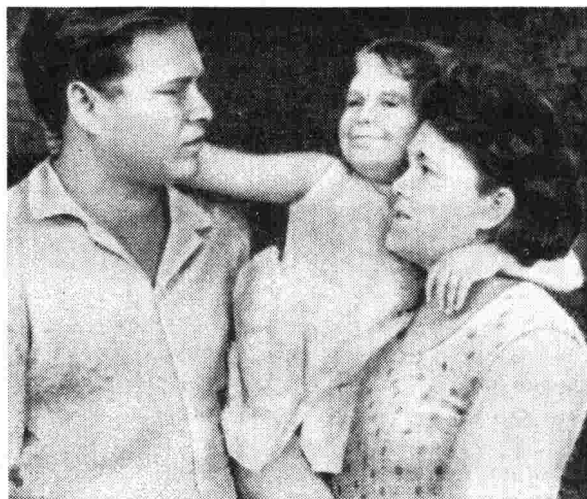
Первую весну мы встречаем с Таней вместе. Сколько мечтали об этом! Была на нашем пути и армия, и учеба, и больница... Каждый год была весна, а мы были врозь.

☆

Сережа, у нас будет ребенок...

☆

Таня, Танечка, Танюша! Родная моя! Любимая! Солнышко ненаглядное мое!..



Владислав Титов, его жена Рита и дочь Таня.

☆

Сейчас мне особенно близко стихотворение К. Симонова.

Жди меня и я вернусь
Всем смертям назло...

И наиболее дороги его заключительные строки:

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой...

☆

Все эти дни хожу пьяный от счастья. Забываю, что у меня нет рук. Выросли крылья, и я лечу и лечу куда-то над цветущей, радостной землей. Иногда наплывает облачко беспокойства: а все ли будет хорошо? Каким ты будешь, родной, незнакомый человек? Столько пережито, просто не верится, что и в наш дом стучится простое и такое желанное человеческое счастье.

г. Луганск.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ВОСЛЕД ПОВЕСТИ

Итак, дорогой читатель, сейчас, когда вы прочитали повесть Владислава Титова «Всем смертям назло...», позвольте мне сказать несколько слов о ней и ее авторе. С фотографии на вас смотрит широкое мужественное лицо автора, человека, полного сил и энергии. Так оно на самом деле и есть. И, может быть, поэтому вас несколько удивит, когда я скажу, что вот этот жизнерадостный человек поведал вам только что свою нелегкую одиссею.

Владислав Титов не профессиональный писатель. Ему 32 года. Он шахтер, горный мастер, комсомолец, которого трагический случай на шахте, выбил и, казалось бы, навсегда выбил из жизненного седла. Он лишился обеих рук. Но, будучи настоящим советским человеком, не покорился тяжелой своей судьбе, искал и нашел свое место в активной жизни. Сейчас Титов снова «на коне». Он с упорством Николая Островского готовит себя к новой профессии, полон сил, воли, энергии. Повесть, которую вы только что прочли, он писал, держа карандаш в зубах. Трудно поверить? Согласен. Трудно. Но это было так. И, вероятно, поэтому повесть эта, рожденная на взлете человеческого духа, эта первая и, как я надеюсь, не последняя книга Титова, покоряет силою самой большой правды — правды жизни.

О чем она, эта книга? О советском юноше послевоенного поколения? Да, конечно. Но рядом с ним — прекрасная молодая советская женщина, обаятельный образ которой Владислав Титов писал с натуры.

И автор повести, закончив свое первое произведение, не расстаётся с карандашом, который, как он надеется, станет для него новым орудием производства. Скажу по секрету: «Юность» уже готовит и печатает его рассказ. Так пожелаем же Владиславу Титову, хорошему шахтерскому парню, успехов в овладении его новой, очень сложной и благородной профессией.

Борис ПОЛЕВОЙ

Я стою у могилы. Хотя могилы, собственно, не видно: она завалена цветами. Большие венки от организаций и — что, пожалуй, еще важнее и трогательнее — множество маленьких букетиков в целлофане. От людей. От каждого. От каких-то отдельных, самостоятельно бьющихся и живущих своей жизнью сердец. Но, значит, все-таки не отдельных и живущих не только своей узкой и личной жизнью. Значит, есть какие-то связи, глубокие, внутренние связи между тем, Неизвестным, кто лежит здесь в земле, и теми, живыми и разными, которые идут сейчас мимо его могилы, поднимаются по ступеням, снимают шапки, стоят у кремлевской стены — а у стены опять венки, венки, венки — и медленно обходят могилу, не спуская с нее долгого прощального взгляда.

Значит, есть эти связи. Конечно, не одинаковые, конечно, разные по своему наполнению, жизненному и эмоциональному.

Вот стайка девчат, присмиривших и торжественных. Может быть, они пришли сюда сейчас же, прямо с выставки, расположенной совсем рядом, через дорогу, в залах Манежа. Разгром фашистов под Москвой... Может быть, девчата видели там все «то» на картинах, фотографиях и по-своему поняли и прочувствовали это, как можно прочувствовать мертвые фотографии. Но сюда они принесли свое живое сердце.

Вот венок с белой, в отличие от прочих, лентой и бросающейся в глаза черной траурной надписью: «Дмитрию Соловьеву, пропавшему без вести, от жены, сына и внука, носящего его имя».

Вот букетик с простой рукописной надписью: «Моему папе».

А вот пожилой человек, мужчина, морщинистый и лысый, согбенный, слегка загибающий ногами. Он идет и вытирает глаза снятой шапкой. Плачет. Нет, это уже не от фотографий, это от той неистребимой боли, от той незаживающей раны, которая в его, видимо, много пережившем сердце.

Кровоточит оно и у меня, разрываясь от того, что не выплачешь и не выкричишь. Вот по этому Александровскому саду, мимо этих кремлевских стен, у которых нашел свое последнее успокоение неизвестный солдат, шел когда-то мой сын Володя, шел с девушкой и обошел с нею весь Кремль, и было для них в этом, видимо, что-то святое, то, что поднимает сердце, и высекает в нем озаряющую искру, и раскрывает для самых светлых и благородных чувств. И было это, видимо, настолько огромно и так чисто, что он принес это нам, отцу и матери, и мы были тронуты этим.

Это было перед самой войной. А после войны эта девушка пришла к нам поведать, узнать о судьбе Володи, и мы вместе заплакали с ней.

Он ушел добровольно, имея бронь в авиационном институте, и остался там, известный солдат в неиз-

Григорий Медынский

У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТ- НОГО СОЛДАТА

вестной могиле, где-то под Воронежом, который он защищал как минометчик в тяжелом 1942 году.

С тех пор прошло двадцать пять лет, четверть века, а все это живет и не уходит из памяти. Да и уйдет ли? Да и нужно ли, чтобы ушло? Течет река времени, и пройдет еще четверть века, или, может быть, меньше, или, может быть, больше, я не знаю — да и вряд ли кто знает, сколько времени еще потребуются, чтобы снять зловещую тему фашизма. Но даже и тогда нельзя будет забыть о нем, как мы не можем забыть об инквизиции, о нашествии гуннов и татарском иге, как нельзя забыть о самой идее порабощения. Она слишком живуча, она — об этом говорит суровый опыт жизни! — способна отращивать новую голову даже тогда, когда кажется совсем, навеки обезглавленной. Она, как ядовитый цветок, способна вырастать из любого соцветия слов.

Это нужно помнить! Memento...

Это нужно помнить всегда и обязательно тем, кто нарождается вновь, для которых жизнь — неоглядное и нехоженое поле с немеркнущими звездами кремлевских башен и девичьих глаз, а война — это картинки, увлекательные кинофильмы и скучные поучения стариков.

Мы тоже так думали и тоже пели о последней,



У могилы Неизвестного солдата. Москва, декабрь 1966 года.

Фото А. Устинова.

всеочищающей войне, о последнем бое, после которого воспрянет род людской. Все оказалось куда сложнее. За мир и счастье еще нужно бороться и бороться. Существует такое, не лишнее, пожалуй, и некоторого основания наблюдение, что война не может начаться, пока не подрастет новое поколение, не знающее войны. Пусть это наблюдение не будет правилом! Пусть не умолкнет тревожный колокол Бухенвальдского набата и предупреждающий голос Юлиуса Фучика: «Люди!.. Будьте бдительны!»! Пусть не обольщаются, особенно они, молодые люди, новые, подросшие Володи, видимой безоблачностью жизни.

Об этом и о многом другом я думал там, у могилы Неизвестного солдата. По обе стороны от нее стояли часовые почетного караула, неподвижные, как изваяния, плечи их припорошены были снегом, а ярко начищенные сапоги сверкали парадным блеском.

— Почему же они не в валенках? Мороз! — тихо спросила сердобольная женщина.

— Говорят, отказались. Солдат есть солдат и должен быть по форме, как положено. На посту!

И они стояли, как положено, отдавая воинскую почесть тому, кто свое отстоял. А мимо шли и шли люди, и, вглядываясь в них, вдумываясь в их думы, я старался постигнуть те внутренние связи, которые объединяют их, незнакомых друг другу и обособленных как будто бы друг от друга людей, которые через минуту разойдутся в разные стороны и займутся каждый своим делом.

Да, у каждого из нас свои дела и заботы, и большие и малые, и для каждого, конечно, очень важные. Но есть у нас одно главное дело и одна главная, всех объединяющая забота — забота о своем большом доме, о стране, о Родине и о народе, так много пережившем и так много совершившем и сделавшем. И о том, что нужно еще сделать и завершить, и о том, чтобы осуществить те святы и великие исторические цели, которые он себе поставил. Да и не только себе. Чтобы спокойнее и теплее было жить на земле. И разумнее. И честнее. И справедливее. А главное, чтобы победить страх, смерть, истребление, порабощение — зло, недостойное человеческого звания.



Кайсын Кулиев



Чем горячей костер горит,
Тем догорит скорее,
Зато он скалы озарит
И мерзнувших согреет.

Когда луны на небе нет
В заснеженном краю,
Костер дарует жар и свет,
Как люди жизнь свою.

Костры, чей пламень скуп и слаб,
Пусть долее горят,
Но человека, что озяб,
Им обогреть навряд...

Ты жил, хотел гореть сильнее,
Себя ты не жалел,
Других костров, других людей
Ты раньше догорел.

Но пепел от твоих углей,
Хоть твой костер погас,
И ныне, может, горячей
Огня иных из нас.

Умели люди сеять хлеб,
Рожать детей, ковать оружие
И восставать против судеб
Умели, если было нужно.

Хоть ныне и в былые веки
Довольно было простоты,
Но люди чрез хребты и реки
Умели возводить мосты,



Ума и мужества хватало
Во всех краях, во все века,
Но жизнь сердца ожесточала
И храбреца и знатока.

Хватало хватки и усердия
У всех в любые времена,
Жизнь лишь добром и милосердьем
Нас одаряла не сполна.

И книги, и слова поэта,
И опыт вразумил меня.
Тавром легла мне эта мета
На сердце, как на круп коня.



Кто слушает — мудрее говорящих,
И это нам давно понять пора.
Как многословен ручеек бурлящий,
Как молчалива белая гора!
Есть у земли многовековый опыт,
Земля всю мудрость прячет в закрома.
И гром, и гул дождя, и снега шепот —
Земля все слышит, но молчит сама.
Немногословные мудрей болтливых.
И я винюсь и тех благодарю,
Кто слушает и слушал терпеливо
Все, что я говорил и говорю.
Вы слушали, и я из вас любого
Куда мудрей себя считать могу.
Спасибо вам, что не были без крова
Мои слова, как птицы на снегу.
Мы, стихотворцы, говорим, как дышим,
И в миг, когда я слово оброню,
Коль это слово люди не услышат,
Оно сгниет, как стебель на корню.
Я вдосталь важных слов сказал и праздных
По мере мудрости своей и сил.
Вы потому умней меня гораздо,
Что слушали, а я лишь говорил.

Слепые

Не могут различить слепые,
Гора близка или далека,
На небе тучи гроззовые
Иль голубые облака.

«Тарк-тарк» — стук посохов убого
Доносится издалека.
Идут слепые, и дорога
Им и широкая узка.

Не видят ни земли, ни неба
Слепые люди с малых лет.
Лишь вкус воды и запах хлеба
Слепым определяют цвет.

Вершат слепые путь свой древний,
Идут неспешно в жаркий день,
Не зная цвета тех деревьев,
Которые им дарят тень.

Но жизнь порою все иначе,
И мы слепых берем в пример.
Кто из людей увидел зрячих
То, что узрел слепой Гомер?

«Тарк-тарк» — беспомощны, как дети,
Идут слепые тяжело.
Но и для них на белом свете
Не все черно, не все бело.

«Тарк-тарк» — по камешкам горячим
Постукивают палки их.
Пред ними тьма, их свет утрачен.
Им видно только, что у зрячих
Есть беды, как и у слепых.



Если вдруг в цветке
Не будет нежности,
Если в ручейке
Не будет свежести,
И поэзия умрет.

Если луг цвести
Не будет летом,
Если вдруг
Даль не забрезжит светом,
И поэзия умрет.

Если мрак ночной
Не будет мраком,
Если знак степной
Не будет знаком,
И поэзия умрет.

Если соль
Соленою не будет,
Если боль
Бездонною не будет,
И поэзия умрет.

Пусть же светит
Небо голубое,
Пусть на свете
Будет все собою.
Пусть поэзия живет!



Я уйду, и ты уйдешь в свой час,
Но трава останется травой,
И когда уже не будет нас,
Как сто лет назад и как сейчас,
Будет снег белеть над той скалою.

Проживем сто лет мы или год,
Путь наш будет близок или далек,
Мы с тобой уйдем, и наш уход
Будет, как любой уход, печален.

С грустью поезда уходят вдаль,
С болью дуб роняет лист зеленый,
Каждый раз рождает в нас печаль
Солнце, уходящее за склоны.

Не без боли травы сходят с гор,
Тур уходит из родного края,
Каждый раз пастушеский костер
Боль в душе рождает, догорая.

Что бы ни ушло — уход тяжел,
На земле не может быть иначе.
Слышишь, как река упавший ствол
На спине своей уносит, плача.

Неизменно грустен птиц отлет,
Хоть весной опять вернутся птицы.
Грустен лета, грустен дня уход,
Хоть и суждено им возвратиться.

Вот и я и ты уйдем в свой час,
Но трава останется травой,
И когда уже не будет нас,
Как сто лет назад и как сейчас,
Будет снег белеть над той скалою.



— Солнце, нас сначала ты согрей! —
Говорили каменные скалы.
— Нет, трава на склонах вас слабей,
Надо мне траву согреть сначала!

Молча камень на заре просил:
— Ты меня согрей скорее, небо!
— Погоди, у поля меньше сил,
Меньше сил у тех, кто жаждет хлеба.

Г о д ы

Вы зимою от снегов белы,
От дождей вы темно-серы летом,
Тянетесь вы в горе, как волны,
В радости летите, как ракеты.

Легок путь наш или же тяжел,
Светит радость или боль нас гложет,
Годы — реки: тот, кто в них вошел,
Не стремиться к берегу не может.

Годы, вас я видел без прикрас,
Пахли вы то ягодой, то дымом,
То вы с седел сбрасывали нас,
То перевозили нас к вершинам.

Трудно пряжу черную сучить,
Вить лишь белую не удаётся,
Но из них из двух плетется нить,
Та, что жизнью испокон зовется.

Мы не ропщем на судьбу свою...
Вы счастливы или несчастливы,
Мы впрягаем вас в арбу свою,
Скачем вдаль, держась за ваши гривы.

Падаем на землю в черный час,
Но встаем с земли и скачем снова.
Славим вас и проклинаям вас,
Потому что нет у нас иного.
Вы несете все, что есть у нас:
Боль и радость, немоту и слово.



Пускай великих дел не совершил я,
Мостов не строил, не крушил я скал,
Переплывать моря мне не по силам,
Но речки я не раз перепплывал.

Всем в мире груз посильный предназначен.
За это глупо клясть свою судьбу.
Неся джигита, скачет конь горячий,
Неторопливый мул везет арбу.

У льва и муравья различны цели,
У всех у нас путь близок или далек.
Сил не щадя, стекают по ущелью
И бурная река и малый ручеек.

Перевел Н. ГРЕБНЕВ.



А. Авдеенко

Я люблю

РОМАН

Снимок 1933 года.

Рисунки В. Юдина.

Рекомендуя читателям «Юности» новую вещь Александра Авдеенко — вторую книгу его популярного романа «Я люблю», которая является совершенно самостоятельным, законченным произведением, я хочу привести три цитаты: одну из Добролюбова, другую из Плеханова и третью из Гейне.

Первая — из Добролюбова:

«Мерою достоинства писателя или отдельного произведения мы принимаем то, насколько служат они выражением естественных стремлений известного времени и народа».

Было знаменательно, что первая книга романа «Я люблю» молодого рабочего писателя родилась в горниле первых пятилеток.

Помню, какое большое впечатление произвел на меня этот взволнованный, горячий роман, и помню, как радовался ему его крестный отец М. Горький, который всегда считал, что о рабочем классе лучше всего напишет сам рабочий.

Вторая цитата — из Плеханова:

«Писатель является не только выразителем выдвинувшей его общественной среды, но и продуктом ее... он вносит с собой в литературу ее симпатии и антипатии, ее миросозерцание, привычки, мысли и даже язык».

В этом и заключалась причина громадного успеха романа «Я люблю» не только в нашей стране, но также и далеко за ее пределами: он был переведен почти на все европейские языки, выходил в США, Южной Америке, Китае, Японии...

Наконец, вот что говорит Гейне:

«Всякая книга должна иметь свой естественный рост, как дитя. Все наскоро, в течение недель написанные книги возбуждают во мне некоторое предубеждение относительно автора. Честная женщина не рождает своего ребенка до истечения девяти месяцев».

Вероятно, именно поэтому вторая книга романа написана уже в наши дни, то есть через тридцать лет после первой, хотя и начинается она с того же места, на каком кончилась первая книга «Я люблю». «Мне хочется обнять... весь мир!..» «...Молодое солнце встает над горою и обрушивает на меня и на землю жаркие потоки... Солнце Магнитки!.. Небо приблизилось, хоть рукой доставай».

Пожелаем же успеха новой книге Авдеенко, где, не меняя своей восторженной, приподнятой манеры тридцатых годов, автор рассматривает минувшие события первых пятилеток с новой исторической вышки, на которую его подняло время.

Валентин КАТАЕВ

КНИГА ВТОРАЯ

Часть I

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Молодое солнце встает над горою и обрушивает на меня и на землю жаркие потоки, тянет все живое за уши.

Солнце Магнитки!.. Двадцать пять мне, вымахал сколько положено, дальше вроде некуда тянуться, но я все еще расту. Бегу — и чувствую, как расту.

Журнальный вариант.

Небо приблизилось, хоть рукой доставай. С каждой минутой, с каждым шагом наливаюсь силой.

Ну и утро! Ну и денек! Не было, наверное, такого со времен сотворения мира! Хорошо мне сейчас, но еще лучше будет в полдень, вечером, завтра, через год. Ни от кого и ни от чего не зависит моя радость. Ее источник в моих руках, в моей душе.

Пыль на дороге уже теплая. Она сочится сквозь жиденькую парусину моих потрепанных, на резиновой подошве скороходов, греет и щекочет ноги. Пороша Магнитки! Сизая поземка строительной бури. Крохи, оброненные землекопами, грабарями, экскаваторщиками с праздничного стола пятилетки.

Под гору, все под гору спускается моя рабочая тропа. От соцгорода до горячих путей Магнитки.

«Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир!» — воскликнул когда-то Архимед. Мы ни у кого не выпрашиваем эту точку, сами создаем ее. Главные свои сбережения вложили в Магнитку. Корабль за кораблем посылаем в чужие страны. Продаем пшеницу, сало, масло, меха, лес, лен. Покупаем домны, мартены, прокатные станы, рудообогатительные фабрики, воздухоудувки. Бриллианты, царские собольи мантии, жемчуга, платину, золото, полотна Рубенса и Рембрандта, говорят, обмениваем на машины. Ничего! Настанет час, Рембрандт и Рубенс вернутся к победителям, а золото мы навсегда унизим за то зло, какое оно причиняло людям: построим из него общественные уборы.

Разрослась чуть ли не на сто квадратных километров наша мировая точка опоры — Магнитка. Домны — первая, вторая, третья, подпирают своими башнями уральское небо. Воздух над ними перекипает зноем. Нежно курятся контрольные свечи. Стоят колонны заводских дымов: жемчужные, шоколадные, белоснежные, грифельные. Радуга Магнитки! По железобетонному хребту эстакады грохочет вертушка, поезд, составленный из заморских самопрокидывающихся хопперкаров. Вертится днем и ночью, в туман и в бурю: с рудой — в доменный, порожняком — на Магнит-гору. Многогрудная электростанция развернулась в мою сторону сотнями озаренных окон. Экскаватор «Марион» высоко взметнул свою стрелу, распорол небо. Оскатились, засияли зубья ковша. Ревут, поют, стучат, скрежещут гильотинные ножи, чудо-резак, автоматические зубила, сверла, прессы, клепальные молотки.

Перепрыгиваю ров. Перескакиваю через кучу камней. Догоняю людской поток. Спецовки, пропахшие землей, маслом, железной окалиной, стружкой. Сбитые, пропыленные ботинки. Вербочные чуни. Черные резиновые калоши. Заскорузлые сапоги. Хорошо печатать шаг в рабочем строю.левой, левой!.. Шагаем здесь, в Магнитке, а слышно в Африке и Азии, в Америке и Австралии. Сотрясается шар земной.

левой, Донбасс!левой, Кузбасс!левой, Урал-маш, Хибингорск, Березники, Соликамск, Комсомольск-на-Амуре, Ростсельмаш!левой, тракторные и автомобильные!левой, Запорожсталь!

левой, левой, левой, пятилетка!..

левой, левой, десятиллионная армия горновых, слесарей, забойщиков, монтажников, сталеваров, вальцовщиков!левой, первое поколение хозяев жизни!

Эй, вы, уолл-стритовские толстосумы, керзоновские облезлые львы, новоиспеченные канцлеры, бывшие ефрейторы, пилсудчина всякая, трепещите!

Рабочие люди! Красные люди! Гигантскую лестницу я преодолел вместе с вами, прежде чем попасть сюда, на «пуп рабочей земли», на горные хребты пятилетки, на подступы к бесклассовому обществу. Еще в прошлом веке Ленин предсказывал: «Человек будущего в России — рабочий». Я и есть тот самый человек.

Вот и мое рабочее место. Все железные дороги Магнитки, сотни километров, называются просто подъездными, а наш участок около домен — горячие пути. Тут порядка больше, чем везде. И народ ладный, с гордой осанкой кадровых рабочих. Не то что братья-сезонники. Платят нам полновесной монетой. Кормят по особым, горячим карточкам: добрая порция хорошо пропеченной чернушки, наваристый борщ, кусок солонины, каша перловая, а

то и гречневая, компот. Редко выпадает постный день. Холодным металлургам и солонину дают с оглядкой, а нас, горячих, не обделяют. Землекопы вовсе не видят молока, а нам оно перепадает. И отпуск у нас не две и не три недели, как у других, а месячный. И на бесплатную путевку в санаторий имеем больше прав. Наш премиальный фонд никогда не оскудевает.

По дороге на свою Двадцатку забегаю в доменный, к Ленке. Еще четверть часа до первого утреннего гудка. Пятнадцать минут, девятьсот секунд — и все будут полны улыбок Лены, сияния ее глаз.

Вбегаю под железобетонную палубу высоченной эстакады, где прохладно и сумеречно. Отсюда хорошо видно стеклянную, залитую светом кабину машиниста. Стою и любуюсь, как работает Ленка. Прикасается она к рычагу, и громадина скип возникает из бункерной пропасти, с тяжелым гулом проносится по наклонному мосту, добирается до верхней своей точки, опрокидывается, сыпает руду в загрузочный конус и пускается в обратный путь. Пустой падает в яму, с грузом летит на-гора.

Ленка сидит в своем железном кресле величественно, как на троне. Королева. Кажется, переборщил. Ну их, королев, подальше! Королева хороша только на шахматной доске. Работница! Своими руками новую жизнь строит.

Экстренное торможение! Стоп!

Невдалеке от меня, за колонной, что подпирает литейный двор, притаился неизвестный мне наблюдатель. Стоит и нахально смотрит на мою Ленку. Высокий, бравый, в синем заморском комбинезоне. Американец? Немчур? Новый прораб? Инженер из управления? Командированный москвич? Кто бы ты ни был, а мне определенно не нравишься. Чистюля! Наверно, целый вечер мазюкал, сдобривал зубным порошком свою обувку.

По всему видно, недавно появился в Магнитке. Не прокален степным солнцем. Не выдублен бурными ветрами. Могу предсказать его судьбу: скоро вспорхнет, улетит. Немало таких перебивало у нас. Не приживается на нашей земле чертополох и перекати-поле.

Есть у него еще одна примета. На переносице глубокая, хоть карандашом закладывай, впадина. А что если я трахну его по этой отметине?

Опускаю голову, разжимаю кулаки, бормочу:

— Красное, белое, синее, желтое!..

Может, этот красавчик таращит свои глаза на Ленку просто так. Может, он не летун, а полноценный ударник, ничуть не хуже меня. Нельзя судить о человеке по ярлыку, тобой же наклеенному.

«Я не знаю, кто ты, пока не увижу, как работаешь», — говорил Антоныч каждому коммунару. Не верил ни хвастливым речам, ни слезам. «Труд», — говорил он, — выводит человека на чистую воду».

Поумнел я. Вот так всегда бывает, когда на помощь призываю Антоныча. Не оставляет он меня и теперь, удаленный за тысячи километров от Магнитки.

Сорвался я с того места, где стоял как вкопанный, и помчался к Ленке. Она торопливо поправила волосы, вытерла лицо платком, облизала губы. Зря прихорашивается. В любом виде, причесанная и лохматая, бывает ладной и пригожей. Морозное солнце и вьюжный ветер давным-давно, еще когда Ленка бегала со мной на лыжах, разделили ее лицо в цвет зари да так и оставили.

— Здравствуй, Саня. Почему взъерошенный?

Вот и верь после этого вековой мудрости: «В душу человека не заглянешь». Все видит, все чувствует моя Ленка.

Надо тревогу вывернуть наизнанку, посмеяться над собой.

— Здорово, чертяка напугал меня, — говорю я.

— Какой чертяка?

Я кивнул в ту сторону, где только что стоял нахальный наблюдатель.

— Сбежал. Трусливый ухажер!

Лицо Ленки вспыхнуло, покрылось каленой смуглостью и стало еще ярче.

— Брось разыгрывать, Саня!

С головой выдала себя, а на словах сопротивляется. Не смеет сознаться, что позволила любоваться собой чужому дяде. Эх!.. Мало ей моей любви, еще кого-то желает покорить.

Хочется мне сказать что-нибудь такое-раззаткое...

Красное, черное, белое, синее, желтое!..

Осадил на дно свинцовую муть, прокашлялся, говорю:

— Хлюст какой-то пилился на тебя целый час.

— Целый час?.. Ай-я-яй! Да как же ты вытерпел?

И рассмеялась. На литейном дворе, наверное, было слышно, как она хохотала. А я мрачно молчу. Кто же он? Откуда взялся? А не тот ли это молодец, которого она когда-то любила?.. Пропал и явился.

Вон куда меня занесло! Столько времени не придавал этой допотопной истории значения, а сейчас...

Стрелка часов подбирается к восьми ноль-ноль. Ленка вытирает фланелевым лоскутом стекла прибор и ехидничает:

— Чего, дурень, боишься? Мало тебя любят, да?

— Я боюсь? Что ты! Не родился еще такой, кто запугает!

Это уже совсем лишнее. Перед кем вздумал хорохориться? Поднимай, притворщик, руки, сдавайся!

Прогудел гудок.

Пришла сменница. Ленка собрала свои пожитки, и мы выходим из кабины. Утро в разгаре. Воздух прозрачный, как родниковая струя: пей взахлеб, прохладжайся, всматривайся в летние дали хоть до края земли.

Шагаем с Ленкой по солнечной долине доменного, по горячим путям, со шпалы на шпалу. Мою Двдцатку разыскиваем, разговариваем.

— Знаю я, Саня, как смотрят на меня эти... настырные. Ну и пусть. Ты всех и каждого застишь.

Ленка кажется мне теперь во сто раз лучше, чем минуту назад. От доброго чувства, от умного слова хорошеют и красавицы.

— Вечером увидимся? — Ответа она не ждет, уверена, что увидимся. — Ты ко мне прибежишь или я к тебе?

— Как хочешь.

— Ты! У нас сегодня перелом смены. В два опять выйду на работу. Буду ждать. Не задерживайся.

И она рассмеялась без всякой причины. Весело ей со мной. А мне с ней. Теперь только хорошо понимаю, какая сила скрывается в стихах Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Вся моя жизнь с тобой, Лена, будет «чудным мгновением». Всегда ты будешь являться, «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты».

Мимо нас пробежал паровоз Шестерка. Из окна высунулся чернявый машинист.

— Посмотри! — Я толкнул Лену. — Это он! Тот самый... наблюдатель.

Она внимательно смотрит вслед паровозу. Брови ее ломаются.

— Не веришь ни себе, ни мне? Эх, коханный ты мой!

Ленка хотела высмеять меня, а вместо этого приласкала.

Коханный! Любимый!

И я прямо тут, на горячих путях, на виду у всех, оставляю на губах Ленки печать коханого.

Не кончается наша с Ленкой короткая дорога: не можем найти Двдцатку. То ли она скрывается от нас, то ли мы от нее убегаем. Удивится напарник, проработавший весь вечер и всю ночь, что не сменил я его вовремя.

Прибавляю шаг.

Под шлаковыми желобами надо поискать Двдцатку. Идем через литейный двор. Пользуюсь всяким случаем, чтобы хоть краем глаза взглянуть на работу доменщиков. Свет чугуновой плавки запал мне в душу с малых лет, с тех пор, как бегал к отцу на завод с краюхой хлеба и кастрюлькой борща, укутанной в старый пуховый платок.

Нет моего паровоза и под шлаковыми желобами.

Несемся, прыгаем по лестнице, минуя сразу две ступеньки, и сталкиваемся с Костей Шариковым. Серьезный он и тощий, длинношей. Расклепан в длину за счет ширины. На такого девчата не заглядываются.

— Так вот, оказывается, чем ты занимаешься, Богатырева!.. Свиданничаешь!

Мы с Леной еле-еле сдерживаемся, чтобы не расхохотаться.

— А стенная газета? — вопрошает Шариков. — А дела ячейки? А ликвидация неграмотности среди союзной и беспартийной молодежи? А членские взносы? А трудовой заем?

Ленка еще теснее жмется ко мне, улыбается.

— С ночной иду. Отдохну часок-другой, а потом и за дела ячейки возьмусь. Бывай здоров, Костя! Рада была тебя видеть.

Попробуй разгневайся на такую!

Потянула меня за руку, прошумела мимо Шарикова.

Эх, Костя! Стоять бы тебе на обочине дороги вот таким манером, в виде столба. Ни на что другое не способен человек, не сочувствующий любви.

За будкой стрелочника мы расстаемся с Ленкой. Она спешит домой, а я стою на щбенке железнодорожного полотна и провожаю ее взглядом. Сердце мое рвется вслед за ней. Тонюсенькая, с лебединой шейкой дивчина, а такая сильная, магнитная!

Ленка избегает по крутому откосу на бугор, оборачивается, машет мне и пропадает в лошине, как за краем земли. Настоящее мимолетное видение. Вдохнул я и побрел назад. Иду, оглядываясь по сторонам, ищу Двдцатку. Куда запропастилась?

На деревянных ступеньках будки сидит смуглая, как цыганка, с дутыми сережками, в ушах, стрелочница. Она почему-то строго смотрит на меня своими большущими глазами.

— Ты что такая гневливая, Ася? Недоспала?

— Угадал! Тебя во сне видела. Хочешь, расскажу? Ну, чего раскраснелся? Бабух снов застылся?

— Ася, ты мою машину не видела?

Она метнула на меня злобный взгляд, отвернулась.

— Ищи ветра в поле. Погнали твою любовь на сортировочную, оттуда вытурят на Магнит-гору. Догоняй!

Свежий ветер, первый ветер тихого, пригожего июньского утра, ворвался в железнодорожную вы-



емку, подхватил графитную пыль домен, отвернул угол газеты, приклеенной к будке. Вчерашняя, «Труд». Доставлена из Москвы самолетом. На первой странице огромные, жирные буквы: «Чистка партии — выражение большевистской самокритики».

Чуть пониже и помельче еще один заголовок: «Мобилизуем широкие массы трудящихся на активное участие в чистке».

Пробежал глазами, с пятого на десятое, речь секретаря ЦК ВКП(б) на активе московской организации. Дома прочту внимательно. Здорово это — очередная чистка! Богатыри телом и душой — потому и очищаем партийные ряды от всякой шушеры, соскабливаем с себя ржавчину, лишайник, ракушку и накипь. Перед всем честным народом испытываем друг друга на прочность. Чистка партии — это праздник коммунистов и двенадцатый час примазавшихся. Трепещите, двурушники, карьеристы, бюрократы!

Тут же в углу напечатано: «...Центральный Комитет ВКП(б) особо приветствует ударников и ударниц Тракторостроя, вынесших на своих плечах наиболее трудные работы по строительству завода... Челябинский тракторный завод призван служить основной силой технического переворота в земледелии». Великие слова! Ну и день! Лапотная Россия, страна лучины и сохи, бездорожья, ребрастых сивкобурок, начинает выпускать гусеничный, многосильный, равный лошадиному табуна, трактор. Не штуками, не дюжинами, не сотнями, а десятками тысяч в год. Весенний грозовой гул покатится по нашей земле. Тракторы челябинские, а металл магнитогорский. Здорово!

— Читала? — спрашиваю я Асю.

— Хочешь мобилизовать на активное участие? — смеется она и шуршит твердыми, каленого ситца юбками.

— Мобилизуем, дай срок! — говорю я дружелюбно, но без улыбки. — Будь здорова, Ася.

— Постой, Шурочка, я хочу спросить... Ты партейный?

— Да, коммунист.

— И тебя поставят перед комиссией?

— Все должны пройти чистку.

— Зачем же тебя мыть и драить, когда ты и так чистый, как облупленное яичко?

Вот, поговорили. Я с ней серьезно, а она, балабошка...

— Скатертью дорога, кудрявый! Спасибо, проведаль сиротинку, обрадовал.

И голосисто, будто на деревенской вечерней улице, пропела:

Днем и ночью я страдаю
По тебе, зазнобушка!
К сердцу думой прижимаю
Я свое воробушка.

Провалиться бы мне, оглохнуть!.. Слава богу, вроде никого нет вокруг. Кулаками размахивал, допытывался, кто посмел заглядываться на мою любимую, — и на тебе, сам в ухащеры попал!

ГЛАВА ВТОРАЯ

С минуты на минуту заревет внизу вечерний гул, а я все еще торчу на Магнит-горе. Крушение задержало. На крутом и виражном подъеме, на «мертвой петле», свалился под откос поезд-вертушка. Аварийщики расчищают пути.

Темнота со всех сторон, от гор и степей, обступает Магнитку. Темнота и ветры. Рыжая метель

бушует над забоями. Пламя в топке, отзываясь на приближающуюся бурю, гудит и ржет. Обезлюдил забой. Заглохли «марионы» и «деррики». На подъездных путях застыли хопперкары.

Снизу тревожно названивают к нам наверх: где руда? Домны переключены на тихий ход. Голодают. Если в ближайшие часы не доставим руду, то печи придется выхолостить, выдуть шихту, иначе они закозлятся чугуном-недоноском.

А буря все ближе, сильнее. Со всех концов земли, со всех океанов и морей несутся ветры: вихревые, штормовые, ураганные. Рвутся провода. Падают телеграфные столбы. Стелются заборы. Взмывают крыши. Тарахтят пустые бочки. Все сыпучее превратилось в летучее: песок, мел, известь, рудная и угольная пыль.

А каково в такую бурю ремонтникам?

Мимо Двадцатки с железной крышей в зубах, с ревом и гулом промчался косматый ветрище.

Мой помощник Тарас, парень совсем не богомольный, неистово крестится. В такую погоду в самый раз вспомнить о боге.

И полчаса не прошло с тех пор, как загрохотал первый гром, а уже настоящий шаш бьедьм разыгрался. Бури в степных местах начинаются внезапно, ни с того, ни с сего.

Полил дождь. Хлещет вкривь и вкось. На Двадцатку взбирается наш составитель Вася Непоцелуев. Ребром ладони сгребает с лица воду, стряхивает на пол.

— Гордись, Сашко! Начальник станции доверил тебе великое дело. Поехали!

Вот так он всегда разговаривает со мной. Большого мнения о своем напарнике. Я должен понимать его с полуслова.

— Куда поехали?

— Вертушку потащим. Домны пропадают с голдухи. Дорогу расчистили, опробовали дрезиной.

Славный он, Василек! Сам, конечно, напросился. Не знает, как я рвусь вниз, к Ленке, а угодил.

Вася поторавливает меня.

— Живее, Сашко, а то девочки в белых фартуках повесят на дверь столовой черный замок, и мы с тобой останемся с пустым брюхом.

Стоп, Василек! Чересчур храбро. Я, брат, вприглядку, расчетливо, с опаской буду вкалывать.

— Рисковать жизнью ради ужина? — злится богомольный Тарас. — Да пропади он пропадом! Не выпендривайся, Васька!

А это тоже чересчур. Не устраивает. Рискнем! И ради ужина, и ради домны, и ради Лены.

Даю протяжный сигнал, сдвигаю рычаг и на самом малом пару иду к устью станции. Рядом с выходными стрелками, на запасном пути, под защитой крутого откоса в затылок друг дружке притулились близнецы моей Двадцатки: Тройка, Пятерка, Шестерка, Десятка, Единица, Семерка. Все под парами.

— А почему эти стоят, Вася?

— Такая у лоботрясов доля. Не понял? Могу и совсем разжевать и в рот покласть. Один гавкнул «а», другой сейчас же промычал «б».

— Ну и разжевал! Кто сказал «а»?

— Новенький баламутчик. Атаманычев Алешка. Не желает соваться в пекло поперек батька.

Одно за другим раздвигаются окна лоботрясных паровозов. Машинисты Кваша, Белобородов, Воронцов, Штанько, Синеглазов смотрят на меня настороженно. А я им улыбаюсь.

Где же Атаманычев, новый водитель Шестерки? Стыдно на глаза мне показаться?

В узкое пространство между моей Двадцаткой

и остальными паровозами вихрь пробивается только краем крыла, не мешая видеть и слышать. И дождь здесь терпимее.

— Добрый вечер, ребята! — во весь голос кричу я и срываю с головы кепку.

Обезоружился, не собираюсь своих товарищей шапками забрасывать, но они хмуρο поносят меня молчанием.

— Здорово, молчуны! — говорю я.

Теперь не раскроет рот только чучело.

— Здорово, если не шутишь, — откликается Кваша, один из самых работающих и неговорливых машинистов на горячих путях.

— Да разве с вами, такими серьезными и строгими, можно шутить? — говорю я.

— Можно, но куда тебе... Шутило притупилось!

Голос у Кваши густой и вязкий, а лицо до самых глаз заросло щетиной. Он дважды в месяц, после полочки и после аванса, на похмелье цепляется, как репей, ко всем и каждому. Если бы вчера не получил аванс, не бузотерил бы теперь.

Вася Непоцелуев толкает меня, подначивает:

— Чего ж ты молчишь? Дай горлопану сдачу!

Отодвигаю его в сторонку и продолжаю мирную беседу:

— Пошли вниз, ребята!

— Не привыкли мы по низинам ползать, — откликается Кваша. — Горную высоту любим.

Прорвало и его единомышленников:

— Куда ты лезешь, Голота?

— Жизнь надоела? Выслужиться надо?

— И выслужиться хочет, и ударный рублишко раздобыть, и перья нам вставить в одно место.

— Дохлому и ударные припарки не помогут.

Злится на меня братва поневоле. Сами себя в тупик загнали. Новичок Атаманычев не потащил в бурю вертушку потому, что не знает дороги. Кваша — человек бывалый, не из робкого десятка, но поддержал молодого машиниста. Воронов, Штанько и Семиглазов тоже склонили головы перед неписанным законом круговой поруки.

— Куда, спрашиваете, лезем?.. — говорю я без всякого раздражения, даже весело. — По украинскому борщу с солониной соскучились. Спешим. Столовую, боимся, закроют.

— А костью, той, что в борще, не подавитесь? — усмехается Кваша.

— Герою море по колено!

И все машинисты хохочут.

Горько на душе, всерьез хочется поговорить с моими товарищами. Не геройствую я, хлопцы. Боюсь бури, боюсь крутого спуска. А что делать? Труса праздновать?

Я в одну сторону тяну, они в другую.

— Такая буря! Пожалей себя, самоубивец, если машины не жалеешь!

— Хватит вам попусту языки трепать! — потребовал Кваша. — Не слышит вас Голота. Партийный он. В членах состоит. Ясно теперь, почему огонь горячий? Чистки боится, вот и лезет поперек батька в пекло.

Обидно. Над чем зубоскалит? Да, боюсь! И не стыжусь. Партийные и беспартийные скоро всенародно взвешают мою работу на самых строгих своих весах. Затопают ногами, зашикают на меня люди, если окажусь легковесным. Да, я хочу быть чистым, отважным, достойным ленинцем. Оттого и лезу в ураганное пекло. Боюсь, а лезу. Что ж тут плохого?

Толкаю рычаг, и Двадцатка, отдуваясь паром, проходит мимо говорливых, насмешливых и остороженьких.

Снова завывли ветры. Целая тысяча воздуходувок ревет.

Машинист Шестерки так и не показался в окне.

Составитель Вася Непоцелуев покуривает и ехидно поглядывает на меня.

— Знаешь, Сашко, кто ты? Из-за угла мешком прибитый. Лунатик!

А это чем плохо? Лунатик!.. Откуда ты, Голота? Не от мира сего. От лунного света, от соловьиных песен, от чудо-города Магнитки!..

Стрелочник выскочил из будки, перекинул тяжелую гирию балансира, дунул в рожок, разрешил нам двигаться назад, к вертушке. Ветер с дождем кидался на него, пригibal к земле. И нам достанется, когда начнем спускаться!

Вклиниваемся паровозным замком в вагонный. Маневр окончен.

Вася побежал за жезлом. За две минуты смотался на станцию, туда и обратно. Сует мне в руки жезл. Поехали!

Осторожно трогаю. Паровоз уверенно взламывает железной грудью темноту, бойко пересчитывает рельсовые стыки, гудит, свистит, трезвонит в колокол. А машинист облизывает сухие губы. Страшновато!

Еще раз прохожу мимо тупичка, где загорают ребята. Они торчат в ярко освещенных окнах. Все лица хмурые, злые. На тот свет меня провожают товарищи.

Сближаюсь с Шестеркой. Теперь и новичок не прячется. Тоже в окно высунулся. Тот самый, утренний наблюдатель с зарубкой на переносице.

Пересиливая бурю, кричит:

— Счастливой дороги!

Насмехается? Каркает? Пусть!

— Давай следом! — отвечаю я.

Он еще что-то выкрикивает, но я ничего не разбираю.

Выхожу на семафор, на простор. Смерчи, ввинченные один в один, как матрешки, пересекают пути, шагают через высоковольтную линию. Воздух насыщен песком, толченым стеклом.

Вася Непоцелуев качает головой, печалится:

— Нам сейчас хорошо, а хлебам еще лучше! Полегли, заплелись. Беда! Эх, Андрей, не приведи бог тебе такую погоду! Председатель колхоза мой братан, — поясняет он.

Чудак! Нашел время деревню вспоминать.

Колеса скрежещут на крутых зигзагах. Рельсы стонут. Молнии выстилают на дороге свои полотнища. Светло, хоть иголки собирай.

Океанским тайфунам, как я слышал, загодя дают женские имена. Этому, что теперь бушует в Магнитке, я присваиваю имя Лены. Может, смилостивится «Елена» над нами, пропустит вниз.

В топке огонь чистого, белого накала. Поршень воздушного насоса полновесно отсчитывает удары. Инжекторы захлеб поглощают холодную воду. Пара в котле по самую завязку — десять боевых атмосфер. Порядок! Все теперь зависит только от меня. Если не дрогну, не промахнусь, то буду внизу через пятнадцать минут.

Петляем с горизонта на горизонт. Иду без пара, с закрытым регулятором, но скорость нарастает. Опасно дать волю колесам на большом уклоне: могут так завертеться, что не утихомиришь ни экстренным торможением, ни контрпаром. Осторожно, малыми порциями выпускаю в тормозную магистраль сжатый воздух. Огненные ошметки сыплются из-под тормозных колодок. Двадцать пар колес, сорок фейерверков катятся по склонам горы Магнитной.

Вырываемся на аварийную «мертвую петлю». Мелькают перевернутые вагоны, покореженное железо.

Мурашки бегут по моей спине.

Тарас открывает шуровку и забывает, что ему надо делать. Стоял и смотрел в дверной прозор на ураганную ночь. Бельмастые бессмысленные глаза вытаращены. Заворожен парень крушением.

Толкаю его в бок.

— Подбрось уголька!

Он тупо тычет лопату в лоток тендера и никак не может набрать угля.

— Эх, ты!..

Вася отстраняет от топки Тараса, сам начинает шуровать. Да так ладно, будто давным-давно кочегарит. Смекалистый парень. В один прием он нагребает полную лопату угля, ловко поворачивается и, не уронив ни крошки, швыряет в топку, туда, где белеет прогар, где тоньше жаровая подушка. И воду качает равномерно, малыми порциями, чтобы не понижалось в котле давление.

Тарас потерянно топчется у двери, малахольно вертит головой, будто слепня отгоняет. По чумазым щекам скатываются крупные слезы.

Постоял, повертелся и молча шарахнулся вниз. Ни я, ни Вася не успели удержать беглеца.

Вася плюнул вслед Тарасу:

— Туда тебе и дорога, боягуз несчастный!

Я промолчал. Если бы ты знал, Вася, как я сам боялся, ты бы и меня презирал. Теперь мое сердце бьется ровнее. Все страхи позади. Через несколько минут наверняка обниму Ленку. Глаза, небось, проглядела. Цел и невредим твой Санька. Ураган «Елена» все-таки смиростивился.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стопорю на бетонной эстакаде. И сейчас же на паровоз взбирается пропахший табачищем человек. Гремит кожаным заморским регланом, лезет обниматься, всякие громкие поздравительные слова выкрикивает.

Ждал Ленку, а явился Губарь, начальник Магнитостроя, директор завода, мой донецкий земляк.

— Здравствуй, Яков Семенович!

— Здорово, земляк! — Он трясет мою руку так, будто хочет выдернуть. — Здорово, герой!

Газеты всего мира трубят о Магнитке и Губаре. Заморская «Таймс», рассказывал мне всезнающий Ваня Гуцин, называет Губаря самым дорогим человеком в мире: он будто бы расходуется в месяц несколько миллионов долларов и ни единого цента барыша не имеет. Пусть болтают. Какой спрос с торгашей!

Губарь — это наша живая легенда. Неразделимы он и самые первые, самые трудные шаги Магнитки. Губарь — это время артельных грабарей, прибывших к берегам дикого Урала на собственных лошаденках, на собственной телеге, со своими лопатами, казанками, кухарками, собаками, домашним скарбом и с отчаянной мудростью, выработанной поколениями обездоленных трудяг: дать поменьше, взять побольше. Померкла вековая мудрость полумужика, полупролетария, отходника-сезонника на советской большевистской стройке. Заскорузлые бородачи отдавали Магнитке все, на что оказались способны, хотя сами получали не ахти как много.

Губарь — это пыльное время котлованов, тяжелой глины, бездорожья, артельных костров, палаток.

Губарь — это время первых лампочек Ильича в дремучей степи, первых бетонных замесов, первых фундаментов, бессонно-авралных, овьюженных, вымороженных ночей и дней на строительстве заводской плотины, первых заводских труб и заводских корпусов. Губарь — это первый рабочий огонь, первый не вхолостую грохочущий агрегат, первый действующий цех, первые тонны выплавленного чугуна.

— Низко кланяются тебе доменщики, чертяка! — шумит Губарь и хватает меня за грудки. — Достоен ордена. Домны спас, герой!

Вон куда хватил мой знаменитый земляк! Орденами награждают тех, кто границу защищает, самолеты испытывает, кто на автомобиле через Каракумскую пустыню пробивается.

— Да, орден! — гремит и щедрится Губарь. — Трудовое Красное Знамя! Представим! А пока получишь денежную премию. Тыщу целковых. В придачу велосипед подкину. Раскатывай! Благодарю, Голота! От всего, як кажуть у нас в Донбассе, широго сердца.

Чудеса! Все-таки выскочил в герои. Не зарился на даровщину, а отхватил удачу. Черт с ней, удачей. Пусть ловят ее за хвост лоботрясы и хапуги. Не думал я об этом. Просто работал. И к Ленке спешил.

— Яков Семенович, ничего мне не надо.

Не дает Губарь договорить. Смеется. Дубасит меня в грудь маленьким крепким кулаком. В самое сердце стучится.

— Не отбояривайся, герой. С горы виднее, что ты сделал. Все! Пусть теперь Гуцин трезвонит во все колокола. Ждет он тебя.

Из своего темного закутка на неяркий электрический свет выступает Непоцелуев. На чумазом лице составителя дурацкая, во весь рот ухмылка.

— Товарищ директор, разрешите узнать, на двоих ваша премия или на одного?

Губарь с удивлением смотрит на довольно-таки бесцеремонного парня.

— А вы... кто? Помощник?

— Голота, растолкуй, как я стал твоей правой рукой.

Куда денешься от такого? Пришлось рассказать.

— Я ж говорил!.. — Губарь еще раз стукнул меня в грудь кулаком. И Непоцелуеву перепало его ласки. — Оба герои! Оба награждаются! В завтрашнем номере нашей газеты будет опубликован мой приказ. А теперь — айда в редакцию, к Гуцину! Ждет он вас. Поторопитесь.

Ваське, барбосу, мало того, что премии добился. Поговорить, позубоскальничать, отвести душу хочет. Да с кем еще!

— Товарищ начальник! В самый раз, минута в минуту, вы казной трякнули. Спасибо! Теперь мы вашим рублем свой дырявый карман заткнем.

— Ладно, хватит тебе! — останавливаю я болтуна.

Сдали смену. Под первым крапом, подвернувшись под руку, умылись, привели себя в порядок.

— Умираю от голода! — стонет Васька. — Ну ее, эту редакцию, к бесу! Побежим в едальню!

— Неудобно. Ждут нас.

— Ну, раз неудобно, один шагай! Без меня обойдешься. Все, как полагается, обскажешь. Пока!

— Постояй, Вася!.. Зря ты о премии брякнул. Коммунисты мы с тобой, не ради длинного рубля старались.

— Ну, знаешь!.. Я начальство уважаю. Верю ему больше, чем себе. С его высокой горы виднее, герой ты или не герой. А ты стесняешься.

Не зря я тебя давеча лунатиком обозвал. Значит, не идешь со мной? Сыт идеями?

Я засмеялся и сказал:

— Беру болтуна на паровоз, в постоянные помощники. Пойдешь?

Вася напустил на свое бесшабашно-веселое, прямо-таки дурашливое лицо глубокомысленное выражение.

— Гм!.. Да!.. Вот оно как! В любви признаешься? Сватаешь? Что ж, кавалер ты подходящий. Могу и соблазниться, если ты от ласк и премии начальства не будешь отказываться. Завтра на зорьке дам окончательное согласие или бесповоротный отказ. Сейчас некогда, бегу в едальню. Пока!

И он потопал по железным ступенькам, густо присыпанным доменной пылью, тяжелой, мутновато-рыжей, как шоколадный порошок.

А я стою внизу, у подножия лестницы, ведущей к домам, к душевым, в красный уголок, в столовую, и раздумываю, что мне делать, куда податься. Хочется броситься вслед за Васькой: и меня тошнит от голода. Но боюсь, что Ленку прозеваю. Пока буду прохладиться в столовой, она сдаст смену и пойдет домой.

Бегу в стеклянный домик.

Сменщик Ленки, заросший, угрюмый мужик, на мой вопрос, где Богатырева, буркнул:

— Посторонним вход воспрещен! Уматывай!

Где же моя милая?

Нет ее ни в комсомольской ячейке, ни в конторе. Оказывается, в цеховой библиотеке спряталась. Разложила на столе плотный лист с красным заголовком «Доменщик» и колдует: наклеивает заметки, карикатуры. Опять одна, без редколлегии. Вечная история: кто добросовестно тянет, на того еще больше наваливают. Ответственный редактор стенгазеты! Секретарь ячейки! С пионерами нянчится! Неграмотность бородачей-землекопов ликвидирует. И везде ей рады. А Шариков недоволен, все ему мало.

— Ну, как там, Саня, на Магнит-горе? — спрашивает Ленка и продолжает кроить и клеить. Беру ее в охапку, отрываю от стола.

— А разве ты не знаешь?

Она улыбается, но не так, как всегда. Не греет и не радует. Смотрит на меня, а плохо видит. Отпускаю ее, и она сразу же берется за ножницы. Режет, клеит, малюет и со мной походя, между делом, разговаривает. Вот как заработалась! Ураган «Елена» был добрее.

— Весь день думал о тебе, Ленка! Боялся, как бы с тобой чего не случилось.

— А что со мной может случиться? — Откромсала полоску желтой бумаги, намазала изнанку, прилепила к листу ватмана. — В огне не сгорю. В воде не потону. Ну, а как ты?

Спросила и забыла. Шелестит полосками бумаги, сует их туда и сюда.

Я перехватил ее руки, заляпанные гуммиарабиком, поцеловал. Потом до губ добрался.

Ленка выскользнула из объятий, толкнула меня к двери.

— Проваливай, Санька, не мешай! Кровь из носа, а газета должна выйти до первого гудка.

Ну, раз кровь из носа, действительно надо проваливать. Побегу пока в столовую, а там видно будет, что дальше делать. Сытый дальше видит, чем голодный.

Спешил, запыхался, пересчитал ступеньки, но все равно опоздал. Дверь в столовую наглухо запечатана изнутри. Всё. Привет голодающим! До утра не удастся разговеться.

А может, у Вани Гущина заморю червяка? Он запасливый и на табак и на еду. Пойду! Давно пора!

Выездная редакция в двадцати шагах от библиотеки. Но я опять умудрился удлинить дорогу. Взобрался на эстакаду. Хотел узнать, спустились ребята или отсиживаются на горе, пережидая бурю. Эх, друзья!.. Про нас с вами песни поют: «Наш паровоз, вперед лети! В коммуне остановка!..» — а вы!.. Осмелите, разорвите цепи круговой поруки, мчитесь сюда!

Примчались!..

На рудной эстакаде остановился хопперкарный поезд. В голове маячила ярко освещенными окнами Шестерка! Заметив меня, машинист спрыгнул на землю. Быстро подошел. Морда смущенная, но на словах парень бравый, прямо-таки бедовый.

— Здорово ты рванул! Пока мы собирались, и след твой простыл. Молодчина! Крепенько щелкнул по носу боягузов. Раки любят, чтобы их живыми варили.

Вроде беспощадно раскаивается. Но я не спешу ему верить. Неискренность чувствую. Чересчур меня превозносит. Задабривает. А что на уме у него? Чего ради он исподтишка таращил глаза на мою Ленку? Ладно, пусть притворяется, все равно меня не проведет.

— Больше всех я оскандалился, — легко, чуть ли не с удовольствием казнит себя машинист Шестерки Атаманычев. — Моя очередь подошла брать вертушку, а тут буран разыгрался. Я хотел вниз идти, а братва за хвост уцепилась: «Куда прешь, молоко-сос? Уважай старших и бывалых!..» Напугали!.. Пришлось уважить. Вот какое дело.

— Сочувствую! — говорю я. — Видно, ты пуганый, раз так быстро согласился с боягузами. И хвост твой, видно, очень чувствительный.

Не обиделся парень, не устыдился: даже не услышал и не почувствовал моей насмешки, хотя я ее вовсе не прятал. Стоит передо мною и вроде бы дружелюбно улыбается, вроде бы приветливо поглядывает на меня, ждет, что я еще скажу. Всё! Выговорился. Нечего больше сказать. Могу только из пустого в порожнее переливать. Спрашиваю:

— Слушай-ка, ты давно очки носишь?

— Какие очки? — Атаманычев провел ладонью по глазам. — Не нуждаюсь, слава богу! Нормально вижу.

— А я думал... Зарубка у тебя на переносице, как у очкариков.

И пустомелья не получилось. Налетел Ваня Гущин. На Атаманычева никакого внимания не обращает. Вцепился в меня.

— Куда ты пропал, старик? Пошли! Дорога каждая минута!

И он потащил меня с эстакады вниз, к домам, в выездную редакцию «Магнитогорский рабочий». Он ловко, будто верхолаз, спускается по крутым, скользким лестницам. Еле успеваю за ним. Ваня — известный у нас торопыга. Сразу в десять мест спешит и везде вовремя появляется. Куда бы ни попал, чувствует себя, как рыба в воде. Не оплошал и на горячих путях, и в доменном, куда его послали на ликвидацию прорыва: на страницах листовок, «молний» учит уму-разуму нерадивых транспортников, не обеспечивающих вывозку жидкого металла, тычет носом горновых в неполадки на литейном дворе, нахваливает отличившегося газовщика, предупредившего аварию, больно хлещет мягкотелого и добренького, за счет дисциплины и требовательности, сменного мастера. Без промаха бьет и ласкает. Всего семь дней назад начал он наводить порядок в

доменном, а его уже все знают, уважают, а некоторые и побаиваются.

Ваня втолкнул меня в красный уголок, где разместилась выездная редакция, запер дверь на ключ, кивнул на продавленный, с вытертой клеенкой диван.

— Садись, старик, и рассказывай!

Энергичное, с крупным твердым носом и толстыми мальчишескими губами, лицо Вани покрыто блестками графита, как у горнового, проработавшего у домны всю смену. Очень темные, очень жесткие и чуть кудрявые волосы тоже присыпаны черно-серебристой пылью. Красив, собака!

— Что рассказывать, Ваня? Как я рад тебя видеть?.. Как проголодался?.. Как курить хочу?

— Брось, старик, дурака валять! Некогда. Давай выкладывай по порядку, как совершил героический рейс, как победил ураган, как спас домны от закозления.

И не заикнулся, не покраснел Ваня Гуцин. Запросто выговорил слова, пригодные лишь для стихов, песен и торжественных речей. Каждый день чеканит их в своих статьях, очерках. Такая у него работа, такая высокая точка зрения. Видит жизнь Магнитки не из окна клопного барака, не из котлована, залитого дождевой водой, не из очереди за хлебом, а оттуда, из солнечного поднебесья, из прекрасного будущего. Завидую. И мне хочется вот так же свободно и высоко говорить о любимой Магнитке, но не всегда это у меня ладно получается. Думаю хорошо, еще лучше мечтаю, а высказаться, как Ваня, не умею.

— Давай, старик, начинай! Ну!

Я сказал вовсе не то, о чем думал:

— Ваня, есть у тебя что-нибудь пожевать? Оползал я в столовую.

Он отложил блокнот и самописку, достал из нижнего ящика стола краюху зачерствевшего хлеба и кусок литого, без единой дырочки, похожего на мыло сыра.

— Угрызешь?.. Ешь и рассказывай. Предупреждаю: статья о твоём подвиге идет в завтрашнем номере.

— Какой подвиг, Ваня? Не было ничего такого. Был обыкновенный рейс.

Он одобрительно закивал головой.

— Так, так... Хорошо говоришь. Похвально! Подвига, значит, не было? Может, грома, молнии и ливня не было?.. Слушай, старик, ты, это самое, не покушайся на добрую славу Голоты, не перебегай самому себе дорогу. Был подвиг! Слышишь? Достоин ты большого очерка «Как я победил ураган». Переварил?

— Никого я не побеждал, Ваня!

Он застегнул на моей косоворотке пуговицу, притянул к себе и легонько клюнул меня своим носом.

— Побеждал!.. Вкалывал честно, скромно и ненагло в герои выскочил. Вот так. Переварил? Страна должна знать своих героев!

Эх, друг, не слышал ты и не видел, как накостыляли этому самому «герою» шею его товарищи.

— Чего ухмыляешься, старик?

— Так... своим мыслям. Ей-богу, я не герой, Ваня!

— Недотепа! — Гуцин хлопнул меня по плечу. — Ладно, подойдем к твоему рейсу с другой стороны. Знал ты, спускаясь с горы, что ждут тебя доменники, что в твоих руках жизнь и смерть печей, построенных народом с такими трудностями, с такими жертвами?

— Некогда было так заноситься.

— Недотепа, я же говорю!.. Как грудному разжевывать, а он все никак проглотить не может. — Пораскинь мозгами, старик! Твой обыкновенный поступок полон самого великого политического смысла. Так и запишем.

Ваня ловко и быстро, в одну минуту заполнил страницу блокнота непонятными каракулями, будто стенографическими знаками.

— Прометей, между прочим, тоже был скромнягой. Но благодарное человечество внесло его имя в календарь величайших мучеников-героев под номером один.

— Брось!.. Еле-еле ноги я уволок от этого «побежденного» урагана. До сих пор башка громыкает и руки дрожат. Видишь?.. Думал, в пропасть катимся, думал, костей не соберем. Душа в пятаках была. А помощник так просто сбежал с паровоза.

— Что ж, правильно! Живой ты человек! Боялся, но не отступил. Дрожал телом, но не падал духом. Вот это и есть самый чистопробный героизм, старик!

— Заткнись, Ваня. Давай закурим. Табак есть?

Он бросил на стол красный резиновый кисет и пренебрежительно посмотрел на меня.

— Старик, кажется, я понял тебя. Ты настолько иссушил свое тело и душу святостью, что сквозь ребра просвечивает солнце. Не переварил? В одной умной книжке я вычитал полезный рецепт: «Если ты видишь молодого человека, который своими помыслами устремлен к небесам, хватай его за ногу и тяни на землю».

И он неожиданно схватил меня за ноги, дернул, свалил.

Сидим оба на полу, хохочем.

Ваня Гуцин — наша большая достопримечательность. Без него не обходятся ни торжественные собрания, ни конференции, ни митинги, ни слеты, ни новые представления в цирке, ни концертные выступления приезжих знаменитостей. Он показывал Магнитку писателям Демьяну Бедному, Катаеву, Малышкину, певцу Собинову, иностранным делегациям, всем почетным гостям. Он точно знает, сколько на такое-то число вынута на строительстве миллионов кубометров земли, сколько уложено бетона и кирпича, сколько израсходовано металла, какая заводская мощь приведена в действие и сколько на подходе. У Вани Гуцина можно получить любую справку. Он знает, какой артелью был вынут первый котлован, кто добыл первый вагон руды, кто включил рубильник на временной электростанции. Губарь, обвалы, все несчастные случаи тоже попали в записную книжку Гуцина. Он хранит полный комплект «Магнитогорского рабочего» с первого дня его выпуска. И все, что печаталось в Магнитке, копии приказов Губаря, его распоряжения, записки, копии телеграмм, листовки — все попало к Ване. И особо важные телефонные разговоры начальника Магнитостроя с наркомом, с секретарями ЦК записаны Ваней для истории. Летописцу все необходимо. Ваня Гуцин может сказать, заглянув в один из своих дневников, какая погода была в тот день, когда строители-пионеры отгрохали первый барак и пробурили первую скважину на горе Магнитной, чем кормили землекопов первого октября 1930 года и восьмого августа 1932-го, сколько тогда стоил на базаре фунт мяса и крынка молока, как отоваривались продовольственные карточки.

Я видел у Вани фотографии, на которых запечатлены исторические моменты жизни Магнитки: закладка первой домны, выдача первого чугуна, первая добытая руда. И всюду неизменно присутствует Ваня Гуцин.

Немыслима, Магнитка без Вани. И моя жизнь без этого симпатяги была бы беднее. Не помню случая, когда бы он, встретившись со мной, не обрадовался. Растянет рот до ушей, воскликнет: «Здорово, старик! Как живешь-можешь?» Положит на плечо руку, выслушает и побежит дальше. Или, пробега мимо, подмигнет, схватит мою руку, поскребет ладонь ногтями: знай, мол, старик, как нежно люблю тебя! Бывало и так: посреди ночи или днем взберется на паровоз и добрых два, а то и целых три часа швыряет в топку уголь, качает воду и выкладывает другу самые интересные новости, все, что произошло в мире за вчерашний день.

С кем только не дружит Ваня! С Губарем, со всеми его заместителями и помощниками. С инженером Джапаридзе, дочерью знаменитого бакинского комиссара. С прорабами и бригадирами. С американцами хлещет виски и водку, а с немцами — пиво.

Ваня — непревзойденный мастер сочинять записки, направляемые в адрес правительства и Наркомтяжпрома. Все наши рапорты писались Ваней. Его безымянные сочинения передавались по радио, печатались на видных местах центральных газет.

В редакции «Магнитогорский рабочий» он стал первой скрипкой. Творит руководящие и злободневные статьи, боевые и художественные зарисовки. Каждый толковый работник редакции время от времени бывает «свежей головой»: отоспавшись днем, вечером, на свежую голову, после корректоров, дежурного и ответственного секретаря выискивает в сверстанной газете опечатки, ляпсусы, промахи, не замеченные другими. Все носят этот титул одну ночь, а Ваня Гуцин постоянно. «Свежей головой» его называли за острый ум, за то, что не допускал в работе ошибок, за то, что далеко и ясно видел, много знал и понимал.

Для меня Ваня не только уважаемый товарищ. Друг! Встретились мы с ним 19 февраля 1933 года, в 11 часов 15 минут. Почему такая точность? В это время появился на свет договор о социалистическом соревновании между доменщиками и бригадой Двадцатки. Говорили паровозники и горновы, а Ваня писал. Пункт за пунктом сколачивал. Мы подмахнули документ, а он взял бумагу, убежал. Вернулся с пачкой тепленьких, пахучих листовок, напечатанных в типографии «Магнитогорский рабочий». Одну мне влихнул в карман, с остальными помчался к горновым на домны.

Эту листовку, первый договор о социалистическом соревновании в Магнитке, я всегда вспоминаю, когда встречаюсь с Ваней Гуциным.

Вот они какие у нас, журналисты. Морда замурзана, а голова светлейшая, сердце горячее, руки здоровые, ладные и чистые из самых чистых — к ним не пристаешь ни грязь, ни позолота, ни чистоган. То, что у народа на уме, у Вани Гуцина уже на кончике пера. Он, как пчела на цветок, устремляется к тем, кто хорошо работает. Где рекорд, где много веселого шума, там непременно окажется и Ваня. Он чуть раньше других чувствует зарю — и потому радостнее и шумнее всех. Ему доступна жизнь во всех ее видимых и невидимых проявлениях — и оттого он берет на себя тяжелую обязанность говорить и писать о том, что есть, что должно быть и что будет. Ваня Гуцин чувствует красоту и высокую политику даже там, где ты, обыкновенный человек, не находишь ее днем с огнем.

Но как ни высоко я ставлю «Свежую голову», сейчас я все-таки не согласен с ним. Если бы я не слышал, что и как говорили на горе Магнитной мои напарники, я, может быть, не так упирался бы.

Ваня схватил меня за шиворот, поднял с пола, подтолкнул к дивану.

— Садись и слушай мое сочинение: «Отгрохотала гроза, отсверкали молнии, утихомирились злые ветры. Но на лице молодого водителя Двадцатки все еще бушует буря. Он все еще там, на горе Магнитной, не остыл после схватки с ураганом...»

— Заткнись, Ваня! Где твоя совесть?

— В чернильнице! И твое славное будущее там. — Нетерпеливо смотрит на меня. В глазах грусть и раздражение. — Пойми, старик, так надо.

— Мне это не надо.

— Эх!.. Так бы и трахнул по башке!

Он закурил, немного остыл и убеждал дальше:

— Допустим, тебе это не надо. Но это надо стране. Магнитке. В нашем городе тьма-тьмущая мужиков. Они дают и жмут на ядро рабочего класса. Кто кого перешибет! Идиотизм деревенской жизни или социализм. Или — или! Ты, старик, прорвался в будущее, показал, какими должны быть все рабочие. Возвремя, в золотой час зажег звездный огонь. Больше тебе скажу. Если бы ты не разродился своим геройством, мы бы сделали тебе кесарево сечение.

Вот рванул в сторону, понес по ухабам и кочкам!

— Чего ты хмуришься, старик? Смутило «кесарево сечение»? Ничего страшного. Мы не утописты, знаем, откуда берутся дети. Колумб и Галилей, осмеянные современниками, сквозь мрак невежества увидели Америку и планетную систему. А большевики в голод и холод, в разруху предсказали появление на свет божий индустриализации, коллективизации.

Ваня Гуцин бросил сигарку в раковину умывальника, разогнал дым рукой и пылливо взглянул на меня: убедил или не убедил? Показалось ему, что я еще недостаточно обработан. Он продолжал:

— Ни в какую эпоху человек не вознаграждался по своим трудовым заслугам. Ломаются большевиками тысячелетний порядок. Мы воздаем каждому по труду. И добрую отдачу получаем. Вся советская земля содрогается от маршевого гула ударных бригад. Созрела историческая нива, засеянная многими поколениями. Всюду творится социалистическая история.

Разговариваем о высоких материях, а за окнами идет обычная жизнь. На эстакаде разгружаются хопперкары. Ревет воздухоудка. Нагревается в кауперах воздух. По трубопроводам течет коксовый и доменный газ. По наклонному мосту скользят скиповые подъемники — от их грохота вздрагивают и вывывают стекла. Чугунный поток бурлит в литейной канаве, падает в ковши. Горновые важно расхаживают по берегам огненной реки. А Ленка колдует над своей газетой.

Мое молчание не нравится Ване. Он взерошил мой чуб.

— Старик, ты же не девственник, знаешь, как добывается слава. Зимой, когда я выпускал листовки на твоей Двадцатке, на все корки расхваливал тебя, ты ведь правильно реагировал.

— Похвалил и хватит. Немало у нас хороших работяг.

— Не пойму, хоть убей, чего ты сопротивляешься.

— Засмеют меня на горячих путях. Раскукарекался, скажут, перья распустил, выпихнулся.

Открещиваюсь от геройства изо всех сил, а самому, честно говоря, приятно слушать, как разливается Ваня.

Ваня постукал указательным пальцем себя по лбу.

— Температура в котелке критическая. Старик, ты, как машинист, должен хорошо знать, что вода,

нагретая до кипения, неминуемо проливается и гасит огонь.

Разозлился многотерпеливый. Надоело уламывать, на путь истинный наставлять.

— Знаю, чего ты жмешься. Звонил я на Магнит-гору. Боягузы, завистники обливают тебя грязью, а ты становишься перед ними на задние лапки.

— Не выдумывай. Хорошие они ребята.

— Почему же хорошие отказались спускать поезд, а плохой рискнул?

— Вслед за мной они спустились. Чуть позже.

— Ищешь шкурникам оправдание? В гнилое толстоство ударяешься, старик! И в такое время, когда в разгаре классовая схватка не на жизнь, а на смерть!

Я, потомственный рабочий, потерял классовую сознательность?! Я стал примиренцем?! А может, в упреках Вани все-таки есть какая-то доля правды? Я и в самом деле близко к сердцу принял болтовню и косые взгляды боягузов. Хлестали они меня по левой щеке, а я готов подставить им правую.

Ваня посыпает мои раны солью.

— Боишься, что тебя похвалят за хорошую работу? Стыдишься правды? Разве ты не победил ураган? Разве все газеты зря, не по заслугам называют Магнитку эпохальным строительством, а нас, магнитогорцев, — героическими творцами социалистической эпохи? Разве ты считаешь себя хуже, чем вся семья магнитогорцев? Разве ты, ударник, не имеешь права получить свою долю величия, которую страна отвалила строителям Магнитки?

Я долго молчу, раздумываю, а потом говорю:

— Ваня, а что если я сам напишу об этом... об урагане и обо всем?

— Сам?.. Пожалуйста! Садись и пиши. Но в твоём распоряжении разьединственный час. Устраивает?

— Мало! Давай сутки, и ты получишь рассказ или очерк.

— Даже целый рассказ?

— Не веришь? Честное слово, напишу!

— Верю, старик. Что ж, твори! Ты свое дело делай, а я — свое. Сегодня опубликуем интервью, а завтра и рассказ тиснем. Все, договорились!

Ваня схватил телефонную трубку и соединился с главной редакцией.

— Гуцин!.. Пригласите стенографистку. Буду диктовать интервью с Голотой. Все.

Гуцин положил на стол трубку, схватил меня, потащил к умывальнику. В осколке мутного зеркала отразилась красная и потная физиономия Голоты.

— Посмотри, старик, на себя внимательно и запомни выражение лица. Видишь, как оно сияет и ликует сейчас, когда я оказываю тебе дружескую услугу? Так пусть же твоя морда будет счастливой и тогда, когда ты вернешь мне долг. Не унылой, не страдательной, а ликующей.

И Ваня Гуцин рассмеялся на прощание, чтобы я, недотепа, не принял всерьез его слова.

Выхожу из редакции, но в соцгород не спешу. Тараса вспомнил. Удачно или неудачно он шлепнулся? Не переломал ли кости? Не лежит ли под откосом, беспомощный? А может, ничего и не случилось? Благополучно домой пришел. Должен я убедиться, что и как.

Далеко живет мой помощник, будь он неладен. На другом конце Магнитки. Придется отмахать марфонскую дистанцию туда и обратно.

Время подбирается к полуночи. Небо от края до края покрыто раскаленными добела звездными за-

клепками. Ураган унес все тучи. Ясно и свежо. И на земле никаких следов бури: тихо и мирно. Ничего страшного вроде и не было. Все пока скрывает темнота. Утром увидим, что разрушено, повалено, развезено ветрами.

Упираюсь в длиннющий, многотрубный, но с одной дверью барак, разгороженный на семейные клетушки. Ни единое окошко не светится. Умаялись люди, отдыхают.

На цыпочках подкрадываюсь к третьему от крыльца окну и тихонько, чтобы не разбудить соседей, царапаю стекло. Если Тарас уже дома, то сразу откликнется: не успел еще парень заснуть.

Распахивается форточка. Женщина испуганно и вместе с тем грубо спрашивает:

— Чего надо? Кто таков?

— Здравствуйте, Галина Васильевна! Как ваш Тарас?

Она прильнула лицом к стеклу, вглядывается в ночного гостя.

— А, Голота! Явился!.. Совесть загрызла?

Что она несет? Со сна или со злости?

— Ну, говори, чего надо? Прощения пришел просить?

— Какое прощение? За что?

— А ты не знаешь?.. Зачем же тогда прискакал?

— Тарас дома или еще не пришел?

— Прибежал как угорелый. Хлестал воду и растеклятого Голоту добрым словом поминал. Ни дна тебе, ни покрывки. За что ты прогнал его с паровоза, скажи? Что он тебе сделал, скажи?

— Я прогнал?.. Вот трепач! Сам убежал. Честное слово!

— Тарас, ты слышишь? Он еще божится, честным притворяется!.. Ах ты жила!

Она распахнула окно и окатила меня водой.

Утираюсь рукавом и улепетываю в темноту. Ну и помощник! Ну и отмочил! Вот тебе и демобилизованный боец рабоче-крестьянской армии. Как же он завтра мне в глаза посмотрит? Не пройдет ему даром эта пьяная брехня. Не воду он, конечно, хлестал, а самогон. Частенько зашибает. Эх!.. Куда только не толкает человека водка! Как она его только не выворачивает!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ваня свое делает, а я свое.

Пишу.

Отчитываюсь за ураганную ночь, за все, что передумал.

Пожевал хлеба с соленой рыбиной, выпил чуть ли не целый чайник чаю, вспотел, как после бани, и опять вкалываю. Пролетели час за часом, а я все пишу.

Одна за другой возникают мысли. Да такие, какие и не появлялись в то время, когда спускал вертушку с горы.

Пишу и умнею. Чудеса!

И самолюбие еще подстегивает. Слово, данное Ване Гуцину, надо сдержать. И малость остудить «Свежую голову!» Пусть не думает, что только он умеет добывать в чернильнице золото души человеческого.

Не сегодня и не вчера начал меня терзать писательский зуд. Не с тех пор, как был объявлен призыв ударников в литературу. И не тогда, когда «Литературная газета» большими литерами, на две страницы напечатала шапку-лозунг «Создадим Магнитострой литературы!». Сама по себе вспыхнула

искра. Хорошо помню и день и час, когда на меня это нагрнуло. В доменном произошла авария: паровая пушка Брозюса закапризничала, горновые не смогли закупорить летку глиняными ядрами, и чугуны хлынул вниз, заливая пути. Горели шпалы. Сырая земля взрывалась. Грязь, щебенка, лед и раскаленный металл барабанили по котлу Двадцатки, когда я пробивался с пустыми ковшами к сливному желобу. Было так жарко, столько вокруг бушевало искр, что можно было прикурить от воздуха. Зимний день превратился в африканское пекло. Плохо я видел — все затемняли взрывы жидкого чугуна. А видеть мне надо было только хорошо, от этого зависела судьба плавки. Если протолкаю ковши дальше, чем надо, то попаду под чугунную, метр в диаметре, струю, и тогда прожженный котел, наполненный паром, бабахнет так, что и моих костей никто не соберет.

Сантиметр за сантиметром продвигался я вперед, слепой и глухой. Только чутье работало. Искитрился я все-таки, поймал в ковш чугунную реку. Светло и тихо стало вокруг. Горновые, инженеры, мастера смотрели на меня, скалились, махали руками: молодец, мол, спасибо, плавку спас. И какие-то девчата, вроде практикантки, хлопали в ладоши. Даже американец снял шляпу, поклонился Двадцатке. Все радовались, только я не успел переключиться на победное настроение. Потные и холодные мои руки и опаленные губы все еще дрожали. И лишь некоторое время спустя, по дороге от домен к разливочной, я освободился от напряжения и страха. Тащил ковши, полные огня, и без нужды, так, для шума, трезвонил в сигнальный колокол, неведомо кому улыбался и вспоминал Собачеевку, завод «Унион», старые порядки и своего отца, чугунищика Остаса, его выжженный чугуном глаз. Не писал мой отец аварийную плавку. «Черт с ней, пусть в землю уходит». А я рисковал головой. Почему? И мне вдруг очень и очень захотелось рассказать людям, как жил и бедствовал род Голоты и как Санька, «выродок», стал человеком. Хотелось осмыслить жизнь трех рабочих поколений. В тот же вечер я начал писать. До утра не мог выразить и десятой доли того, что просилось на бумагу. И в следующую ночь я усердно работал. Мороз на улице, вьюга, радиаторы ледяные, в углу белеет мох, — ничего, всякое мы видали! Писал себе и писал. На моих руках были шерстяные перчатки, а на плечах рабочий колушок. Чернила, замерзающие в пузырьке, приходилось согреть дыханием. Самые горячие страницы, посвященные деду Никанору, сестре Варьке, написал именно тогда.

Ленка даже прослезилась, когда я почитал ей. А вот мои товарищи по литкружку приняли мою писанину с прохладцей. Не дошло! Не то! Ждали от меня злободневного, боевого, животрепещущего рассказа, а я подсунул им воспоминание о допотопном житье-бытье. Никому это сейчас не нужно, сказали они. Бросай копать в старье и пиши об ударниках, о соцсоревновании. Им почему-то не интересно, как жили мой дед, отец, сестры, братья, а мое сердце кровью обливается при одной только мысли о Варьке. Как же я могу бросить? Писал и писал. Хотел выговориться раз и навсегда, чтобы вздохнуть свободно, всей грудью. Если и не будет никогда у меня читателей, не беда. Человек поет не только для других. Оглядываясь назад, на прошлые годы, я сильнее люблю сегодняшнюю жизнь. «Жизнь, которую ты не осмыслил, не стоит жить». Антоныч каждый божий день твердил в коммуне эти слова. Еще в ту пору, малышом и подростком, я часто задумывался над жизнью. А теперь, в двадцать

пять, вовсе не простительно существовать, как бог на душу положит.

Рабочий, размоловивший рабские цепи, вознесенный на пьедестал истории, должен потрогать своими руками все хорошее, что создано людьми, все земные радости испытать. Когда-то нашему брату, рабочему человеку, разрешалось только железо грызть да смазочное масло пить. Теперь мы работаем и за всякими драгоценными камнями охотимся. По кирпичику складываем мировое здание пятилетки и с Толстым, с Горьким, с Шекспиром дружим. Потеем на горячих путях и в уральском лесу охлаждаемся. Время такое, заря социализма: без поэзии жизнь не жизнь.

Хорошо, что на нашем государственном гербе изображен серп и молот. Еще лучше будет, если добавить весенний цветок воронец — темно-красный, с кудрявыми веточками, ароматный до угара. Красота и труд неразделимы!

Ленка была рада, что у меня появился писательский зуд.

— Не бросай, Саня. Пиши! О том, что ненавидишь и любишь. Ничего не выдумывай. Одну правду выкладывай.

Она по своей воле, против моего желания, перестала бывать на Пионерской. А когда я появлялся на пятом участке, в ее бараке, она встречала меня со строгой деловитостью:

— Ну-ка, давай отчитывайся, сколько страниц сработал?

И смеялась, хлопала в ладоши, подпрыгивала чуть не до потолка, когда я с нарочито важным видом бросал на стол пачку исписанной бумаги.

В мае я рассказал, то есть написал, все, что хотел, и послал в Москву, в Кабинет рабочего автора Профиздата. Ждал скорого ответа. Не знал я, что рукописи да к тому же еще начинающих авторов читаются так вдумчиво.

Шли дни, ответа не было, и постепенно угасала моя надежда на добрый отклик, на то, что гора исписанной бумаги станет книгой. Правы, наверное, были мои товарищи-литкружковцы. Может, и в самом деле не то и не так, как надо, сделал. Не мудрено. Не зная броду, сунулся в воду. Моя Аленька, бодренькая, дюже верующая, утешает: все будет в порядке. Ладно! Не буду унывать, если ударник и не призовется в литературу. Хватит с меня того, что есть. Ударник горячих путей! И любит меня наилучшая дивчина Магнитки, первая комсомолка. Не изменился я в ее глазах оттого, что не признали меня где-то там, в Кабинете рабочего автора. В общем, ничего страшного не случилось.

Долго не брался за перо, а теперь вот опять нахлынуло. Еще раз поверил в себя.

Брызжут чернила. Пишу. Переписываю. Зачеркиваю и опять переписываю. Не заметил, как и ночь пролетела. К утру очерк закончил.

Смотрю на стопку рыхлой бумаги, впитавшей в себя целый пузырек чернил, и не понимаю, что получилось. Нравится и не нравится моя писанина.

Кто-то топает в прихожей, шуршит газетой, просовывает ее под мою дверь. Почтальон! Вскрываю, поднимаю с пола «Магнитогорский рабочий», сыроватый, отдающий типографской краской. Тот самый номер, с интервью. Но я не спешу заглянуть в него. Боюсь прочитать какую-нибудь чересчур красивую сказку. Ваня мастер-приукрашивать. Не раз уже он описывал ударников так, что они с трудом узнавали себя. Теперь, имея хороший повод, он мог разделить Голоту и Непочелуева, как бог черепахи.

Ладно, посмотрим, нечего тянуть! Громадные буквы заголовка:

«ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ МОЕЙ УРАГАННОЙ ЖИЗНИ».

Чуть ниже обыкновенным шрифтом, в скобках: «Беседа с молодым рабочим Александром Голотой».

«...Паровоз летит вперед, по крутой спирали горной дороги, сквозь грозную ночь. Все вокруг полыхает белым огнем, раскаляется, рушится. Я, мокрый, оглушенный, почти незрячий, но не потерявший власти над собой, стою на правом крыле Двадцатки и сердцем прокладываю себе и поезду с рудой надежный путь сквозь ослепительный мрак урагана...»

Вот как мазанул Ваня своей кистью. Чересчур ярко, чересчур храбро. Переводная картинка со всеми ее детскими прелестями. Ни одной серьезной мысли. А вот у меня в очерке... Держись, «Свежая голова»!

За стеной, у которой притулился мой письменный стол, он же обеденный, слышны легкие, стремительные шаги. Ленка! Она врывается в мою продымленную, прокуренную комнатушку.

— Я на минутку к тебе, Саня.

Осчастливила и еще извиняется!

На ней белое, в горошек, с коротенькими рукавичками платье, белые, с большими шнурками и белой подошвой резиновые тапочки.

Волосы растрепаны от быстрой ходьбы и ветра. Душистая она, как целая грядка ночной фиалки.

Что теперь подумает моя соседка? Шила в мешке не утаишь. Да и не очень, по правде говоря, мы стараемся с Ленкой утаивать свою любовь. Мы с ней уже неразлейвода, хоть еще и не женаты. Не все ли равно, когда, днем позже или днем раньше, оформим на бумаге то, что уже навеки скреплено?

Она увидела свежую газету и засмеялась.

— Опоздала я, ты уже все знаешь. Доброе утро, покоритель урагана!.. Вот какой ты. А я дурнем называла тебя. Прости, миленький!

И звенит смехом. Счастье распирает ее, переливается через край. Хватаю Ленку, прижимаю к себе, закрываю ее горячий, полный смеха рот своими губами.

Она отстраняется.

— Ну, я побежала, Саня, а то провороню очередь за хлебом.

— Успеешь! Вместе сбегаем.

Я обнимаю ее, подталкиваю к обшарпанному, залитому чернилами, с изрезанной клеенкой столу. Усаживаю любимую на табуретку, кладу перед ней шершавые листы, покрытые моими фиолетовыми каракулями. На первой странице старательно выведено заглавие очерка: «Слезы».

Читает Ленка и еще больше веселеет. В таком настроении, конечно, не до критики. Если бы я чепуху написал, все равно похвалила бы. Она до небес возносит мои свежeproлитые на бумагу «Слезы».

— Здорово, Саня! Верила я в тебя, а все-таки не думала, что так размахнешься. Ты должен писать и писать. Куй железо!

Слушаю и не придаю значения ее словам. Не талант мой ценит, а только мою любовь к себе. И повесть вот так же возносила, а толку нет и нет.

Ленка угадывает мои мысли, набрасывается на меня:

— Теперь, Саня, я еще больше верю в твою книгу. Напечатано, вот увидишь. И этот очерк тоже.

— Хватит нахваливать. Не за что.

— Есть!.. Ты только послушай, маловер, что вылилось из-под твоего растопыренного пера!..

И она вслух, с пафосом читает, прямо-таки декламирует «избранные», ударные страницы:

— «Всего лишь пятнадцать минут спускал я поезд с горы в долину, а сколько пережил, перечувствовал, передумал!.. Гора Магнитная! Нравственная моя вершина! Я знаю, что отныне, где бы я ни находился, буду смотреть на жизнь только оттуда — с Магнит-горы. Надо всегда видеть далеко, чтобы чувствовать себя человеком».

Раскраснелась моя Ленка. Очи засияли. Губы сочные, жаркие. Вдохновила ее моя ночная писанина.

— «Есть у человека потребность, более острая и властная, чем любовь и голод. Это работа, труд. Переполненный радостью созидания, впервые засмеялся и запел первобытный человек. Создав рычаг из обыкновенной дубины, он сделался богатырем. На протяжении тысячелетий работага умнеет в труде. Растет и растет Человек в человеке. Трудом объединяются люди».

Ленка чмокнула меня в щеку и опять читала. Вот, ради одного этого стоило проливать «Слезы».

— «Мы, рабочие, через горы и океаны протягиваем друг другу мозолистые руки. Плоды нашего труда — самое великое, что было, есть и будет на земле. Руда, добытая на Магнит-горе, и выплавленный из нее чугун принадлежат и тебе, житель африканских джунглей, и тебе, земледelec долины Ганга, и тебе, шанхайский кули... Наша пятилетка станет путеводной звездой для многих народов. Социализм ляжет великим мостом между континентами и странами. Я счастлив, что строю мост, по которому пройдут в будущем сотни миллионов людей. Дожить бы мне до великого времени!»

Ленка опять поцеловала меня. Теперь не в щеку, а в губы. Вот как награждает. Если бы и от Вани перепало столько похвал!..

Бегу в редакцию. Бросил пухлую пачку на стол Гущина и вроде безучастно отошел к окну, задымил папирсoй. Слышу, как за моей спиной Ваня перелистывает страницу за страницей. Перестает шуршать бумагой. Дочитал! Ну, что скажешь? Говори, собака, не томи!

Молчит. Соображает.

Жду, не оборачиваюсь. Сердце колотится.

Ваня тихонько подкрадывается сзади, опускает на мою спину свою тяжелую ладонь.

— С днем рождения вас, товарищ писатель!

Хватает меня за плечи, поворачивает лицом к себе.

— Поздравляю от всего сердца!

— Напечатаешь в газете или?..

— Напечатает, старик, да еще с радостью. Сейчас же пойду к редактору. Забронирую место для самородка. Подожди меня.

Он придвинул мне свой стул и вышел. Прежде всего я глубоко вздохнул, вытер потный лоб и, подняв голову к небу, беззвучно, как лошадь, засмеялся: «Вот и оправдал твое доверие, Ленка!»

На душе у меня было легко и светло.

Вбежал Ваня, шумный, сияющий. Мнет мои плечи, треплет уши, ерошит волосы.

— Полный порядок, старик! Твое сочинение идет в завтрашнем номере. Все самое срочное и самое важное вытеснил талант Голоты.

Напечатали.

Ударник, призванный в литературу!..

До сих пор ударял только на паровозе, на горячих путях, на Магнит-горе — и вдруг, пожалуйста, милости просим, покидайте землю и поднимайтесь в заоблачные высоты. Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Не боги, мол, горшки обжигают. Никто не рождается ни директором, ни генеральным секретарем, ни писателем, ни композитором. Все люди равны. Кто был ничем, может стать всем. Губарь



был обыкновенным мастером в Мариуполе. Бетонщик Галлиулин когда-то кошку драл с дохлых лошадей, а сейчас краса и гордость Магнитки. Максима Неделина в деревне заедали злыдни, начинал он свою жизнь в Магнитке землекопом, а теперь знаменитый экскаваторщик, орден Ленина из рук Михаила Ивановича Калинина получил.

Нет ничего удивительного, что ударник Голота стал членом литературного объединения, имеющего собственный журнал. Мало нас, раз-два — и обчелся: Вася Макаров, Борис Ручьев, Миша Люгарин, Виктор Светозаров, Сергей Каркас, Толя Панфилов, Борис Троицкий, Александр Голота. Небольшое объединение, но имя имеет величественное: «За Магнитострой литературы».

Итак, я уже не просто ударник, а ударник, призванный в литературу без отрыва от производства, хотя всего лишь один очерк опубликовал. Ничего! Считаюсь полноправным. Все мы — начинающие и зеленые. Верим в талант друг друга, верим, что напишем много, прославим Магнитку.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Шумел, бурлил, гулял сезонный народ Магнитки. Несмотря на «сухой закон», немало выпито контрабандного самогона, пива, вина и уральской, с хмельком, хлебной браги. Заливались гармошки, бренчали балалайки, рыдали гитары, пиликали скрипки и надрывались хриплые патефоны.

Получка обмывалась.

У барачков вспыхивали кулачные бои. Каменщики чем-то не угодили землекопам. Плотники рассчитывались за какие-то обиды с бетонщиками.

Ненадолго хватило пороха гулякам и драчунам. Пошумели вечерок и к ночи выдохлись. Не те времена, чтобы человек беспрепятственно пускал трудовые червонцы на ветер. Нет у нас ни бешеных денег, ни казенок, ни кабаков. Подпольных шинкарей нещадно преследуем — не разгуляешься. Милиция наша строга. И осодмильцы расплодились, как грибы после хорошего дождя.

Патрулируем.

Три парня — машинист паровоза, горновой и секретарь комитета комсомола — Александр Голота, Ленка Крамаренко и Костя Шариков — идут по барачным улицам. Вглядываются в темень. Ждут тревоги. Ищут происшествий. Ни сил, ни самой жизни не пожалеем в борьбе с пережитками прошлого.

Первомайская, Октябрьская, Уральская, Крымская, Сибирская. А сигналов нет и нет. Даже бесшабашные гуляки не высовывают свой багровый нос на улицу, когда по ней проходит комсомольский патруль. Мы не церемонимся с молодчиками, покушающимися на наш трудовой образ жизни.

Левой, левой, левой!..

Люблю я ночное патрулирование, хотя часто приходится грязь голыми руками разгребать. Ничего! Человеку для того и глаза даны, чтобы он приглядывался к жизни пристально, толково и за корявыми деревьями красоту леса видел, не путал грешное с праведным.

Левой, левой, левой!..

Комсомольский патруль! Ночной дозор Магнитки! Берегись, шпана! Мы беспощадны к тем, кто живет среди нас, как разбойник с большой старой дороги.

Дубозая, Липовая, Кленовая, Вязовая. И всюду тишина, темные окна. Улица Красных зорь, Солнеч-

ная... Стоп! Натыкаемся на барак, непривычно живой, залитый светом. Это родильный дом. Чистыми, без всяких родимых пятен капитализма, появляются на свет сыновья и дочери Магнитки. Первенцы! Пройдут они по жизни, как вишни в цвету.

Стоим посреди улицы, смотрим на белые окна роддома и все трое улыбаемся. Костя и Ленка свои ухмыляющиеся морды почему-то не замечают, а моя им глаза мозолит. Кивают и моргают в мою сторону. Посреди лета первоапрельский розыгрыш устроили. Трепачи!

— Почему ты так пышно расцвел, Саня? Чистый подсолнух.

— Как же ему не расцветать, когда он чувствует себя самым счастливым человеком на свете.

— Вон оно что! Куда мы попали? Какой-то дворец? Или детский сад?

— Брось свои глупые вопросы, Костенька. Молчи да слушай ангельские голоса новорожденных, счастливые слезы матерей!..

— Ах, это родильный дом! — И Костя Шариков поворачивается ко мне, ехидно спрашивает: — Скажи нам по правде, Голота, зачем ты сюда притащился? Дорогу к родильным палатам запоминаешь? К отцовству примериваешься?

Ленка хватает козырек Костиной кепки, нахлобучивает ее на самые уши.

— Заткнись!

Хохочут мои напарники. Им кажется, они безобидно, по-свойски посмеиваются надо мной.

Нахмурился я, но не полез в бутылку. Втихомолку стал перечислять цвета радуги. Остыл и тоже заулыбался. Пусть зубоскалят. Не со зла они, а так... Не побывали в академии Антоныча. И свою суженую еще не встретили.

Идем дальше. И тут же останавливаемся. На крылечко выскочила няня в белом халате и гневно кому-то выговаривала:

— Куда лезешь, охальник? Протрезвись! Днем приходи. Убирайся! Иди, говорю, а то милицию позову.

Какой он, этот охальник, куда лезет, нам не видно — скрывает темнота. Но раз нянька призывает на помощь милицию, осодмильцам необходимо вмешаться. Поспешно, бегом возвращаемся к роддому. Приготовились схватить одного нарушителя порядка, а перед крылечком топчутся двое мужиков. Один, увидев патруль с красными повязками на рукавах, мгновенно дал задний ход: перескочил через штакетник и скрылся на той стороне улицы. Другой бесстрашно стоял на месте, спокойно вглядывался в нас. Счастливому родителю, известно, море по колено.

— Почему безобразничаєте, гражданин? — важно и сердито вопрошает Костя Шариков.

— Вы обознались, братцы. Это не я шумел.

— Какие мы тебе братцы? В брянском лесу они, твои братцы.

Я толкаю Шарикова в бок, но он не унимается. Любит свою власть показывать. Допрашивает:

— Почему лезешь, куда не положено, да еще посреди ночи?

— Никуда я не лезу. Разберись, что и как, а потом обвиняй и суди.

— Эй, как разговариваешь?!

— Как заслужил, так и разговариваю.

Знакомый голос! Приметный облик. Неужели тот самый? Да, вроде он. Машинист Шестерки! Атаманычев! То и дело натыкаюсь на него. До сих пор он добровольно освобождал мне дорогу. А теперь? Наверно, придется тащить в милицию. Выпил новоспеченный папаша лишнее и подраться успел. На ще-

ке свежая ссадина, будто рашпилем по коже провели. Нос расцарапан, Ухо окровавлено. Ну и мордорот!

Шариков ощупывает карманы нарушителя, грозит:

— А вот мы сейчас разберемся, кто чего заслуживает. Я осодмилец, охраняю порядок и спокойствие трудящихся. А ты кто такой, хлюст?

Атаманычев прикладывает платок к левой стороне лица и одним глазом смотрит на Шарикова:

— Я не хлюст, а тот самый трудящийся, чье спокойствие вы охраняете.

— Ваши документы?!

Атаманычев достает заводской пропуск. Шариков долго, как эксперт, изучает его. Неохотно возвращается.

— Где это тебя так разукрасили? За какие проделки?

— По случаю отцовства выпил и на дурацкий кулак напоролся,— смеясь, подсказывает Леня Крамаренко.

— Не выпивал и не хулиганил я. И не отец.

— Даже не отец? — Шариков удивлен и возмущен. — Чего же ты здесь околачиваешься?

Леня легонько шлепает ладонью по спине Атаманычева.

— Ладно, не будем уточнять, что и как. Иди, друг, домой и спи себе спокойно!

— Никуда я не пойду. Мне и здесь пока неплохо.

— Так мы в шею вытолкаем тебя, если не уйдешь! — кричит Шариков.

— Попробуй!.. — Парень отступает на шаг к стенке барака и широко расставляет ноги. Бывалый, видно, драчун.

Нянька сбежала с крылечка, накинута на Атаманычева:

— Почему не объяснишь, как попал сюда? Говори! Молчишь? Ну так я сама скажу. Он на руках притащил сюда беременную, на последних минутах. А она вовсе чужая ему. Сама, без провожатого к нам потащилась. И на рукастых гуляк наткнулась. Вот этот «фулиган» отбил ее от нехристей.

Костя Шариков недоверчиво хмыкнул:

— Красивая сказка, а верится с трудом... Как же эта женщина одна, без провожатого пустилась в такое путешествие? Почему в такую минуту да еще на ночной дороге оказалась без мужа?

— Был муж да сплыл. Цветочки понюхал, а ягодок испугался.

— А где, на какой улице было совершено нападение? — допытывался Шариков.

— А ты не гдейкай, командир, не подозревай, а поблагодари человека как следует. Заслужил!

Нянька приблизилась к Шарикову, почему-то заглянула ему в лицо, словно запоминая, и ушла к себе в барак.

Костя подобрел. И даже смутился.

— В милицию сообщил? — вполголоса, мягко спросил он Атаманычева.

— Не до милиции было,— буркнул тот.

— Фамилия пострадавшей?

— Не знаю.

— Где это случилось?

— Там... в Горном поселке.

— Понятно!.. — разочарованно протянул Шариков и потерял интерес к разговору.

— Что тебе понятно? — Атаманычев совсем померк. — Я спрашиваю: что тебе понятно?

Шариков не откликнулся. Вместо него ответил Леня:

— Не придирайся, друг. Ничего страшного он не сказал.

— Сказал!.. Всюду ему подкулачники да церковники мерещатся. Знаю я этого бдительного товарища.

— И я тебя знаю,— огрызнулся Шариков.— Добренькими прикидываетесь. Отцовские грехи благородными поступками прикрываете. Ничего не выйдет у вас, бывшие.

Шариков лихо, на каблуках, повернулся к Лене и ко мне:

— Мы с ним старые знакомые. Два года назад в комитете обсуждался вопрос, принять или не принять в комсомол сына бывшего церковного старосты и регента... Большинство высказалось против. Отклонили. Ясно теперь, почему он так разговаривает со мной?

До этого момента, несмотря на мой тайные счета с Атаманычевым, я осуждал придиришки Шарикова. Но сейчас... Сынок церковника! Не зря я, значит, с первого взгляда насторожился. Классовое чутье сработало.

— Верно, не приняли... Большинство в один голос... — Атаманычев пытается говорить и держаться с достоинством. Чудак! Да разве с разбитой мордой сохранишь достоинство? — Твой это был голос, Шариков!

— Да, мой! Не отказываюсь. Таких субчиков, как ты, близко нельзя подпускать к Ленинскому комсомолу.

— А я бы не подпускал таких, как ты.

— Не дал бог свинье рог,— засмеялся Костя.— Пошли, ребята!

Он обнял меня и Леню, потащил по темной, безлюдной улице.

— Слыхали?! Видали?!

Я на всякий случай отмалчиваюсь, а Леня Крамаренко неожиданно для меня вступает за Атаманычева.

— Зря, Костя, вы не приняли парня. Хорошего комсомольца потеряли. И работник он замечательный. И отец его, бывший регент, вкалывает, дай бог всякому! Верхолаз!

— Да, верно, бывшие церковники сейчас неплохо работают. Безвыходное положение у них, вот и вкалывают. Из кожи лезут, чтобы только втереться в доверие к таким сердобольным, как ты, Леня.

Крамаренко остановился и гаркнул на Костю:

— Брехня! А вот ты... ты действительно втираешься в доверие.

— Я?.. Здравствуйте! Я давно проверенный.

— Кем? Чем? Посмотрим, что ты запоешь на чистке.

Рассорился ночной дозор. Сам в происшествие попал.

— На чистке партии выяснится твоя настоящая шкура, проверенный!

Костя хватается за руку.

— Ты слыхал, Голота? Будь свидетелем! До чистки еще несколько месяцев, а он меня уже в шкурники зачислил. Быстр клеветник на расправу. Привлеку за такие слова. Завтра же подам заявление.

— Заткнитесь, вы! — набросился я на обоих. И сделал это совершенно искренне. Я не был целиком ни на стороне Шарикова, ни на стороне Крамаренко. И тот и другой кое в чем правы. Атаманычев подозрителен? Да! Но и Костя подкрашен в алый цвет только снаружи. Да, по правде сказать, не это меня сейчас занимало.

Молча, без прежнего звона и шума, топаем по спящим улицам. Глухо отдаются в моей душе недружные шаги патруля. Обидно! Опередил нас церковник. Не мы с Ленкой, организованные рабочие люди, комсомольцы, коммунисты, готовые броситься в огонь и кипяток, выручили из беды женщину, а одиночка, сам по себе, Атаманычев.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тихонько вставляю ключ в замок, мягким рывком отваливаю дверь.

Неслышно, как ловкие воры, проходим мы с Ленкой через темную, заставленную и заваленную прихожую и попадаем в безопасную зону. Наконец-то дома!

Ничего не услышала сварливая соседка, если даже и не спала.

Поворачиваю выключатель, и моя комнатуха делается сказочной светелкой. Второй год обитаю здесь, а все никак не привыкну к своему счастью. Всегда валялся то на каменном полу, то на печи, на нарах, в теплушке, в собачьем ящике, в вокзальном зале на тысячу персон, в карантинном бараке, а сейчас... Один! Сплю на подушке. На белой простыне. Укрываюсь настоящим одеялом, а не истлевшей, вонючей, с чужих плеч рваниной. Один! Тихо, без помех, засыпаю. Не будят меня ни чужой храп, ни пьяный мат, ни грохот двери. Никто не галдит, когда читаю, пишу, мечтаю. И на мою Ленку никто не пялится, не оскорбляет ни взглядом, ни хихиканьем. Одна соседка иногда портит нам настроение. Ничего! Поженимся — сразу успокоится.

Живу на четвертом этаже. Окно громадное, надвое распаивается. Одного стекла столько, сколько не было во всех оконцах нашей собачьей землянки. Подоконник широченный, дубовая плаха — нас с Ленкой вмещает. Насиженное местечко. Отсюда ночными огнями Магнитки любуемся, а днем — дальними Уральскими горами, строительной площадкой, домами, степью, озером, небом, землей. Не подоконник, а вершина, откуда видна вся жизнь. В прошлом году в сорокаградусные морозы все жильцы нашего дома выломали на дрова эти «вершины», сожгли в печурках. Я тоже замерзал, но не поддавался, не одичал.

Полы моей светелки выскоблены добела. Стены выбелены. Кровать старенькая, узкая, но аккуратно застелена байковым новеньким одеялом. Красота!

Сто тысяч рабочих, холостых, женатых, с женами и даже с ребятишками ютятся в бараках, за ситцевыми занавесками, на деревянных топчанах, а то и вовсе в землянках, в избушках, слепленных и сколоченных из строительных отходов, а я роскошествую один.

А такой этажерки, какую я отхватил на толкучке, не найдешь и в гостинице. Пятиэтажная, лаковая, с железной осью. Во все стороны, если хочешь, крути. Все тома Толстого вместила и еще кое-что. Есть у меня настоящий индивидуальный стол. На нем рядом с книгой «Война и мир» красуется фотография Ленки, вставленная в чугунную рамку. Снималась она девчонкой, еще в ту пору, когда не знала о моем существовании. Чудно! Неужели было такое время?

Лена обнимает меня, целует, а на лице ее та самая, девчачья, как на фотографии, стыдливая улыбка. Такая она была и тогда, когда впервые мои губы прикоснулись к ее губам. Повезло! Как случилось, что из всех парней, живущих в Магнитке, она

выбрала меня? В стотысячной толпе разыскивали друг друга. Единственная в мире Елена! Ненаглядная! Раскрасавица! Умница! Всю жизнь буду нахваливать. Люблю ее глаза, руки, походку, губы. Все прекрасно в ней. Но волосы — не оторвешь взгляда! Золотая пряжа, протянутая сквозь тысячи игольных ушек. Выходя на улицу, Ленка прячет свой золотой запас под скромненькой косынкой или кепкой. И только дома раскрывается. Магнитная дивчина. Мое собственное солнце, вокруг которого вертится мой мир.

Сегодня она в ситцевом сарафане — красный горошек по белому полю. Коротенькие, пышные рукавички, глубокий вырез на груди. Ленка не показывается в таком наряде на работе. Стыдится. Чудная! Человек обязан быть красивым — лицом, телом, словом, мыслями, трудом, одеждой. Когда разбогатеем мануфактурой и шелками, всех женщин принарядим.

За стеной, на лестнице, слышится железный скрежет: дзон, дзон, дзон. Подкованный человек медленнее одолевает ступеньку за ступенькой. Останавливается на площадке, грохает в нашу дверь. Пусть барабанит. Меня это не касается. Не жду гостей.

Соседка шлепает босыми ногами по прихожей, сердито спрашивает:

— Кого там носит по ночам? Что надо?

— Голоту ищу, машиниста горячих путей.

По мою душу! Что-нибудь с Двадцаткой случилось? Или на домне авария?

Все. Пропал наш праздник. Деваться некуда. Впускаю к себе нежданного гостя. Первый раз его вижу. Душистый. Прибранный. С портфелем в руках. Очень улыбчивый. Сначала я увидел его сияющую улыбку, а потом все остальное. Она, эта улыбка, как бы впереди него летела.

Ленка отошла к этажерке, взяла книгу, уткнулась в нее. Строгая, недоступная, внушает почтение. Молдчина!

Гость не спешил объяснить, зачем пожаловал. Внимательно оглядывался.

— Да, скромная обитель.

Прошелся от окна к двери, поскрипывая подошвами. В маленькие, начищенные сапожки заправлены темно-синие галифе. Черная косоворотка с белыми пуговицами подпоясана широким ремнем. Вски наголо, под бокс, острижены. Кто такой? Наверное, специальный корреспондент из Москвы или Свердловска. Многие заезжие журналисты считают своим долгом побывать на Двадцатке, посмотреть, как вкалывает ее водитель. Некоторые и дома покоя не дают. Этот, видно, из таких. Интервью хочет взять. Самое подходящее время выбрал!

Он бесцеремонно разглядывает меня. На Ленку не обращает внимания, просто не замечает, хотя ее и слепой должен увидеть. Нахал!

Наглядевшись на меня, он сдвигает сияющие сапоги, цокает каблуками.

— Рад вас видеть, товарищ Голота. Вот вы какой!

Наконец-то выстрелил. Долго прицеливался. Слыхали мы не раз подобные слова, знаем их цену.

Я не добрею. Не клюю на приманку. Не скрываю, что гость должен как можно скорее оставить нас в покое.

— Позвольте представиться. Быбочкин!

Прозвучало гордо, будто его фамилия всем и каждому известна. Не знаю! И знать не желаю. Пошел ты!..

Он снисходительно улыбается.

— Понимаю! Вы удивлены: кто, зачем, почему? Успокойтесь! Явился с самыми благовидными целями. Глубоко заинтересован вашей личностью, отмеченной печатью истории.

Ленка взглянула на меня, отыскивая на моем лице эту самую «печать». Приснула и уткнулась в книгу.

Быбочкин осуждающе поджал губы. Первый раз вижу человека, которому не нравится моя Ленка. Откуда ты взялся такой?

— Насчет вас, товарищ Голота, есть важное решение. Вот по этому вопросу я и должен с вами по душам покаяться.

— А нельзя ли отложить каляканье до завтра?

— Ни в коем случае. Дело срочное, государственной важности.

Я вздохнул, сел на кровать, а единственную табуретку подвинул гостю. Он не пожелал сесть. Раздраженно цокал железными каблучками и не деликатно поглядывал на Ленку. Того и гляди скажет, что бы убиралась вон.

— Я бы хотел поговорить один на один, без посторонних.

Ну и тип! Ждал я какой-нибудь выходки и все-таки растерялся, молчал. Ленка тоже растерялась, но по другой причине. От удивления, что я не ответил на оскорбление.

— Здесь нет посторонних! — говорю я.

— Есть!.. Я ухожу, — бросает Ленка и бежит к двери.

Я рванул за ней, но Быбочкин успевает вклиниться между нами. Крепко держит меня за руку.

— Девушка поступила правильно. Ей будет скучно слушать наш сугубо деловой разговор. Но если вы хотите, пусть остается.

Поздно. Она уже понеслась по лестнице. Не оставил ее и мой крик. Сам не знаю, почему не догнал, свинья такая!

— Ну те-с!.. — Быбочкин потер ладонью о ладонь. — Теперь можно и покалякать мужчине с мужчиной. Приступим!.. Я, как вы догадываетесь, новый человек в Магнитке. Прислан в порядке укрепления низовых кадров. Возглавить, так сказать, местный профсоюз. Нам с вами часто придется иметь дело. Так что пусть первый блин, вопреки пословице, не будет комом.

Вот кто заинтересовался мною!

— Прежде всего я должен сообщить следующее: вы, товарищ Голота, по решению соответствующих организаций, вписаны в Золотую Книгу почетных граждан. Поздравляю! — Он схватил мою руку, потряс ее. — Но прибыл я сюда не только с поздравлениями. Почетный гражданин Магнитки Александр Голота, заслуженная и прославленная личность, попадает, так сказать, в виде экспоната текущей истории в музей, который мы срочно организовываем.

Быбочкин вопросительно смотрит на меня, ждет, как я отреагирую на такую новость. А я молчу. Ошеломлен, но виду не подаю. Так, на всякий пожарный случай. Послушаю, что еще скажет.

Быбочкин озадачен моей бесчувственностью к новости, способной потрясти любого смертного.

— Вы, кажется, не поняли меня? — И он снова засиял, засверкал своей улыбкой, которая опережает его слово и дело.

Оказывается, иногда выгодно быть недотепой. Я подхватываю подсажку гостя:

— Да, признаться, не совсем понял вас.

Он охотно пускается в самые подробные разъяснения.

— И мы, современники, и наши потомки должны знать героев первой пятилетки, видеть их, так ска-

зать, во весь рост, крупным планом, со всеми бытовыми подробностями. Поселяя вас в музей, на всеобщее обозрение, мы не покушаемся, так сказать, на вашу личную свободу. Живите себе на здоровье, как жили. Вы будете представлены фотографиями, документами и вещественными доказательствами вашего героического и простого житья-бытья.

Быбочкин опять пылливо вглядывается в меня.

— Теперь, надеюсь, вы поняли меня?

— Понял, но...

Быбочкин послал вперед свою победную улыбку, ослепил и согрел меня, а потом сказал:

— Догадываюсь, что значит твое «но». Дошли до меня кое-какие слухи. Тебя за уши тянули в героическую жизнь, а ты изо всех сил упирался. Было такое дело?

Я пожимаю плечами, молчу.

— И еще есть догадки... Ты, конечно, стесняешься, что стал таким знатным, попал в центр внимания. Что ж, это правильно. Это еще больше тебя укрощает. Но... видишь, я тоже нокаю!.. Стесняйся, скромничай, Голота, но не приbedняйся! Да, ты вырвался вперед! Да, опередил и своих товарищей, и время, и, так сказать, эпоху. Живешь в настоящем и в то же время в будущем. Тянешь за собою, как иголка нитку, тех, кто работает спустя рукава. Обыкновенный рядовой рабочий и Его величество рабочий класс! Да к тому же еще и с литературой породнился. Читал я твои «Слезы». Выдал на ять сочинение. В общем, зря я тебя агитирую. Сам, конечно, кумекаешь, какая тебе высокая честь выпала.

— Честь, конечно, высокая, дальше некуда. Но как-то неудобно здоровым и молодым в исторический гроб ложиться. Подождите, пока душу богу отдам.

Пытаюсь шутить, чтоб скрыть смущение. Быбочкин меня поддерживает. Смеется.

— Долго ждать. Жить тебе и жить, до седой старости. Так что, хочешь не хочешь, а придется еще при жизни стать исторической личностью.

— А вдруг подведу? Сегодня я музейная редкость, а завтра могу окосеть, подраться, стекла побить или еще что сотворить. Всяко случается с живым человеком.

— Не окосеешь! Гранит не плавится.

Сравнил! Из самого обыкновенного материала я сделан, как и все люди. Подумать только: был выродком, а теперь — историческая личность!

Веселая улыбка исчезает с лица Быбочкина. Он становится серьезным и торжественным.

— Твоя жизнь, Голота, можно сказать, показательная и в то же время рядовая. Столько перетерпел... Я заглянул в твое личное дело. Через твое сердце, через твою голову промчался, так сказать, главный поток славной истории нашего рабочего класса. Родился в Собачеевке, а юность встречаешь в столице нового мира. Корни уходят в Гнилой Овраг, а чуб упирается в небо социалистической Магнитки. Жизнь народа, как солнце в капле воды, отразилась в твоей судьбе. Сын рабочего! Внук рабочего! Бывший беспризорник! Воспитанник коммуны! Рабочий депутат! Ударник среди ударников! Э, батенька, где еще найдешь такой музейный экспонат!

Вот он каким оказался, незванный и неожиданный! Здорово, чертяка, сказал. А я, дурень, сначала испугался его.

Сказка стала былью. Еще совсем недавно, каких-нибудь полгода назад, слушая по радио Донецкую симфонию, я мечтал попасть в историю... Попал!

На моих глазах, как и тогда, выступили слезы. Быбочкин уже ясно видит, что я растроган, потрясен.

— Убедил?... Вот и прекрасно. Теперь приступим к практической стороне дела. Меня интересуют все бумаги, имеющие отношение к тебе: метрики, разного рода справки, диплом машиниста, грамоты, похвальные листы, депутатское удостоверение, газетные и журнальные вырезки, фотографии—в общем, все, что характеризует твой славный жизненный путь.

Я выложил на стол кучу бумаг. Быбочкин бережно разглаживал каждый документ, внимательно просматривал и аккуратно складывал в портфель. Уважает потрепанные атрибуты моей славы больше, чем я. Смотри, Голота, и стыдись! Эх, ты! Собственной историей не гордишься.

— Хорошо! — говорит Быбочкин. — То, что нужно! Но для полного комплекта кое-чего недостает. Где свидетельство о твоём пребывании в коммуне бывших беспризорников? Давай! И не беспокойся, все будет в целости. Сфотографируем и вернем.

Долго пришлось разыскивать стародавние и ветхие свидетельства, подписанные Антонычем: аттестат об окончании школы-семилетки, диплом токаря пятого разряда, выписки из приказов о наградах и премиях, похвальные листы. Но и этого Быбочкину показалось мало.

— Так-с!.. Теперь составим акт о добровольной твоей сдаче музею документов и личных вещей. Прежде всего заактируем одежду, в которой ты работаешь на паровозе. Давай ее сюда!

На гвозде висели ковбойка, штаны и пиджак из чертовой кожи, пропахшие маслом и окалиной. Вот катавасия! Чуть ли не год запросто таскал их, не подозревая, что это историческая реликвия!

Быбочкин аккуратно сложил на столе мое рабочее барахло.

— Завтра заедем на машине и заберем. Возместим потерю. Позвоню в депо, и ты получишь новую спецовку. Все. Договорились! Есть у тебя выходной костюм?

И выходной?! Это уже перебор! Костюм еще даже не обношен. Новенький. Кроме денег, я еще и целую пачку премиальных талонов отвалил за него. Не дам! Хорошо, что спрятан он под кроватью, на дне чемодана.

Говорю Быбочкину, что еще не разбогател, нет у меня выходного костюма.

Поверил!

— Скромненько, чересчур скромненько живет историческая личность. Ничего, поправим! У нас в премиальном фонде имеются и пиджаки, и пальтишки, и обувь. За нами не пропадет!.. Вместо выходного костюма придется взять обыкновенные штаны и рубашку. Давай!

Выкладываю черные суконные штаны, белую рубашку и украдкой смотрю на часы. С хорошим делом пришел Быбочкин, но все-таки засиделся. Если он сейчас уйдет, я успею сбежать к Ленке.

Слава богу, не задерживается. Обнимает меня на прощание.

— Ну вот и вмурован краеугольный камень в нерушимый фундамент нашей дружбы. Будь здоров, потомок! Я очень рад, что мы быстренько договорились по всем статьям. Смекалистый ты парень. Покойной ночи!

Вот так к моему высокому званию героя прибавилось еще одно — историческая личность. О-хо-хонюшки! Теперь я должен вкалывать в три раза лучше. И жить должен образцово. На виду у всех, каждому на удивление и радость. Сумею? Смогу ли? Кому много дано, с того много и спросится.

Страшно!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

З аглали меня на плохо обкатанные, с ржавчиной рельсы, на дно глубокой выемки и сказали: стой и жди! Впереди, слева и справа, взметнулись голые и холодные, в дождевых промоинах откосы желтой земли. Глухо доносится гул воздушной дудки, и совсем не видно, как выдают чугун. Безлюдно. Сыро и скучно. Ничего, потерплю! Законный перерыв в работе, короткая передышка перед новым разбегом. Все наверстаю потом.

Стою, жду грозного ревизора, в последний раз прихорашиваюсь, пылливо оглядываюсь на то, что уже сделано. Вчерашним днем подхлестываю сегодняшней.

До прошлого года вывезенный чугун поровну раскладывался на каждый паровоз, если даже один сделал больше ездки, а другой меньше. Топливо грузили без всякой нормы. В трубу зря вылетали рубрики. Смазочные масла и керосин лились рекой. Добросовестные машинисты не наступали неряхам и лентяям на мозоли. Боялись прослыть бузотерами, больно «вумными» и сознательными. Плавку доставляли с большими задержками: сылались на то, что мало паровозов, шлаковых и чугунных ковшей. Дорого обходилось доменщикам содержание наших машин, ударяло по себестоимости чугуна. И опять мы оправдывались, фыркали: наводите, дескать, режим экономии в конторах, а не там, где рождается тяжелая промышленность, фундамент и венец всей нашей жизни.

Магнитку строили, солнечную крепость нового мира воздвигали, а были обыкновенными артельщиками.

Я одним из первых ринулся в атаку на закоренелые пережитки. Поддержали ребята. Уравнительную оплату труда заменили сдельной, положили конец бесконтрольному расходованию угля, воды, масел, керосина. Заставили быстрее бегать паровозы с чугунными ковшами. Чуть не вдвое подешевели мы для доменщиков! Дальше будет еще лучше. Замахнулся я еще на один старый порядок.

Паровозники привыкли опасаться ревизора по службе безопасности движения, ревизора-театривика, машиниста-наставника, начальника депо. И совсем не боялись товарища по работе. Неправильно это. Все должны отвечать друг за друга. Все за одного и один за всех! Каждый за каждого! Социалистическая взаимопроверка!

Мой помощник, стоящий на страже, на левом крыле Двадцатки, предупреждает:

— Идет!..

Выглядываю в окно и вижу Богатырева. Вот какого ревизора нацелили на меня! Этот не помилует. Продерет с песочком. Что ж, я сам того добивался. Просил напустить на Двадцатку самого злого механика.

Богатырев спускается по длинной деревянной лестнице, врубленной в глиняные откосы. Солнце бьет в его бровастое и усатое, «буденновское» лицо. Щурится старик, прикладывает темную ладонь к глазам.

Машинист-наставник! Рабочий самых первых лет двадцатого века. Я еще не появился на белый свет, когда он уже гонял заводскую кукушку. Больше тридцати лет вколачивает, а не стареет. Не пригибает к земле, а выпрямляет человека горячая работа.

Не могу без радости, без улыбки смотреть на усача. Это он вознес меня сюда, на правое крыло паровоза, на рабочее место. От него научился я с гордостью носить свою рабочую спецовку. Он был

поручителем, когда меня принимали в партию. Он и Гарбуз.

Все готов сделать для него. Но не выпадает случая доказать ему мою преданность. Такие люди не поддаются никаким бедам.

Богатырев взбирается на Двадцатку, снимает фуражку, по привычке раздувает толстые усы.

— Здорово, лодыри!

— Здравствуй, работник! — Усаживаю дорогого гостя, кладу на колени пачку папирос и спички. — Лодырничаем, товарищ ревизор, по вашей вине. Заждались!

Богатырев с досадой отмахивается.

— Не ревизор я и не работник. Между небом и землей болтаюсь.

— Стряслось что-нибудь? — спрашиваю я.

— Завтра уезжаю.

— Куда? Почему вдруг?

— Мобилизован хлеб выколачивать. Чрезвычайный уполномоченный. Всю жизнь по железу молотком бухал да на чужой каравай рот разевал, а теперь... Что ж, если надо, поеду хоть в тартарары, к черту на рога.

Усач отводит от моего лица взгляд, смотрит куда-то в бок. Щека дергается. Глаз наливается слезой.

— Есть у меня большая просьба к тебе, дитё...

Вот тебе раз! Вспомнил. Дитём Богатырев называл меня сто лет назад, на бронепоезде, еще в ту пору, когда с беляками воевали. Да и то не часто позволял себе такие нежности. Больше во хмелю. А сейчас как будто не хлебнул, дыхание легкое, свежее.

Не торопится он высказать свою просьбу. Медленно, с опаской роняет слова:

— Смотрю я на вас с Ленкой и гадаю: сегодня или завтра сыграете свадьбу? Боюсь проворонить. Нельзя отложить праздник, а? Вернусь, тогда и в бубны ударим.

Опоздал! Мы уже не первую неделю празднуем. И без твоего благословения.

Разве выскажешь такое вслух? Говорю:

— Можно и отложить, если Лена...

— А она на тебя кивает: «Согласна, если он, Саня...»

— Ну и все! Отложили.

Богатырев надел фуражку и поднялся.

— Вот и договорились!.. Ну, а к ревизии ты подготовился?

— Как штык.

— Смотри!.. Атаманычев тебя будет проверять. Зубастый мастер, золотые руки. Никаких поблажек не даст. И ты должен взнуздать и пришпорить его коня. Рука руку сердито помоеет, и каждая выплывет с чистыми мозолями.

В душу вползает щемящий холодок. Целую неделю мы всей бригадой ласкали и миловали Двадцатку: все гайки подтянули, каждый клин на ходовой части закрепили, все щели, куда пробивался пар, заглушили, каждый сантиметр котла отлакировали. Засверкала машина, хоть на всемирную выставку посылай. И все-таки я встревожился: а не просмотрели ли чего?

Богатырев ушел, а я взял молоток, ключ и опять стал выстукивать и подкручивать. Вася Непоцелуев ходит за мной следом, ехидничает:

— Вот так хваленый ударник! Сам себе не доверяет.

Пусть. Хуже будет, если Атаманычев посмеется.

Давно я чувствую его тяжелый взгляд на себе. Он где-то в другом месте раскатывает, а я все равно работаю, будто у него на виду, будто экзамен ему сдаю. Не пойму, какой силой наделен он.

В тупике появляется еще один паровоз. Номера

не видно, но я знаю: Шестерка. Машины, работающие на горячих путях, вроде бы неотметны друг от друга. Но это только на первый взгляд. Все имеют приметы. У одной искроулавливающая вуаль лихо, набекрень накинута на трубу. На второй воздушный насос шлепает с присвистом. У третьей сигнал хрипловатый. Четвертая гремит дышлами.

Шестерку я узнаю по мягкой, бесшумной походке, по зеркально-сияющему котлу, по свежеевыкрашенным колесам.

Атаманычев направляется к нам. Свеженький, подтянут, наглажен, намыт. Даже переносица стала обыкновенной — нет на ней темной зарубки.

Хочу встретить его доброжелательно. Но вместо улыбки получается криворотая, с подковыркой ухмылочка.

— Добро пожаловать, товарищ ревизор! Готовы к проверке. Начинайте!

Атаманычев не видит и не слышит ничего плохого.

— Начал и кончил. Все! Давай акт, подпишу, — миролюбиво говорит он и небрежно хлопает ладонью по колесу Двадцатки.

Вот тебе и зубастый механик! Шутит? Издевается? На разрыв испытывает?

— Ты чего так разглядываешь меня, Голота?

— Как ты сказал?.. Не верю своим ушам.

— Такой молодой, а уж туговат на ухо! Могу повторить. Все в порядке! Давай акт, подпишу.

— Без проверки?

— А на кой? Зря время потеряю. Порядок! И рад бы придраться, да не к чему.

Нежданные золотые слова! И произнес их не балагур, пустобрех Вася Непоцелуев, а неразговорчивый, гордый парень, классный машинист.

Хорошо я думал о нем, а заговорил... И сам не пойму, как вырвались неладные слова.

— Сделку предлагаешь? Социалистическую взаимопроверку хочешь наизнанку вывернуть?

Самому тошно слушать, что говорю, но не умолкаю. Вожжа под хвост попала.

— На что ты рассчитываешь, Атаманычев? Ждешь от меня взаимной поблажки? Не будет ее. Не слюняй я, не мягкотелый интеллигент, не ротозей. Ни другу, ни отцу родному не побоюсь наступить на мозоль. Имей это в виду! Проверь!

— Давай, Саня, крой, наводи порядок и красоту на безоблачном небе!.. До чего же ты сейчас, красив, громовержец! Жаль, что нет фотографа.

Он смеется, а я брызгаю слюной. Опасен я, заразу злости распространяю, а он подмахнул акт, козырнул по-военному, усмехнулся снисходительно, меня жалея, и ушел.

А на другой день мы с ним поменялись ролями. Около двух часов обследовал я Шестерку. Очень хотел найти какую-нибудь неполадку. Не за что было зацепиться. Пришлось и мне подписать.

Так мы с Алешкой выдали друг другу путевки в жизнь. Один сделал это от души, а другой...

Эх, Санька!..

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Женщина в черной юбке и беленькой, на деревенский лад шитой кофточке, смуглолицая, черноглазая перехватила меня по дороге к Ленке, напротив моего дома, в нашем тощем скверике и сразу же стала допрашивать:

— Извиняюсь!.. Вы Голота? Машинист?

- Да. В чем дело?
- Александр? Из Донбасса? Собачеевский?
- Оттуда.
- Тот самый?
- Какой, тетенька? — Я улыбнулся.
- В музее бачила вас. Так то все правда?

Она сыплет вопросами, анкету мою заполняет, а я улыбаюсь, терпеливо любезничаю с ней и украдкой поглядываю на часы: успею вовремя попасть к Ленке или опять заставлю ждать? Всегда спешу и редко не опаздываю. То одно, то другое, то третье помешает. И шагу сейчас нельзя сделать, чтобы не зацепиться за кого-нибудь. Знатной персоной стал. Всем хочется поглядеть на «историческую личность», поговорить про жизнь, поболтать о погоде, перекурить вместе. Даже пионеры не обходят вниманием. На костер пригласили, галстук на шею повязали.

Ну, а этой симпатичной, моложавой бабушке что понадобилось? Не один час, видно, сидела в скверике на скамейке, ждала меня. Скромница. А другие запросто ломаются в дверь, тащат с кровати за ноги: давай, мол, герой, рассказывай! Житья не стало от корреспондентов, активистов, зазывал, руководящих товарищей, просителей и любопытных. Терплю. Ничего не поделаешь! Груздем назван.

— Побалачить с вами хочу, товарищ депутат. Можно?

Судя по выговору, она моя землячка: мягко, напевно выговаривает русские слова и непроизвольно вплетает в них украинские.

— Можно! — говорю я и направляюсь к скамейке.

Не досаду, не спешу. Про себя только огорчаюсь: опаздываю на свидание. Нет причины придраться ко мне, а женщина нахмурилась. Не садится. Переминается с ноги на ногу в своих старомодных, на толстом войлоке, из темной парусины туфлях. Смотрит на меня сердито и жалостливо. Не поймешь, не то укусить хочет, не то приглубить. Хорошие у нее глаза. В Донбассе в мое детское время такие глаза называли ласково очами. Очи! Очи дивочи. Лет двадцать назад, наверно, ее очи не одному парню душу прожгли. Да и теперь жаркого огня в них хоть отбавляй. Если бы не седые паутинки, вплетенные в корону, за молодайку сошла бы. Маму мою напоминает. Очами, смуглостью да волосами. Вот такой была бы и Варька, доживи она до этих лет. Жар-птицей ее называли. Русалкой! Песенной девахой. Самый красивый шахтер, Егорушка Месяц, полюбил ее. Ради предсмертной прихоти деду — лимона захотел — не пожалела она ни красоты своей, ничего. Эх!..

Не догадывается землячка о моих мыслях. Беспардонно допрашивает, любопытство утоляет:

— Значит, ты оттуда, с Гнилых Оврагов?.. Бачила я в музее фотографии Собачеевки.

— Оттуда!.. Все мы из одной люльки. А может, вы во дворце жили? Или в раю зеленом, в белой хатыне?

Я засмеялся. Землячка печально покачала седеющей головой.

— Нет. Не баловала меня жизнь. Оттого и удивляюсь, на какую курганную вышину тебя занесло.

— Всех нас, тетенька, весь народ занесло на вышину... Ну, какое у вас дело?

— И это все чистая правда, шо в музее про тебя сказано? Батко и мать погибли? Дед с ума сошел и бабушку убил нечаянно? Ньюру и Митю голод задушил? Сестра... как ее, Варька, кажется, без вести пропала? Так все и есть?

— Так.

— И ты был босяком, беспризорничал?

— И это было.

— Ну, а ее... Варьку, ты искал? Может, она все-таки уцелела?

— Куда там! Война, голод, тиф...

— Люди бывают страшнее тифа и голода. Я людей больше всяких болячек боюсь.

— Что вы, тетенька! Люди — самый ценный капитал на свете.

— Может, эти самые капитальные люди твою сестру и замордовали?

— Не люди то были, а нелюди.

— А я про то самое и говорю... Значит, один-разбедниственный Голота остался на белом свете?

Женщина вдруг закрыла лицо ладонями и заплакала.

Вот тебе и очи! Обыкновенные глаза, да еще на мокром месте.

— Такая была семья!.. Один огрызок торчит, — проговорила она сквозь слезы, жалостливо глядя на меня.

Это я-то огрызок? Ну и ну! Вот так посочувствовала, посердобольничала.

Не со зла она сболтнула, а мне неприятно. Я накупился и сказал:

— Огрызком я себя не чувствую. Хорошо живу.

— То правда, живешь ты здорово, не каждому такую жизнь и сам господь-бог посылает. А почему ты парубкуешь? Двадцать пять стукнуло, самостоятельный. Жениться пора.

— Никогда не поздно жениться и замуж выходить, — отшутился я.

Не было у меня ни желания, ни времени посвящать чужого человека в свои личные дела. Хватит и того, что сказано.

— Ну, так зачем я вам понадобился? Выкладывай-те, будь ласка!

Не понимает, будто с ней американец или немец по-своему лопочет. Сверлит меня огромными, черными глазищами и видит на моей морде что-то несусветное. Почему? Кажется, ни одного плохого слова не сказал, на мозоль не наступил. Уважаю.

— Саня!..

Женщина произнесла это тихо и так ласково, что я облился холодом. Вспомнился Батмановский лес, дикие голуби, солнце, ручей, дремучие заросли терновника, воронцы, Варька... Восемнадцать лет прошло, целая эпоха, а ее голос до сих пор стонет и поет в моих ушах.

На высокой горочке
Собирала колокольчики...

В тот день, когда она пропела эти слова, мы бежали с ней лесом, степью, купались в Северянке, собирали цветы... «Смотри, Саня, смотри, какие они красивенькие и душистые, — говорила она. — Кто их разукрасил? Почему они бывают желтые и белые, красные и синие? Вот так и люди: горбатый и красивый, бедный и богатый, счастливый и несчастливый. Почему?..» А до этого, наткнувшись на гнездо с перепелиным выводком, Варя пригрозила мне: «Никогда не трогай птенчиков. Если тронешь, от них мать откажется». Так, конечно, не бывает. Но слова сестры о птенчиках до сих пор печалат меня. Тронут чужие руки нежную душу Варьки. — и от песенной дивчины родная мать отказалась, а отец исхлестал мокрой веревкой и выгнал за ворота, измазанные дегтем.

— К твоей милости обращаюсь, Александр... Извиняюсь, товарищ депутат. Помоги моей беде. — Ее голос уже не кажется мне ни ласковым, ни песенным. Разговаривает, как обыкновенные попрошайки,

древние старухи с церковной паперти. «Твоя милость!..» Ну и сказала.

Разозлился я. Не сдержался.

— Что это вы так разговариваете на пятнадцатом году народной власти?

— Как заслуживаешь, так и разговариваем. Геройская личность! Депутат!

— Рабочий депутат! Слуга народа!

— Какой же ты слуга? Во-он ты где,— рукой до чуба не достанешь! Почитать тебя надо всем простым людям.

— «Простые люди»!.. А я кто? Видели в музее, какой я граф?

— Не граф, а все-таки... Далеко яблоко от яблони откатилось. В газетах красуешься. Напоказ со всеми своими бебехами выставлен. Верховодишь. Другим сухарика недоволю, а ты премиальные пироги отхватываешь.

— Темный вы человек, мамаша!

— Так оно и есть! Разве я перед тобой высветляюсь?

— Теперь всякий, кто хорошо работает, в почете у государства и людей... Ближе к делу! Чего вы хотите от меня?

Может и не вдаваться в подробности. Догадываюсь о ее беде. Работает артельной кухаркой. Живет с детьми в бараке, в общежитии человек на сорок. Мечтает об отдельной комнате. Извелась жить у всех на виду. Понимаю, сочувствую, но... Не помогу ее беде. И не по моей это части — жилотдел. Я как депутат школами, библиотеками да красными уголками занимаюсь.

Не отвечает она на мой вопрос. Приходится еще раз спросить:

— Какая у вас беда, гражданка?

— Уважишь мою просьбу, депутат?

— Смотря какую!.. А если вы попросите, чтобы вам в услужение пошла сама морская царевна? Или захочется жить в трехкомнатной квартире?

— Не бойся, Саня! Моя просьба простая, тебе по силам.

Чего она волынит, если ее просьба и в самом деле простая? Выкладывая, тетя Мотя, не тани kota за хвост! Ленка моя ждет.

— Слезы мои сиротские ты можешь высушить.

Я смутился. А не подсмеивается ли, не разыгрывает ли эта тетка автора очерка «Слезы»?

— В чем дело, мамаша, говорите!

— Яка я мамаша? В сестры гоюсь. Рокив на десять старше тебя, а может, и того нет.

Она беспокойно потрогала черный, с проседью узел волос, провела кончиком языка по сухим губам.

— Ты не смотри на мою седину. Я давно, в семнадцать лет побелела.

Вот самое подходящее время повздыхать о невозвратной молодости. Эх, бабы!..

— Хорошо, согласен скостить лет двадцать. Говорите, сестрица, чем и как я могу осушить ваши слезы?

— Очень просто: войди в мое положение. Сиротствую я. Отца, и мать, и всех родных похоронила, а братника, живого и здорового, потеряла бесследно. Вот и обращаюсь к твоей милости: посодействуй.

Ну и просьба! Да как же я могу посодействовать? Розыскным и справочным бюро не ведаю. В милиции не служу.

Я растерянно смотрю на женщину.

— И рад бы, но... канцелярии своей не имею, прав розыскных не предоставлено.

Ничего плохого не сказал, не посмотрел на нее косо, но она обиделась. Лицо ее, и без того смуглое,

налилось чернотой. Так взбеленилась, что даже голова затряслась.

— Яка канцелярия? За шо ты мое горе казнишь? Брат мой, братик, кровинушка родная, без вести пропал, як в воду канул. Чуешь?

Не глухой, все разбираю, а вот она туговата на ухо.

Терпеливо объясняю, где и как помогут ей разыскать пропавшего. Даже предложил проводить ее к начальнику милиции.

Не помогло.

Сверлит меня своими глазищами, налитыми слезой, обиженно дергает губами.

— Я к тебе с живым горем, а ты меня — дохлой бумажкой... Ты человек или не человек, а? Были у тебя отец и мать, брат и сестра? Скажи, кто ты?

Надоело! Вот навязалась, сумасшедшая! Может, она и в самом деле чокнутая? С такими надо осторожно разговаривать.

— Человек я, сестрица. Сочувствую вашему горю. И помогу разыскать брата, если он жив. Как его звали?

Зябка повела плечами, не отвечала.

— Как звали брата?

Молчит. Самых простых слов не понимает. В третий раз спрашиваю:

— Имя у вашего брата было?

Поняла наконец, встрепенулась.

— Как же!.. Шурка по-улишному и домашнему, а по метрике — Александр. Твой тезка.

— Фамилия?

— И фамилия с твоей схожая. Медаль с оборотной стороны. Сытников. Шурка Сытников!

Сумасшедшая, не иначе. И додумается до такого: «Медаль с оборотной стороны». Голота и Сытников! Ладно, стерпим, не такое видали!

— Ну, а вас, сестрица, как звать-величать? Клавдия Ивановна? Или Татьяна Григорьевна?

— Мария Игнатьевна. Сытнікова. Девичья это фамилия. Маша Сытнікова.

— Очень приятно! Выходит, вы все-таки не сирота. Замужем? Детей имеете?

Она почему-то опять насупилась.

— Куда ты суешься, депутат? Мой муж и мои дети тебя вовсе не касаются.

— Как же так? Ваш брат меня касается, а все прочее... Несправедливо.

— А где ты ее видел, справедливость?

— Что вы сказали?

— Я говорю, справедливость и правду днем с огнем не найдешь. Так уж повелось испокон веков.

Ну и собеседница! Революцию, самую справедливую из всех революций не увидела. Как мы четырнадцать держав, напавших на нас, расколошматили, покарали своим справедливым мечом, не приметила. Как буржуев и помещиков извели, как кулака ликвидировали, как пятилетку в четыре отгрохали, как строим социалистическое общество, самое справедливое общество на земле, тоже проглядела.

Жаль, что я на такую слепую тетушку потратил уйму времени. По-человечески разговаривал с ней, а она наверняка бывшая хуторянка. Из раскулаченных или недораскулаченных.

До конца все ясно, с кем столкнулся, но я все-таки делаю еще одну попытку образумить «сиротинку».

— Марья Игнатьевна, вы забыли, где и в какое время вы живете. Оглянитесь!

— С утра до вечера только и делаю, что оглядываюсь, а вот ты... Слушай-ка, праведник, знаешь ты сам, как живешь: по правде или кривде?

Все. Хватит! Терпел сколько мог, не могу больше.

Отвернулся я от злобствующей тетеньки и быстро зашагал прочь. И «до свидания» она не заслуживает.

(Продолжение следует.)

A black and white portrait of a woman with short, dark, wavy hair. She is looking slightly to the left of the camera with a neutral expression. She is wearing a dark-colored top and a necklace with a large, dark, diamond-shaped pendant. The background is a light, textured gray.

1

2

62

Какая ты,
Испания!

Какая!
Я задаю вопрос издали.
Я осторожно говорю, опасливо.
Что я опережаю!
Где опаздываю!
Мне эта встреча очень нелегка.
Под лунными полетами,
под дисками
летающих тарелок,
звезд,
планет

какая я!!—
вот тот вопрос единственный,
который я ношу в себе таинственно,
страшась на все, что «да», услышать «нет».
Какая я!

Туристочка, тряпичница,
типичная зубрилочка-отличница,
любительница пляжей, трикотажей!..
А в гарнизоне в детстве кони цокали,
и что-то небоскрежное, высокое
в тебе, домишко наш одноэтажный.

Потом война. Как пытки, испытания.
Во мне живет испанка,

Испания,
от той, республиканской на века.
Испания горящих вдов и пахарей,
мы за тебя горели, пели, плакали,
в твоей земле зарыли земляка.

Как ты теперь! Чего ты ждешь и хочешь!
Над чем хохочешь! И о чем хлопчешь!

А мы,
тобою сердце испытал,
не боги, не космические витязи,
как гнали тех
от Брянска и от Витебска,
как под откос
подорванный состав!

Какая ты!
Какая я, Испания!
Я буду вечно верить в наше раннее,
болезненное, преданное, раненое.
Я буду это помнить и любить.
Я жду, когда Испания начнется.
Я жду, когда она в сердцах очнется.
И в мире снова что-то покачается.
И если верю — так тому и быть!

Старина

1

Хочу, чтобы грохали пушки
на радостных пристанях.
Хочу к тебе ехать, как Пушкин,
вразвалочку на санях.

Чтоб долго скрипели полозья
и долго валился снежок,
чтоб все, что виною, что врозь мы,
российский мороз пережиг.

И хоть мы с тобою не баре,
гусарство не наша страна,—
мы все-таки русские, парень,
а в мире Россия одна.

И что нам лихие моторы,
когда я — о нашем с тобой,
когда мы — как эти просторы
зимою, как лен, голубой.

Хочу быть простой, старомодной,
лукошком, шестом на плоту,
собакой, уткнувшейся мордой
в хозяйских колен доброту.

И мне не нужны самолеты,
чтоб сердце по свету таскать.
Мне, может, нужны самородки —
да где их теперь отыскать!..

А все же нам, тутошним, здешним,
в двадцатый закрученный век,
как свечечки, светят скворечни,
подледные проблески рек,

лесов неизбывных верхушки,
наличники на окне...
Хочу к тебе ехать, как Пушкин,
в санях, при буланом коне!

2

Она не старье — старина,
иконы, попоны, церквушки.
Она — это тоже страна,
а родина — не игрушки.
Пусть рвутся проткнуты небеса
веселые небоскребы,
но есть и другая краса,
которая тоже до гроба.
Которую — радость! — беречь
запальчиво и веселее,
как вкусную русскую речь,
душистую, словно сено.
И как средь небес ни трясина
громов реактивных трясина,
еще вы опора Руси,
родимые бабки Арины...

☆

А что нам! Усадьба!
Да гости! Да «горько»!
Любовь — наша свадьба,
Красная Горка!

Не целость, а цельность
моя чистота.
Любовь — наша церковь,
венчальная, та.

Колечко! Не дурнем
для дурней вокруг —
ты будешь Сатурном
в кольце этих рук.

Закуски! Селедки!
Спеши же скорей —
закусим соленым
от пены морей!

Под небом не душно,
ни пут, ни оков.
И сено в подушке —
на веки веков!



Над нами власть имеют запахи,
они пронизывают током.
И вот на западе, на западе
все пахнет мне моим востоком.

Когда приеду, как повисну я
на вас, друзья, деревья, сопки!
Не ты, восток, а я провинция.
Моя столица — на востоке.

Останусь, как невеста, верною
тебе, жасмин, таежный, нежный.
Я — сыроежка с каплей светлою
в земле, по-девичьи безгрешной.

И пахнет мне грибами этими
с троп, что и есть начало родин,
что не вторыми и не третьими,
а только первыми проходим.

И пахнет мне лесной сыринкою,
и так прекрасно и жестоко —
до слез! — ты мне — в глазу соринкою,
о запахах моего востока!

Пусть это больно, но, как заповедь,
твой крепкий запах мной затвержен.
Хожу, как в платье, в твоём запахе,
кедровом, травяном, медвежьем.

Степан Щипачев



Фото 1922 года.

Почерк истории

Далекий Семнадцатый.
С Балтики дуло,
и порохом пахла октябрьская мгла.
Горячие пулеметные дула
и мокреда совсем остудить не могла.

В архиве найдете строку такую,
в ней выстрел «Авроры» не стих,
не стих, чтобы гулом врываться в стих,
будить глухоту людскую.

Печально венки на гробах лежали.
Слова об Урицком гранила рука,
и о Володарском — по камню строка.
На Марсовом поле не плиты — скрижали,
которые будут читать века.

Есть почерк истории, революции.
Кровавые пятна на мостовой.
Победы... Трагедии... Пот трудовой.
Пусть правдою строгою строчки льются
в свинцовые гранки — глава за главой.

Они всю быль и ленинским светом
должны быть пронизаны до глубины.
Раздумья нахлынут, спрошу об этом
у тех, что лежат у Кремлевской стены.

Спрошу у Свердлова, у Фрунзе спрошу,
спрошу Джона Рида — он многое помнил,
у Орджоникидзе спросить решусь,
у Куйбышева —
всё так ли, о том ли!

Спрошу у курсантов-погодков, что пали,
которых в двадцатом я знал и не знал,
у тех, что на пятки Махно наступали,
у тех, что могилу себе копали —
и пели «Интернационал».

Спрошу у строителей, у космонавтов,
проникших в космическую глубину
прославить меж звездами нашу страну.
Есть почерк истории, времени правды.

Есть свежесть озона в простых словах.
Спрошу тракториста. Он вправе, вправе
судить о земле, о колхозных правах.
Он знает, как пахнет железо и травы.

Спрошу у земли у самой. Она-то
расскажет мне все про свою судьбу,
про то, что снесла на своем горбу.
Молчать и об этом не надо, не надо.

Не надо над строчками хмурить бровь.
Редактор! Тут мало его уменья.
Где кровью писала история, кровь
чернилами красными не заменишь.

Ложись на бумагу к строке строка,
партийные, жизнью творимые строки!
Дорога, что выпала нам, нелегка!
Но нет у планеты другой дороги.

Август, 1966.



Иван Купцов

ПОЮЩИЕ ГОЛОСА ГУМАНИЗМА



Когда бы и где ни жил художник, он близок и дорог нам, если честно задумывался над вопросами жизни, заново открывал ее красоту, отстаивал своим творчеством благо Человека.

С первых лет Октябрьской революции достоянием народа стало искусство Рублева и Врубеля, Леонардо да Винчи и Рембрандта. Тогда же наши выставочные залы, страницы прессы радушно встретили все живое и мыслящее, что боролось на Западе за принципы гуманизма и социальной справедливости. Добрыми гостями Советской России стали Кете Колльвиц и Георг Гросс, Диего Ривера и Франц Мазерель...

Минувший 1966 год продолжил традицию интернационального общения прогрессивных художников мира. Советские зрители знакомились с подлинниками классиков мировой культуры — француза Родена и японца Хонусая; с творчеством художников Латинской Америки, ОАР, Кипра...

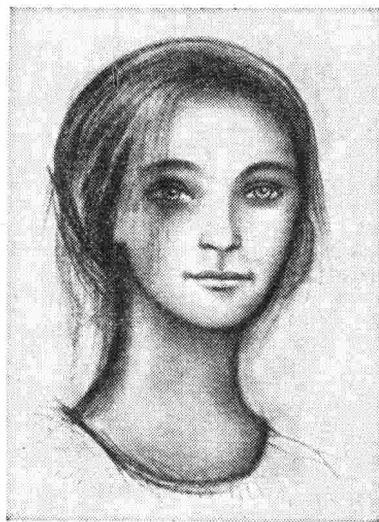
И вот — творчество художников, чьи работы публикуются в этом номере. Оно умеет быть задушевым и публицистичным, напевным и громовым.

Живопись болгарина Стояна Венева отличается народной мудростью и лукавством. Ее колорит то празднично ярок, то драматичен. Но всегда в манере письма присутствует тот темперамент кисти, который исходит от уверенности руки и трепета сердца.

Художник влюблен в красоту мирной и здоровой жизни. Ему по душе глубинная простота чувств, раскованность эмоций. Его герои — партизаны-антифашисты, хлебопашцы, новая молодежь.

Когда-то кубинский поэт Николас Гильен написал стихотворение «Гитара» — об искусстве, разлученном с художником и его лучшими помыслами. Старее в баре гитара. Нужны ли ее сокровенные звуки пьяницам в модных автомобилях, смиренным рабам и рабыням? И Гильен звал поэзию в мир других волнений, к старым и истинным друзьям ее, не смиренным перед мрачными обстоятельствами.

Такая песня звучит в работах Джакомо Манцу, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». В его скульптурах и рельефах, а также рисунках запечатлены героизм борцов за свободу, размышления гуманистов, земная и вместе с тем возвышенная красота повседневности.



В залах Академии художеств, где проходила выставка итальянца, чувствовалось присутствие умного и талантливого собеседника, творчество которого, как и его товарища-живописца Ренато Гуттузо, подтверждает старые слова Александра Блока о том, что художник — это человек по профессии...

Американец Антон Рефрежье утверждает гуманизм средствами графики, монументальной и станковой живописи. Нервность и динамичность многих его работ органичны не только их сюжетам,

но и авторскому отношению к повествуемому. Такова, к примеру, картина Рефрежье, посвященная краху гитлеризма («Сверхчеловек. Сталинградская битва»).

Другим, казалось бы, — интимным и нежным — предстает художник в своей лирике. Но и в ней мы обнаруживаем кристальные качества его натуры: любовь к современнику, искренность и душевную чистоту, чувство личной причастности ко всему происходящему в мире.

«Тихий» жанр пейзажа, увиденный нами на выставке чехословацких живописцев, своим языком поведал о переживаниях и раздумьях людей, живших предчувствиями социальных катаклизмов, надеждой и верой в человека, его радостями и удачами.

Тревожен и оптимистичен мир Иозефа Чапека, любившего людей и ненавидевшего фашистов. Дух неумиряющего Швейка восстает из фольклорных фантазий Лады. Эпичны и мудры пейзажи Рабаса, демократичны образы Л. Фуллы...

У истоков искусства чешских пейзажистов — творчество Антонина Славичека. Его величавая кисть пробуждает в душе отнюдь не слезливое, а просветляющее умиление и лиризм. В работах художника есть много чувств, близких живописи Левитана.

Будущего историка изобразительного искусства XX века не смутят залежи зауми, натуралистических муляжей, образов ложных идей. Перед ним гордо, без риторики и словопрений возникнет облик художника-гуманиста, мечтателя и борца.

Как говорил Константин Юон, со временем все недостатки произведения становятся все более очевидными для всех, а хорошие качества живописи как бы усиливаются. Красота искусства отличается умением не стареть.

Вверху: Телемах Катос (КИПР). Пшета.

В центре: Мишель де Серевиль (Франция). Портрет девушки.

ИВАН КУПЦОВ. ПОЮЩИЕ ГОЛОСА ГУМАНИЗМА.

расул Тагайов
Борис Сидук
В. А. Мискин
В. Корнилов
И. Шев
Друнина
Соболев
Коржавин
В. Сидук
А. Кузнецов (мать)
А. Алексеев
Ев. Мамин

ПУТЕШЕСТВИЕ К КАТАЕВУ

Утром за мной заезжает мой долговязый друг, и мы отправляемся в гости к Катаеву. Мы едем по Ленинградскому проспекту, мимо двадцатизнажной этажерки Гидропроекта, дальше мимо парка, в котором притаился загадочный ресторан «Загородный», мимо Тушинского аэродрома, под бледным утренним небом, по которому едет, именно едет, кургузый учебный самолетик, сворачиваем на Кольцевую, проворачиваемся вокруг мотеля — мимолетные лукавые улыбки, — выезжаем на Минское шоссе, минуем всенародно известный поселок, левый вираж — ох, долговязый, как ты лих! — и катим в Переделкино.

По «Аллею Мрачных Классиков» шествует Валентин Петрович. Впереди клубочком белой шерсти катится собачка Степан, позади тащится старый переделкинский хулиган — внутренне благородный пес Миша. Аллея возмущена, но молчит.

Катаев приветствует нас и кричит через забор:

— Эстер, приехали мовисты!

Цитирую:

«...я являюсь основателем новейшей литературной школы мовистов, от французского слова mauvais — плохой, — суть которой заключается в том, что так как в настоящее время все пишут очень хорошо, то нужно писать плохо, как можно хуже, и тогда на вас обратят внимание; конечно, научиться писать плохо не так-то легко, потому что приходится выдерживать адскую конкуренцию, но игра стоит свеч, и если вы действительно научитесь писать паршиво, хуже всех, то мировая популярность вам обеспечена».

Мы проходим через двор, где подрастающий мовист Павел Катаев пинг-понгом выгоняет из себя лишнюю прыть, поднимаемся в крепкий зеленый дом по маленькой лестнице, которая порой кажется нам немислимо широкой и бесконечно длинной, как знаменитая лестница в Одессе.

Мы сидим в удобных креслах, в окружении белых стен, а за окнами, за желтой листвой в голубых прорехах проплывают серебристые ладьи с Внуковского аэродрома, а где-то в небольшом отдалении просвистывает электричка, проносясь мимо Трех Сосен, мимо Святого колодца, мимо всей этой малой земли, окруженной индустриально-аграрным пейзажем.

Катаев гуляет по Переделкину со странными фонариками в глазах. И во время дружеской беседы, и

во время чаепития, а может быть, и во сне под закрытыми веками в глазах его светятся эти фонарики. Это фонарики сочинительства. Мне кажется, что Катаев сочиняет всегда. Этот процесс заполняет всю его жизнь, и вызван он не многолетним литературным навыком, а самой сутью этого большого писателя. Может быть, он вообще никогда не спит?

Не спи, не спи, художник,
не предавайся сну...

Валентин Петрович Катаев рожден на этой земле для того, чтобы быть писателем. Это как раз тот самый редкий случай осуществившегося предназначения.

Написав эти строки, я вспомнил стихи Станислава Куняева:

С утра болела голова,
Но хуже то, что надоела
Старинная игра в слова,
А я не знал иного дела.

Боже мой, сколько уж раз и меня посещало это гадкое чувство! Бьюсь об заклад, что оно неведомо Катаеву. Впрочем, тут Валентин Петрович может легко поймать меня за руку.

Веселое хищное око — вот исключительный дар этого человека, свойственный только самым тонким художникам России. Память сердца, память глаз, носа, кончиков пальцев — это свойства человека, предельно равнодушного к жизни, то есть истинного писателя.

Я прочел «Белеет парус одинокий», когда был в возрасте Пети Бачея или немного старше. Чувство, которое я испытывал при чтении этой книги, сейчас я могу назвать очарованием — тогда я не знал этого слова. Помните, как Петя купается в море, как он ныряет, как Павлик наслаждается дыней, как Гаврик пьет воду «Фиалка», как на горизонте проходит тень мятежного броненосца, помните те дни, вечера и ночи в Одессе? Очарование жизни, которой ты никогда не жил... Вот именно эта задержка быстро летящих мгновений, возврат давно и навсегда прошедшего характерны для таких тончайших русских художников, как Алексей Толстой, Бунин, Бабель.

Это волшебство... волшебство... Когда я начинал пробовать свои силы в прозе, я наивно предполагал, что это волшебство создается лишь бесконечными «как», «как будто», «подобно». Я натужно сравнивал один предмет с другим. Это было ужасно утомительно и бесцельно, но все-таки однажды в одном малоизвестном, неуклюжем рассказе я написал счастливую (конечно, только для себя) фразу: «Темные воды канала были похожи на запыленную крышку рояля». Фраза эта попала на глаза Катаеву, и с этого времени я стал автором «Юности».

Сейчас я вряд ли осмелюсь написать что-нибудь подобное, и уж никогда мне не придет в голову сравнить «боинг-707», летящий над Атлантикой, с мухой над закипающим молоком.

Катаев сравнивает вдохновенно, алчно, хищно, но отнюдь не только этим создается очарование его прозы.

В «Святом колодце» автор обрушивает на вашу бедную голову каскады, водопады, цунами предметов — предметов, уже потерявших свое бытовое значение, а как бы светящихся изнутри, происходит землетрясение, разверзаются хляби небесные, вещественный мир проходит сквозь художника, художник проходит сквозь мир, сквозь «перегородок тонкоробость», сквозь гранит и лед, и вот мир предстает перед вами ужасный, странный и прекрасный. Но опять же не только этим буйством мастерства соз-

дается очарование. Чем же? Этого не объяснит самый ученый литературовед. Тайна сия...

Кто из нынешних молодых писателей может не позавидовать юности Катаева, той атмосфере, в которой возникала знаменитая «одесская школа»? Однажды Валентин Петрович рассказал нам один эпизод, имевший место в Одессе в то время, когда он юным прапорщиком-артиллеристом вернулся с фронта. Он принимал ванну, плескался в холодной воде (горячей не было), когда приотворилась дверь и отец сказал дрожащим от волнения голосом: «Валя, к тебе, кажется, пришел академик Бунин».

Можно представить, что случилось бы с современным писателем, например, с Юрием Казаковым, если бы к нему вот так запросто заглянул на часок академик Бунин!

Олеша, Бабель, Багрицкий, Ильф были просто товарищами Катаева. В те дни невероятного быта, разлома, смены властей, в дни, одухотворенные романтикой и страстью революции, по Одессе бродили очень сильно голодные юноши. В их головах жила романтика, состоявшая из привычной средиземноморской романтики (бриги, бригантин, фелюки, шаланды), романтики раннего русского авангарда (Маяковский — яростный зубр), новой революционной романтики (конники Котовского на мокрой брусчатке, жилистые матросы в пулеметных лентах) и одесского полублатного юмора (Мишка-япончик, Жора Подержи Мой Макинтош). Их — таких разных и разных все больше и больше с годами — объединяли, как мне кажется, две вещи: верность литературе, бессребренное ей служение и верность своей родине, в кровавых муках меняющей кожу.

Если для писателей среднего и старого поколений еще вставали вопросы «С кем вы?», «Куда вы?», то для молодых зачинателей советской литературы таких вопросов не было. Они были плоть от плоти этой русской бури. Может быть, многие из них и не состоялись бы как писатели, не будь революции.

Сейчас, когда мы часто встречаемся с Катаевым, когда я, несмотря на естественное почтение, уважение и тэпэ, несмотря на всю дистанцию, существующую между нами, все-таки отношусь к Валентину Петровичу как к товарищу (ибо мы не старше и не моложе друг друга), меня охватывает странное чувство смещения времен, когда Валентин Петрович говорит о своих прежних друзьях.

Вот мы сидим в старом московском ресторане — Валентин Петрович, наш долговязый друг и я. Нам подадут шампанское, булку, огурец, и Валентин Петрович (он любит эти вещи) говорит:

— За этим столиком Ильф сказал мне: Саббакин, вас все здесь уже знают...

Может быть, Ильф только что вышел отсюда и сейчас поднимается вверх по Театральному проезду к Старой площади?

Я пишу сейчас эти строки в гостинице «Штефани» в Вене. За окном дождь, мокрый снег, респектабельные, невзирая на погоду, фигуры венцев и вывеска: *Wienfischamendermefallwarendfabrikjosef — suschnyund-söhne*

...рычит мой транзистор, передавая несусветную чушь — «дас ист гольдене проگرامм»!..

Я вспоминаю, как года два или три назад я возвращался откуда-то из недр Центральной Европы, поезд приближался к Москве, и вдруг на Переделькинском откосе я увидел высокую, сутулую фигуру Катаева; впереди катился шариком Степка, позади тащился старый циник Миша, поодаль в тумане маячила фигура старика, тащившего кошелку с пустыми бутылками...

Потом я вспоминаю рассказы Катаева о Бунине, Мандельштаме, Маяковском, Есенине, вспоминаю о Трех Соснах и Святом колодце и немного пыхжусь от национальной гордости, сижу в недрах Центральной Европы и, напыжившись, бубню:

— Новаторы до Вержболово, что ново здесь, то там не ново...

Катаев написал много книг, все они отмечены его высоким талантом (в разной степени) и мастерством (одинаково), но последняя книга, «Святой колодец», представляет, по моему мнению, явление исключительное. Мне кажется, что именно такую книгу Катаев хотел написать всегда: и в Одессе она, эта книга, маленьким сверкающим облачком бродила перед ним на горизонте, и в хохоте и папиросном угаре «Гудка» вдруг в запотевшем окне мелькала, как странный случайный прохожий, и в устоявшийся быт маститого и всеми уважаемого писателя врывается иногда, как телефонный звонок, как телеграмма, как вызов в дальнюю тревожную командировку...

Многих эта книга шокировала, уязвила, многиежимают плечами: а где же здесь, простите, композиция, куда девалась композиция у такого мастера композиций?..

Я не собираюсь здесь вступать в спор с критиками «Святого колодца», но все же хочу возразить одному очень уважаемому мной писателю, который, признав высокие художественные качества этой книги, обнаружил в ней «отсутствие боли». С блестящим и холодным интеллектуализмом обследовав книгу, он диагностировал в ней «отсутствие боли». Он даже вывел в своей статье формулу идеально здорового литературного произведения: «высокое художественное мастерство + присутствие боли». Личность героя, а таким образом, и личность автора ускользнула от него, и он не почувствовал боли, заглушенной эфирно-кислородной смесью. Дело тут в том, кажется, что он исследовал (обследовал) книгу в здравом уме и твердой памяти и — вот уж действительно! — «при наличии отсутствия боли».

Кроме книг, Катаев создал еще одно произведение, несколько странное, несколько прекрасное, несколько наивное, — это журнал «Юность». Мы, которых сделала «Юность» и которые делали ее, будем всегда вспоминать начало начал, ажиотаж в узких коридорах, наши первые юбилеи, катаевские «хохмы», несущиеся из кабинета, те комнаты в старых графских конюшнях, где зарождалась наша дружба.

Должно быть, нужно ругать «Юность», снисходительно усмехаться при виде странного костюма и неровной походки, но важно то, что она идет своей дорогой, с катаевскими фонариками в глазах.

Итак, мы сидим в удобных креслах, в окружении белых стен, за окнами уже темно, и внучковские ладьи плывут под тоновыми огнями, и Валентин Петрович, хитро улыбаясь, ставит на стол огромную, почти надреальную бутылку кальвадоса.

— Это совсем не тот кальвадос, что пьют у Ремарка, — говорит он. — Тот кальвадос — отвратительная самогонка...

— А вы пили тот кальвадос, Валентин Петрович?

— Ну, что вы спрашиваете, старик? Как вам не стыдно? Еще один такой вопрос, и я лишу вас своего общества. Итак, этот кальвадос совсем другой, чудесный и невероятный...

Порой я вижу, как мы поднимаемся по вполне приличной, чистой каменной лестнице, идем все вместе: наш долговязый друг, и я, и все наши друзья, и Валентин Петрович с бутылкой «этого кальвадоса» в авоське...

Гафур Гулям



Наследие больших поэтов подобно рекам. Оно течет сквозь время, оставаясь неизменным в своем величии, в своей способности утолять духовную жажду людей, хотя, казалось бы, больше, чем что-либо иное, принадлежит своей эпохе и чем дальше, тем более должно бы удаляться от нас. Но как река остается той же рекою, хотя в ней течет уже другая вода, так и великая поэзия обладает даром вечно оставаться самою собою, наполняясь для каждого нового времени новым содержанием, новым смыслом, новой жизнью.

Мне кажется, творчество Гафура Гуляма ожидает именно такая судьба. Отданное целиком своему времени, оно, как река, питалось мощными национальными истоками, и теперь ему нет другого пути, как течь и течь через время, через души новых и новых поколений. Лирик и публицист, с голосом то громовым, то язвительным, то нежным, то задумчивым, он оставил громадное наследие, которое пока еще трудно даже обозреть. Сколько разбросал по жизни его щедрый талант, сколько было задумано сколькому еще предстоит увидеть свет!..

Боль от неожиданной утраты еще слишком свежа, и сама утрата невосполнима для узбекской поэзии. Но утешение есть: Гафур Гулям остается с нами и остается навсегда.

Аскад МУХТАР

В горах

Горный ключ отпирает мне сердце.
Глухо щелкает старый замок.
Поднимается вверх по соседству
чуть заметный прозрачный дымок.
В старом платье своем некрикливом
вновь арчи принимают весну
и, лепясь по кривому обрыву,
выпрямляют его кривизну.
Стоит чуть отойти от машины —
и предстанет игрушкой она...
Все величье и трудность вершины
только здесь понимаешь сполна.



На тропинку я вышел — и вижу,
как наверх по ней дальше иди...
А в машине и впрямь уже выше
не проделать и метра пути.
Ни колеса, ни, слава, ни ссуды
не заменят усилий твоих.
Лишь одно ты и можешь отсюда:
на своих подниматься двоих.
Так целительно снега соседство,
высота непреклонная круч!
И легко в мое старое сердце
входит горный пронзительный ключ...



Месяц молодой, мой старый друг,
вот и вновь мы встретились с тобой.
Кто-то звезды выронил из рук
в белый дым над черною трубой.
Захлебнулась сонная вода,
сонный перепел умолк в кустах.
Все, как было в давние года,
все и так и словно бы не так.
Старый тополь стонет над водой.
И деревьям старость тяжела.
Ствол гудит, как черный столб пустой,
закипает в листьях тишина.
Месяц молодой, мой старый друг,
вновь ты поднял тонкие рога,
как козленок, выбежав на луг,
где паслись седые облака.
Ты ныряешь в воду и у ног
вдруг на миг становишься похож
и на чей-то брошенный клинок
и на кем-то выроненный ковш.
Вот блеснул, пропал, ушел на дно,
в черную, таинственную муть,
только выплывать тебе дано,
ибо ты не можешь утонуть.
Сколько встреч мы помним и разлук,
был я мальчик, стал старик седой,
месяц молодой, мой старый друг,
старый друг мой, месяц молодой...



Цветок опавший превратится в плод.
Упавший плод оставит в мире семя.
Всесильна жизнь!..

Но настигает время
тех, кто замыслил круговой поход.

Забудь слова, что в сердце ранят нас,
живи один, безмолвно и покорно.
Пусть без тебя рождают всходы зерна
и в ночь зимы
листва летит от глаз.

Живи один — и ты умрешь один,
ты весь умрешь — и тень не сохранится,
и не оставит пыльная страница
следа твоих кудрей или седин.

И не метнут стрелу, как лук тугой,
уста, что о тебе сказать могли бы.
И ввек не осенит твоей могилы
то дерево, что посадил другой...

Перевел А. НАУМОВ.



Белла Ахмадулина

Сумерки

Есть в сумерках блаженная свобода
от явных чисел века, года, дня.
Когда! Неважно. Вот открытость входа
в глубокий парк, в далекий мельк огня.

Ни в сырости, насытившей соцветья,
ни в деревьях, исполненных любви,
нет доказательств этого столетья,—
бери себе другое — и живи.

Ошибка зренья, заблуждением духа
возвращена в аллеи старины,
бреду по ним. И встречная старуха,
словно признав, глядит со стороны.

Средь бела дня пустынно это место.
Но в сумерках мои глаза вольны
увидеть дом, где счастливо семейство,
где не попад и пылко влюблены,

где вечно ждут гостей на именины —
шуметь, краснеть и руки целовать,
где и меня к себе рукой манили,
где никогда мне гостем не бывать.

Но коль дано их голосам беспечным
стать тишиною неба и воды,—
чьи пальчики по клавишам лепечут!
Чьи кружева вступают в круг беды!

Как мне досталась милость их привета,
тот медленный, затеянный людьми,
старинный вальс, старинная примета
чужой печали и чужой любви!

Еще возможно для ума и слуха
вести игру, где действуют река,
пустое поле, дерево, старуха,
деревня в три незрячих огонька.
Души моей невнятная улыбка
блуждает там, в беспамятстве, вдали,

в той родине, чья странная ошибка
даст мне чужбину речи и земли.

Но темнотой испуганный рассудок
трезвеет, рыщет, снова хочет знать
живых вещей отчетливый рисунок,
мой век, мой час, мой стол, мою кровать.

Еще плутая в омуте росистом,
я слышу, как на диком языке
мне шлет свое проклятие транзистор,
зажатый в непреклонном кулаке.



Сны о Грузии — вот радость!
И под утро так чиста
виноградная сладость,
осенившая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
милый родины суровость,
нежность родины чужой.

Спать

Мне — пляшущей под мцхетскою луной,
мне — плачущей любой мышцей в теле,
мне — ставшей тенью, слабою длинной,
не умещенной в храм Свети-Цховели,
мне — обнаженной ниткой серебра,
продернутой в твою иглу, Тбилиси,
мне — жившей, как преступник, — до утра,
озябшей до крови в твоей теплице,
мне — не умевшей засыпать в ночах,
безумьем растлевающей знакомых,
имеющей зрачок коня в очах,
отпрянувшей от снов, как от загонов,
мне — с нищими поющей на мосту:
«Прости нам, утро, прегрешенья наши.
Обугленных желудков нищету
позолоти своим подарком, хаши»,
мне — скачущей наискосок и вспять
в бессоннице, в ее дурной потехе, —
о господи, как мне хотелось спать
в глубокой, словно колыбель, постели.
Спать — засыпая. Просыпаясь — спать.
Спать — медленно, как пригублять напиток.
О, спать и сон посасывать, как сласть,
пролив слюною сладости избыток.
Проснуться поздно, глаз не открывать,
чтоб дольше искушать себя секретом
погоды, осеняющей кровать
пока еще не принятым приветом.
Как приторен в гортани привкус сна.
Движение рук свежо и неумело.
Неопытность воскресшего Христа
глубокой ленью сковывает тело.
Мозг слеп, словно остывшая звезда.
Пульс тих, как сок в непробужденном
древе.

И — снова спать! Спать долго. Спать всегда,
спать замкнуто, как в материнском чреве.

Михаил Львов



Ю б и л е й

М. Дудину

Певец не юный и не новый,
К могильной мгле на полпути,
Свой юбилей полувековой
Хочу в Казани провести

Не потому, что мыслю гордо
Внимать хвале, отринув брань,
А потому, что этот город
Мне — как Есенину Рязань.

И я, по совести признаться,
Хотел бы в редкий день такой
Хоть в малой мере оправдаться
За все, что сделал я с собой,

Перед землею, с детства близкой,
Перед отцовским языком,
Перед душою материнской
И материнским молоком.



Обожаем властителей дум,
Воздвигаем умам обелиски.

«У тебя осердеченный ум!» —
Это Герцену пишет Белинский.

Из ушедшего века строка,
А и нынче нужна до зарезу,
Когда сердце, как в стужу рука,
Прикипает порою к железу.

Страшноваты умы без души.
Ни любви, ни восторга, ни гнева.
Береги, не гаси, не туши
Ту лампаду, что носишь ты слева.

О, не дрогни же, сердце, держись!
Ты ведь зло от добра отличаешь,
И, как сложится Век или Жизнь,
Ты не меньше, чем ум, отвечаешь.



Прожить, как Пришвин, восемьдесят лет,
Иль, как Толстой, дожить до девяноста,
Или, как Шоу, дотянуться до ста —
Все будет мало, здесь пределов нет.

Еще избегаю по ступенькам лет.
С эпохой вместе поднимаясь вверх,
Еще я встречу двадцать первый век!
Подумать только — двадцать первый век!

Каким войду я в тот далекий век!
Похожим на бродягу иль на бога!
И стал мне интереснее намного
И этот продолжающийся Век.



Да, есть во мне народное,
Упрямое,
Упорное,
Здоровое, природное,
Бесстрашное,
Задорное,
Умеющее

труд

нести,

И все одолевающее,
И раскисать от трудностей
Никак не позволяющее.
Оно восходит к предкам,
К моим забытым прадедам
С

их —

и здоровьем редким

и

с их мышлением праведным.

Большое, настоящее

В наследство

Мне оставлено,

И что-то от себя еще

Мной

Туда добавлено.

Михаилу Львову в эти дни исполняется пятьдесят лет. Он принадлежит к тому поколению советских поэтов, голос которых окреп и возмужал в огне Великой Отечественной войны.

И пусть давно отгремели бои — солдатская муза М. Львова по-прежнему славит мужество и честь, долг и любовь к Отчизне.

В своих стихах поэт всегда молод. Он в постоянном поиске.

«Юность» сердечно поздравляет своего старого друга Михаила Львова с юбилеем и желает ему доброго здоровья и вдохновения.



Ал.
Горловский

время фантастики



АЛ. ГОРЛОВСКИЙ. ВРЕМЯ ФАНТАСТИКИ.

Фантасты «обживают» будущее. Уже открыты и названы планеты, на которых человек встретит подобных себе... Уже изобретены фотонные и иные звездолеты, открыто непостижимое нуль-пространство и даже найден способ транспортирования человека через необъятные просторы Вселенной... Кажется, благодарным потомкам останется немного: открыть открытое, осуществить изобретенное да уточнить карты неизвестных галактик — все остальное уже сделано за них дотошными фантастами XX века.

УЖЕЛИ ПИФИИ XX ВЕКА!

Наставительные дяди солидно объясняют: «Наш народ мечтает о будущем... Но как бы хотелось приоткрыть дверь в светлый мир нашего завтра, ради которого нам, строителям коммунизма, придется преодолевать огромные трудности, а подчас терпеть и лишения» (цитирую статью о фантастике В. Немцова).

Как видите, все очень просто и ясно: народ терпит и преодолевает трудности, а фантасты — этикие пифии XX века — понемножечку приоткрывают перед ним дверь в светлое завтра. Почти как у древних: хочешь узнать о будущем — приноси свою жертву оракулам и слушай голос богов. Но вот беда: нынче мы не верим в богов и еще меньше — в оракулов. Да и мрачноваты эти «светлые» тирады, в которых коммунистическое завтра слишком уж начинает смахивать на тот самый вчерашний рай, который обещали в будущем за страдания нынешние. Разве незнание научной фантастики ограничило революционность Корчагиных?

Что же касается фантастов... В странное попали бы мы положение, вздумай представлять себе будущее по их произведениям. Это будущее столь же различно, сколь различны социальная действительность и мировоззрение этих фантастов.

Судите сами: у Р. Бредбери ХХI век — это сожжение книг, над головами проносятся с душераздирающим ревом бомбардировщики, душа человека оглушена страшным реактивным воем, подавлена и обворована чудовищным телевидением. А у Стругацких ХХI век: люди обживают далекие планеты, открывают новые тайны природы, совершают подвиги во имя дружбы, любви, человечества.

У Ф. Поола и С. Корнблатта в романе «Операция «Венера» будущее — это теснота на Земле, разделение людей на замкнутые касты, гигантские плантации рабов и хищнический захват жизненного пространства на других планетах. А у И. Ефремова — необъятные просторы родной планеты, торжество разума, свободы, справедливости, полеты к иным мирам — извечный поиск пытливого ума человека, стремление найти в бескрайней Вселенной близких себе по разуму.

И, наконец, разве не с фантастом Уэллсом приключился тот самый казус, когда писатель не поверил в реальность ленинской мечты преобразования отсталой России?

Но, может быть, тогда смысл и польза научной фантастики в том, что, пропагандируя науку, она поднимает и читателя до уровня передовых научных идей? Приходилось и нам встречаться с подобным взглядом, равно как и с великими похвалами научной фантастике за то, что позволяет она высказывать иной раз те самые весьма сомнительного свойства идеи, которые ни один строгий научный журнал не опубликует, поскольку ни фактами, ни математическими расчетами они не подкреплены. И мы уже вполне были готовы поддаться этим взглядам,

как вдруг приходило в голову, что приобщение к уровню передовых научных идей и даже к такой вполне спорной гипотезе, как гипотеза Агреста — Казанцева о вторжении на Землю инопланетных обитателей, вполне возможно и через простую газетную статью. Более того, освобожденная от любовных и иных интриг литературного характера, эта гипотеза в статье окажется даже интересней и целостней, чем в романе того же Казанцева. А с другой стороны, вспоминались то лукавые сказочки С. Лема, то «Марсианские хроники» Рэя Бредбери, в которых ни гипотез, ни научных проблем не содержалось и которые тем не менее к жанру социальной фантастики имели самое прямое отношение.

Все дело в том, что научная фантастика никак не хочет укладываться в коротковатую и весьма жестковатую постель нехитрой утилитарности, несмотря на обилие весьма энергичных и весьма практичных нянек, требующих от нее той самой сиюминутной пользы, о которой в свое время очень точно сказал еще молодой Маяковский: «Когда вы смотрите на радугу или на северное сияние, — вы их тоже ругаете? Ну, например, за то, что радугой нельзя нарубить мяса для котлет, а северное сияние никак не пришит вашей жене на юбку? Или, может быть, вы их ругаете вместе и сразу за полное равнодушие к положению трудящихся классов Швейцарии?».

Конечно, «наука умеет много гитик», как гласит загадочная формула карточного фокуса, а научная фантастика — тем более, но все-таки, осмелимся утверждать, привлекает и увлекает она отнюдь не выгодами своими или пользами. Секрет ее успеха скорее всего в том, что фантастика — это прежде всего литература, и литература, заметьте, художественная, та самая, что способна без всяких Черноморов уносить своих читателей за тридевять земель на крыльях художественного вымысла, только доверься ее силе. И научная фантастика — это тот особенный род литературы, что вырос на рубеже поэзии и прозы, соединив в себе романтичность и возвышенность первой с доступностью, простотой и увлекательностью второй. Объединив в себе столь разные качества, фантастика вдруг обнаружила, что она может не просто выдумывать или предугадывать ближайшее будущее, — она может говорить о вещах более серьезных и важных — о настоящем. Ибо что такое настоящее, как не точка столкновения прошлого и будущего? И фантастика со всей своей юношеской страстностью ввязалась в эту борьбу напористо и бескомпромиссно.

Вот откуда явился это обостренное восприятие времени! Вот откуда возник столь частый сюжет фантастики — столкновение разных эпох! Вот почему фантастика оказалась так язвительно памфлетна и открыто публицистична! Она вдруг стала, если хотите, озорным и поэтическим философским романом XX века. Уж не оттого ли питают такую обоюдную антипатию скучные, пресные, практичные люди и веселая, задорная, умная научная фантастика?

ИТАК...

Пока идут споры, чем отличается она от других родов литературы, мы каким-то безошибочным чутьем отличаем ее, какими бы обложками она ни прикрывалась, какой бы серьезной или легкомысленной она ни была.

Когда-то Герберт Уэллс, отстаивая право на «свою» фантастику, сравнивал ее с фантастикой Жюль Верна и писал: «Но мои повести — это фантазии совсем другого рода...» Прошло немногим более полвека,

а на наших полках книги Ж. Верна и Г. Уэллса стоят рядом, вместе с книгами И. Ефремова, Г. Гора, братьев Стругацких, Р. Бредбери, Р. Шеколи, С. Лема, Ю. Долгушина, А. Кларка, Е. Парнова и М. Емцева, А. Азимова и др.

Что их объединило? Научность? Но ведь давно принадлежат прошлому научные предвидения Ж. Верна, как никогда не будут принадлежать будущему приключения мистера Скейлмерсдейла в Стране фей. И тем не менее они выстраиваются в один книжный ряд, объединенные главным — романтикой поиска и необычных приключений, романтикой умных и мужественных людей. Капитан Немо и Иван Жилин, бурнопламенный заведующий внешними станциями Земли Мвен Мас и подчеркнуто прозаический пилот патрульной ракеты Пиркс, суховатый доктор роботопсихологии Сьюзен Кэлвин и наш современный геолог Александров — это, безусловно, разные люди! Но всех их роднит напряженная работа трезвого ума и потребность немедленного активного действия. Именно эти качества ставят их каждый раз лицом к лицу с неизведанным и побуждают идти до конца, образуя извилистый и стремительный сюжет-кроссворд, сюжет-загадку, решая которую мы тоже приобщаемся к умственной работе этих героев, к их чувствам и переживаниям. И такая работа нам под силу, потому что в самих этих героях воплощены наши лучшие черты, наши возможности, потому что прототипы их — мы.

Могут спросить: а при чем же тут фантастика? Разве в реалистических романах нет умных и действующих героев? Конечно же, есть! Но фантастика недаром близка поэзии: у нее те же преимущества, которые так точно сформулировал Владимир Соловьев, автор пьесы «Великий государь», когда он объяснял Алексею Толстому преимущества поэзии в исторической драматургии: «Пойми: я сразу начну действие. Мне не надо ни бытовых подробностей, ни соответствующих обрядов, ни мотивировок... В прозе же надо быть обязательно бытописателем. И язык у тебя будет более неуклюжим, каким он в действительности был в то время, и на бытовые мотивировки у тебя уйдет половина времени, и романтического начала того не будет, которое в исторической пьесе совершенно необходимо». Разве не то же самое в фантастике?

В романе С. Лема «Возвращение со звезд» надо мотивировать поразительно быстрое перерождение общества, и писатель в двух строчках объясняет, что причина этих перемен — два изобретения: благодаря одному люди научились подавлять так называемые агрессивные центры мозга, благодаря другому — уничтожили инерцию... С. Лем вовсе не намерен как-то обосновывать свои изобретения: они его интересуют только как возможность, допущение — не больше.

Фантастика — это способ обострить ситуацию и тем решительней проявить торжество человека-победителя, его ума. И разве не затем насыщают фантасты свои произведения незнакомыми терминами и реалиями фантастического быта, чтобы вырвать своего героя из привычной обстановки и тем самым отчетливее обнажить в нем романтическое, духовное начало? Разве не для того же были нужны А. Грину его Зурбаган и Гель-Гью, никогда не существовавшие ни на одной из карт мира?

И все-таки фантастика не была бы фантастикой, если бы, говоря словами Г. Уэллса, «странное свойство или странный мир» были бы только литературным приемом, таким фоном для персонажей. Дело в том, что среди разнообразных персонажей фантастических произведений есть еще один постоянный

и неизменный герой — сам читатель. Вот для него-то, одного из главных действующих лиц, фантастика не фон, а нечто представляющее самостоятельный интерес.

...Английский астроном Фред Хойл рассказывает о гигантском Черном Облаке, которое обитает в просторах Вселенной и является бессмертным живым существом. Польский фантаст Станислав Лем также повествует о гигантском живом существе, которое является одновременно и планетой, — таинственном Солярисе. И хотя в предисловии к своему роману Хойл сам характеризует его всего-навсего как «шалость пера, написанную в часы отдыха», строчкой дальше он уже совершенно серьезно говорит, что «почти все, что рассказано здесь, вполне могло бы произойти на самом деле».

А Станислав Лем в предисловии к русскому изданию «Соляриса» пишет: «Думаю, что дорога к звездам и их обитателям будет не только долгой и трудной, но и наполненной многочисленными явлениями, которые не имеют никакой аналогии в нашей земной действительности. Космос — это не «увеличенная до размеров Галактики Земля». Это новое качество... «Солярис» должен был быть (я воспользуюсь терминологией точных наук) моделью встречи человечества на его дороге к звездам с явлением неизвестным и непонятным. Я хотел сказать этой повестью, что и в космосе нас наверняка подстерегают неожиданности, что невозможно всего предвидеть и запланировать заранее, что этого «звездного пирога» нельзя попробовать иначе, чем откусив от него. И совершенно неизвестно, что из всего этого получится».

Неужели фантасты и в самом деле уверены, будто им удалось предугадать неизвестное? Но зачем? Их читателям-современникам вряд ли удастся выйти за пределы хотя бы Солнечной системы. Читатели же потомки будут читать уже иных фантастов, чьи предвидения окажутся настолько точнее, насколько подвинется за это время человечество в познании мира. Но разве открытие способностей дельфинов не явилось для нас своим, сегодняшним земным солярисом (хотя оно было предугадано древними)? Разве не встречается человек с неизведанным на каждом шагу своего земного поиска, будь то бурение новой скважины, или открытие нового элемента, или просто познание характера другого человека?.. И разве главное в этих книгах — модель неизведанного, а не поведение людей, встретившихся с этим неизвестным?

Дорога к звездам началась не сегодня, а тысячи лет тому назад, и в этом пути человеку уже сегодня нужны новые качества наряду с теми, что получены им от традиции. Уже сегодня необходимо умение объять необъятное, сопоставить несопоставимое...

ВИТАМИН ГЕНИАЛЬНОСТИ

Сотни миллионов людей видели падающие яблоки. Но только один из них связал это падение с другими аналогичными явлениями и сформулировал всеобщий закон тяготения. Это был Исаак Ньютон. И люди справедливо называли его гением, правда, несколько не удивившись тому, что подобная мысль почему-то никому раньше не приходила в голову, хотя падение видели и даже испытывали буквально все.

...Весь XIX век был веком торжества волновой теории света, и здание физики казалось законченным настолько, что когда молодой студент Макс Планк сказал своему профессору, что он решил стать физиком-теоретиком, старый профессор сочувственно

произнес: «Молодой человек, зачем вы хотите себе испортить жизнь? Ведь теоретическая физика уже в основном закончена... Стоит ли браться за такое бесперспективное дело?» Но именно Макс Планк положил начало современной физике, начисто разрушившей наивную категоричность старого профессора. И сделал он это, задавшись удивительно простым вопросом: «Почему за столько миллионов лет мир не погиб от «ультрафиолетовой смерти»? Ведь в самом деле, если энергия непрерывно излучается волнами, то, например, Солнцу ее хватило бы всего на несколько тысяч лет. А потом оно исчезло бы, распылившись энергией во Вселенной.

Идея о квантах, то есть о прерывном излучении, была гениальной идеей, но возникла она опять-таки из элементарного, как нам кажется теперь, вопроса. Очевидно, умение заметить новое в примелькавшемся — одно из непременных свойств гения, не только продолжающего, но почти всегда ломающего традиции.

Примечательны в этом смысле слова величайшего физика современности Альберта Эйнштейна: «Иногда я себя спрашиваю: как же получилось, что именно я создал теорию относительности? По-моему, причина этого кроется в следующем. Нормальный взрослый человек едва ли станет размышлять о проблемах пространства-времени. Он полагает, что разобрался в этом еще в детстве. Я же, напротив, развиваясь интеллектуально так медленно, что, только став взрослым, начал раздумывать о пространстве и времени. Понятно, что я вникал в эти проблемы глубже, чем люди, нормально развивавшиеся в детстве». Горькая ирония по поводу «нормально развивавшихся» людей — это ирония по поводу традиции мышления.

Фантастика — умение представить непредставимое — расшатывает привычные представления, позволяет в обычном увидеть необычное:

Случайно на ноже карманном
Найдешь пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

— Позвольте, — быть может, возразят мне, — но Блок имел в виду поэта. А мы трезвые люди, и фантазировать нам вовсе ни к чему.

— Позвольте, — отвечу я тогда. И приведу слова одного из самых трезвых людей на земле, которого, однако, окрестили кремлевским мечтателем. «Он, — говорил этот человек о другом, — обладает большой фантазией. Эта способность чрезвычайно ценна. Напрасно думают, что она нужна только поэту. Это глупый предрассудок! Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчисления невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей ценности...» Так говорил Владимир Ильич Ленин, и говорил он это на XI съезде партии...

«Надо мечтать!» — писал Ленин в одной из своих работ, которая называлась «Что делать?». Надо мечтать!

И если уж цитировать, то вот еще несколько цитат:

«Формой развития естествознания, поскольку оно мыслит, является ГИПОТЕЗА» (Энгельс).

«...в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее («стол» вообще) ЕСТЬ известный кусочек ФАНТАЗИИ (*versus*: нелепо отрицать роль фантазии и в самой строгой науке)» (Ленин).

«Надо разрешить теоретику фантазировать, ибо иной дороги к цели для него вообще нет» (А. Эйнштейн).

«На деле наша научная работа не идет строго логическим путем, при котором каждое следующее положение вытекает из достаточного числа предпосылок. Точнее сказать, мы ДОГАДЫВАЕМСЯ... Скажем прямо, именно сейчас мы находимся в таком периоде развития, когда приходится покончить с так называемым здравым смыслом как конденсированным результатом опыта прошлого, потому что он вошел в конфликт с совершенно новыми представлениями» (А. Ф. Иоффе).

«Исследование редко направляется логикой; оно большей частью руководится намеками, догадками, интуицией... Основная ткань исследования — это фантазия, в которую вплетены нити рассуждений, измерения и вычисления» (А. Сент-Дьердьи).

Так говорят крупнейшие ученые.

Не случайно, кстати, что среди фантастов немало ученых, пришедших в литературу из науки. А. Азимов — биохимик; И. Ефремов — палеонтолог; Ч. Оливер — антрополог; А. Кларк и Ф. Хойл — астрономы; С. Лем — врач и философ; Е. Парнов и М. Емцев — химики. Так, может быть, и озорство фантастики — все ее алогизмы и парадоксы — от торжества зазорной свободной человеческой мысли над филистерским благоразумием очевидности прошлого опыта?..

Есть у Лема целый цикл веселейших рассказов о космическом враге и хвастуне Ийоне Тихом. Что барон Мюнхгаузен! Ему и не снились такие фантазмагории, о которых невозмутимо повествует Тихий. Так, например, во время одного из его путешествий у ракеты испортился регулятор мощности, и герой вдруг столкнулся с самим собой вчерашним, затем завтрашним, и вскоре ракета наполнилась Ийонами Тихими в возрасте от пяти до семидесяти лет. Не правда ли, типичная чепуха? Зачем только тратят на нее время и бумагу? Но не торопитесь с приговором, дорогой читатель, потому что, в отличие от знаменитого барона, Тихий все великолепно объясняет с точки зрения теории относительности. В самом деле, если ракета превысила скорость света, то образовалась так называемая «петля времени», в разных участках которой время течет с разной скоростью, так что теоретически невозможного в рассказе Тихого вроде и нет. Или другая новелла, о том, как в одном из отдаленных «уголков Космоса» появился хищный картофель, который нападает на пролетающие мимо ракеты. Только не торопитесь снова говорить, что это абсурд. Ведь признали же мы реальность Черного Облака или Соляриса, куда более невозможных, чем очевидный факт эволюции и приспособления живого к новым условиям. Конечно, рассказы Ийона Тихого никакая не пропаганда научных идей, а всего-навсего веселые анекдоты, озорная издевка над самодовольными невеждами, над так называемым «здравым смыслом», который очень точно определил в «Философских тетрадах» В. И. Ленин: «Здравый смысл — предрассудки своего времени». Но есть в этих рассказах и другой здравый смысл, уже без кавычек, здравый смысл человека, которому уже недостаточно привычных земных аналогий, потому что он уже осознал себя частицей того великого мира, который мы называем Космосом и частным случаем которого является наша Земля.

Может быть, в том-то и секрет поэтичности современной научной фантастики, что она поднимает человека до масштабов Вселенной. Если раньше о чем-то невозможном говорили: «Нельзя представить», — и это означало предел человеческих знаний, то уже сегодня мы знаем тысячи таких вещей, которые воистину невозможно представить, потому что в зримом мире нет соответствующих аналогий, как нет аналогии электрону, который одновременно и частица

и волна. Парадоксы и алогизмы потому и составляют важнейшую часть научной фантастики, что расширяют пределы нашего сознания. Перекидывая связи между разнородными понятиями, фантастика как бы сжимает время-пространство, сближаясь с поэзией своим емким, сконденсированным воображением и полетом мечты. И, подобно поэзии, она требует от своего постоянного героя-читателя, чтобы он был читателем-творцом. Она его требует, она же его растит, помогая размахнуть могучие крылья воображения, подняться над миром привычных представлений и взглянуть на сущее не с высоты своих 160—180 сантиметров, а с необозримых высот человеческого разума.

ПОЛИГОНЫ ИСТОРИИ

Произведением советской научной фантастики, означившим собою качественно новый этап в ее развитии, явился роман И. Ефремова «Туманность Андромеды».

Не репортаж из будущего, хоть сам автор и утверждал, будто роман вызван был желанием показать будущее изнутри, но глубокая тревога за последствия нынешнего дня, актуальность, публицистичность, полемичность — вот что определило достоинства этой книги. В ней вовсе не было академической бесстрастности, описательности и созерцательности, так характерных для иных романов-утопий, авторы которых, кажется, больше всего озабочены, как бы чего не пропустить из аксессуаров предполагаемого будущего. Нет, в центре романа оказались не те или иные технические новшества и прозрения, а нравственно-эстетические проблемы развития личности, ее культуры, ее связи с предшествующими веками, с живой природой, то есть те самые вопросы, что оказались в центре общественного внимания во вторую половину 50-х годов.

Всем своим романом И. Ефремов спорил с примитивной утилитарностью, техницизмом, односторонностью, утверждая историю человечества как историю развития прежде всего личности, прежде всего духовного в человеке.

Принимая передачу с неведомой планеты, герои Ефремова видят ее обитателей, поражающих своей красотой, и один из героев восклицает: «Они прошли более сложный путь развития, чем мы: они красивей!»

Летят сквозь беззвездные просторы наши дальние потомки. Сейчас сбудется тысячелетняя мечта человечества: люди встретятся с подобными себе, и в этот

И. Ефремов.
«Туманность
Андромеды».



Иллюстрация
художника
Н. Гришина.

то момент «самым важным, захватывающим и таинственным был вопрос: каковы те, что идут сейчас нам навстречу? Страшны или прекрасны они?» Именно так! Самым верным и надежным показателем эволюции является красота как выражение совершенства.

Эта мысль все настойчивее пробивает себе дорогу в произведениях И. Ефремова, становясь основой таких книг, как «Юрта Ворона» и «Лезвие бритвы». Эстетическое предстает не как отдельная, частная область жизни, но как основа ее развития. «Никогда не говори: красота — пустяк, — произносит один из героев «Юрты Ворона». — Вовсе она не пустяк, а сила большая, через нее и жизнь в правильное русло устремляется!»

Заметьте, что и в знаменитом четвертом сне Веры Павловой в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» судьба человечества тоже предстает через его нравственное и эстетическое развитие.

Действительно, не слишком ли суженно привыкли мы понимать слова «красота», «эстетическое»? Когда-то, когда речь шла о куске хлеба, эстетика для миллионов могла казаться барством, снобизмом. Но теперь... Теперь эстетическое, выращенное человечеством в самом себе, становится столь же необходимо, как хлеб. Недостаток эстетического в восприятии мира, как нехватка витаминов, влечет нравственное уродство — нравственный рахитизм.

Вот почему, как и романтическая поэзия, фантастика нетерпима к душевной подлости, косности, ограниченности. Высокий нравственный критерий, который входит в произведения фантастов вместе с образом будущего, определил яростную антимещанскую направленность фантастики. Она готовит тот самый «новый бунт в грядущей коммунистической сытости», к которому призывал еще В. Маяковский.

В романе С. Лема «Возвращение со звезд» космонавт Эл Брегг возвращается с друзьями на Землю после многолетнего пребывания в космосе. Но, странное дело, не восторженный прием, а отчужденность встречает их на Земле. И дело вовсе не в том, что за время их пребывания в космосе для землян прошло почти полтора века. Дело в тех социальных переменах, которые вызвали два открытия: изобретен аппарат, уничтожающий инерцию, так что гибель в результате несчастного случая почти исключена, и открыто вещество, которое подавляет в человеке так называемые агрессивные центры. Теперь не то что ударить, но даже просто толкнуть или обидеть человека эти бетризованные люди не могут. Так одной прививкой решены все сложнейшие вопросы воспитания. Человеку незачем рисковать, не к чему стремиться, потому что все достигнуто, все за него выполняют послушные роботы, людям же остается только наслаждаться жизнью... И страшное духовное омертвление воцаряется на Земле. Главные человеческие черты — смелость, самоотверженность, стремление к знанию — для этих людей только пережиток далеких времен. «Только в очень старых фильмах можно увидеть нечто подобное, — замечает ленивым голосом Аэн Аэнис, довольно известная актриса того времени. — Этого никто не сможет сыграть. Не удастся». Беспомощные, они, даже любя, не в состоянии защитить свое чувство. Когда Эл Брегг, влюбившись в свою соседку, увозит ее от молодого мужа, она не сопротивляется, хотя продолжает любить мужа: ведь сопротивление может обидеть Брегга, а она бетризована!

Этот страшный безлюбый мир стал возможен лишь потому, что благоденствие человеческого тела, просто удобство, просто сохранение жизни все эти люди возвели в высший ранг. Но ведь испокон веков самые

страшные преступления, самые чудовищные предательства на Земле совершались как раз во имя сохранения жизни, удобства, шкуры! Оно далеко не безобидно, это «сверхблагополучное» общество. Люди, превратившиеся в потребителей, не могут не прийти к жестокости. Эл Брегг случайно попадает на склад, где ждут своей очереди на переплавку устаревшие или поврежденные роботы, эти новоявленные рабы гипотетического будущего. И самый барак, в котором они находятся, и их жалобы, и колонна мартена, высящаяся, как труба крематория, — все это убийственно напоминает страшные лагеря смерти, изобретенные гитлеровцами. Ничего, скоро эти красивые, улыбающиеся, довольные люди во имя своего спокойствия научатся снова убивать живых. Круг замкнется. Благодушествующий обыватель, якобы во имя человечности отказавшийся от риска и поиска, придет к откровенно фашистской бесчеловечности.

Станислав Лем сам определил свой роман как роман-предупреждение. Разве не об этом жанре мечтал в свое время еще В. И. Ленин? По воспоминаниям М. Горького, обращаясь к А. Богданову, он говорил: «Вот вы бы написали для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили землю, растрачив всю нефть, все железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, синьор махист!» Последние годы фантасты многих стран разрабатывают этот жанр, потому что мы, с нашим современным знанием противоречивости современных общественных тенденций, не можем удовлетвориться только романами-утопиями, только научными фантазиями. История не апробируется в лабораториях. Ее не переиграешь заново. И фантастика взяла на себя роль некоей социальной лаборатории, в которой как бы проигрываются разные варианты на тему «А что случилось бы, если...». Подчас картины могут быть и неприятны, но ведь это только затем, чтобы отчетливее видеть: по этому пути двигаться нельзя.

Такова повесть Стругацких «Хищные вещи века», в которой рассказывается о людях, отравивших себя удовольствиями, людях опустошенных, искалеченных нравственно. Может быть, иных читателей именно эта повесть Стругацких впервые заставит задуматься, насколько опасно для человека сделать наслаждение целью жизни, подвергнуть себя нравственному и физическому самоубийству, медленному, незаметному и потому особенно страшному. И я не знаю, что здесь опаснее: то ли, что читатель не разберется в «экономическо-социологической» основе Страны Дураков, или то, что, разобравшись в ней, он облегченно вздохнет: «Ну, это-то меня лично не касается, потому что происходит в капиталистическом мире». Я очень хотел бы надеяться, что такой читатель все-навсего плод моей фантазии, но иные газетные и не-газетные выступления почему-то лишают меня моей благой уверенности.

Несколько лет тому назад «Комсомольская правда» опубликовала письмо из редакционной почты. Автор его категорично заявлял, что незачем осваивать космос, раз это стоит больших средств, а лучше эти средства использовать на улучшение быта его, автора, и подобных ему людей. Это письмо вспомнилось мне, когда я смотрел совсем не фантастический, а, напротив, сугубо документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Помните, как лихо отплясывают в том фильме обыватели, как самозабвенно танцуют они под нехитрую мелодию и наслаждаются жизненными благами? А в это время гитлеровские солдаты уже шагали по Европе. Нет, сами они не были фашистами, эти наслаждающиеся людишки, но дорогу фашизму прокладывали и они. Кинопублицист на документальном материале вскрыл



А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Попытка к бегству.
Иллюстрация художника Р. Авотина.



Чэд Оливер. Ветер времени.
Титульный лист художника А. Соколова.

эту связь между обывательским равнодушием и фашизмом в недавнем прошлом. Фантасты показывают, чем может обернуться эта тяга к безмятежному существованию в далеком будущем. Ведь времена связаны между собой.

Есть у Рэя Бредбери небольшой рассказ, в котором эта связь времен выступает во всей обнаженной очевидности. Герой рассказа Экельс отправляется путешествовать в прошлое. Неважно, что такое путешествие невозможно: здесь оно выступает всего лишь как допущение, прием, сближающий дальние времена, как может их сбить киномонтаж. Итак, герой отправляется путешествовать: только что закончились президентские выборы, на которых одержал победу демократический кандидат, и Экельс хочет отдохнуть от тревожащих предвыборных дней. Но в том доисторическом прошлом, куда доставила его фантастическая машина времени, он нечаянно раздавил всего-навсего бабочку. И страшные перемены ожидают его по возвращении в свое время: гибель ничтожной бабочки повлияла на исход выборов, вместо демократа Кейта победил свирепый фашист Дойчер. Таков закон связи времен, говорит писатель: «Раздавите ногой мышь — вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион-миллиард мышей!.. А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит десяти мышей — умрет одна лиса. Десятью лисами меньше — подохнет от голода лев. Одним львом меньше — погибнут всевозможные насекомые и стервятники, сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог: через пятьдесят девять миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющий ВЕСЬ МИР... умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек, нет! Это ЦЕЛЫЙ БУДУЩИЙ НАРОД. Из его чресел вышло бы десять сыновей. От них произошло бы сто — и так далее, и возникла бы целая цивилизация... Раздавите ногой мышь — это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей Земли, в корне изменит наши судьбы... Наступите на мышь — и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь — и вы оставите на Вечности вмятину величиной с Великий Каньон».

Охотно согласимся, что весь этот развернутый ряд может показаться нагнетанием ужасов. Но, может

быть, фантастические картины потому-то и кажутся нам такими ужасными, что слишком много узнаем мы в них реального, сегодняшнего?

Да, времена связаны между собой. И нельзя, подобно героям романа Чэда Оливера «Ветер времени», сделать себе инъекцию, чтобы, погрузившись в сон, перескочить все неудобства сегодняшней жизни и ближайших грядущих лет и проснуться в другом, спокойном и совершенном будущем, которое за время этого сна построят другие, путаясь, ошибаясь и погибая. Надо быть коммунистом, чтобы трезво смотреть в лицо опасности и сражаться с ней, как сражается Саул Репнин, герой повести Стругацких «Попытка к бегству», который возвращается из прекрасного коммунистического завтра в свое время, в гитлеровский концлагерь, где его ждет гибель, но ждет и борьба. Нельзя переложить на других тревоги своего времени, нельзя дезертировать из него.

Мы перешагнули, по крайней мере в своем сознании, через ступень овладения вещным миром. И самая причудливая фантазия о технических новинках нас не поразит. Нам надо увидеть не вещи — самих себя, какие мы есть и какими можем стать в наших потмоках. И писатели-фантасты помогают переосмысливать наше сегодняшнее, чтобы тем самым сокращать и выпрямлять пути в наше завтра.

Сегодня мы открываем фантастику заново, непривычную, вовсе не похожую на то чтение, которое мы прочно связали со своим и иным детством. Нынешняя фантастика напоминает порой ту самую сказочную Индию, за которой снаряжались корабли Магелланов и Колумбов: все, что ни открывалось, все было Индией. Другого имени до поры до времени не знали.

Не так ли сегодня памфлет, утопия, предостережение, а то и просто странная выдумка неудержимого воображения объединились для нас под одним грифом «НФ»? Но в любом своем явлении, связывая воедино, как истинная поэзия, «обе полы своего времени», фантастика поднимает нас на своих крылах, и становится видно далеко во все стороны. В открывающейся с этих высот широте кругозора, обнимающего великие исторические эпохи, в этом воинственно возвышенном, романтическом видении мира читатель постигает прежде всего себя — ЧЕЛОВЕКА.

Приглашение к спору

На вопросы «Юности» отвечает академик Петр КАПИЦА

Когда я вернулся с задания в редакцию, приятель спросил:
— И много анекдотов ты рассказал Петру Леонидовичу?

— Ни одного, — сказал я. — А зачем?

— Как? Даже для затравки? Да ведь все знают, что, прежде чем расспрашивать, его надо рассмешить! Ведь ему было, наверное, дьявольски скучно с тобой и твоими вопросами...

— Боюсь, что он этого особенно и не скрывал, — сказал я. — К концу часа...

— Капица отвел тебе целый час?! Благословляя читателей, которые стоят за твоей спиной...

Изумление моего приятеля не нуждается в особых пояснениях. Цена времени того или иного человека прямо пропорциональна его творческому потенциалу и общественной роли. Любимый ученик и младший друг великого Резерфорда Петр Капица является выдающимся экспериментатором, физиком с мировым именем. Применительно же к советской науке его значение особенно велико: он много и плодотворно занимается организацией научного творчества, созданием рациональной системы массового производства идей и открытий.

Короче говоря, Петр Леонидович Капица принадлежит к кругу людей, чье мнение обладает несомненной общественной значимостью. Это обстоятельство и определило главную тему беседы, которая началась с разговора о роли общественного мнения в социальном и научном прогрессе.

П. Капица. Пять лет назад, выступая с речью о Ломоносове, я говорил о трагедии этого великого русского ученого. Я говорил о том, что он не мог в полную силу проявить свой гений. Он страдал от того, что его работы не были признаны и в родной стране и за рубежом. Соотечественники ценили в нем поэта больше, чем ученого. Он не получил того счастья от творчества, на которое имел право по силе своего гения.

Одна из причин этой трагедии — в изоляции от мировой науки. Другая, не менее важная состоит в том, что в России того времени не было научной общности. Подобно тому как уровень искусства в стране определяется вкусами и культурой общества, так и уровень науки определяется степенью развития научной общности. Если нет передовой,

здоровой научной общности, то сколько бы Ломоносовых ни рождалось, не будет и передовой науки.

Но создание передовой научной общности — крупнейшая задача, и мы обращаем на нее недостаточно сил и внимания. Это труднее, чем отобрать и обучить талантливую молодежь. Для этого нужно планомерное воспитание широких слоев людей, связанных с научной работой. Им нужно привить любовь и уважение к науке, привить желание и умение объективно оценивать достижения науки и поддерживать действительно лучшее в ней. Только общественность, умеющая правильно оценить достижение и отличить его от ложного успеха, может помочь науке, как, впрочем, и искусству, свободно развиваться по правильному пути.

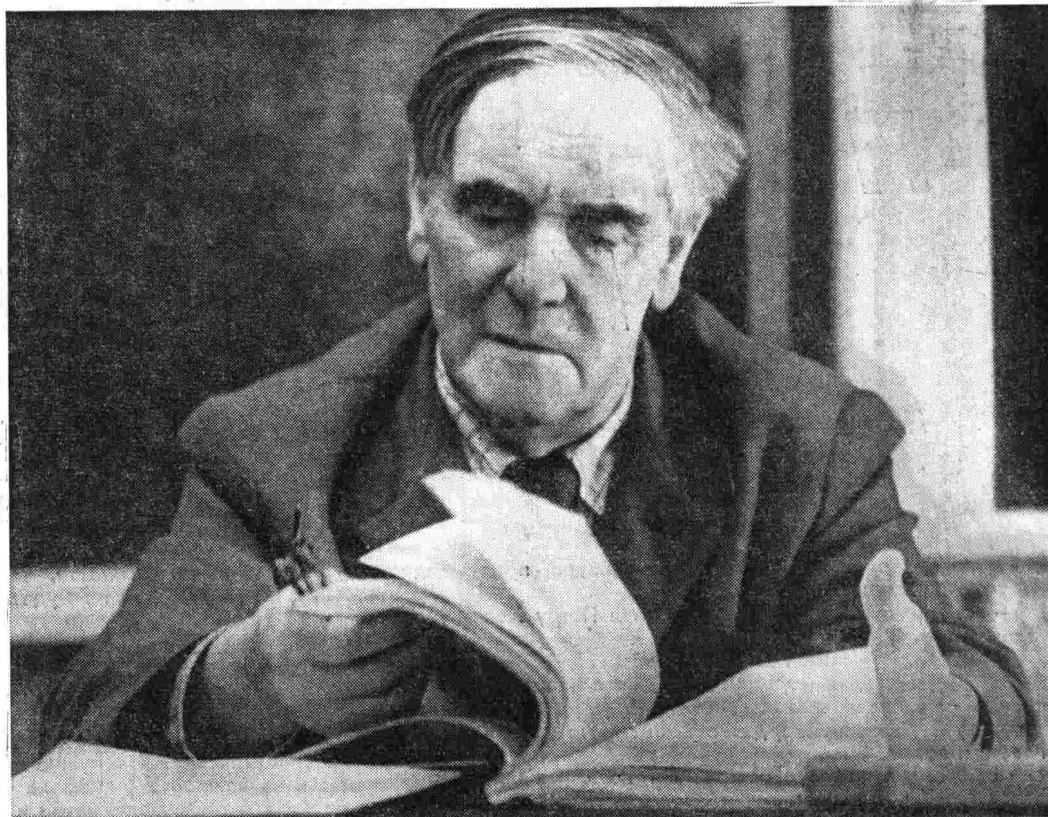
Корреспондент. Говоря о воспитании, вы обращаетесь, видимо, к молодежи, поскольку воспитывать — прямой удел прежде всего тех, кто юн. Какую атмосферу вы считаете наиболее благоприятной для формирования гражданской зрелости и принципиальности молодого человека?

П. Капица. Если ответ будет стандартен, то не по моей вине.

Корреспондент. Письма, которые получает редакция нашего журнала, ежедневно напоминают нам, что истины, прописные для людей взрослых, в пятнадцать лет воспринимаются как открытия и откровения.

П. Капица. Ну что ж, авторитетное и здоровое общественное мнение может создаваться только в атмосфере живого и деятельного мышления, в атмосфере поиска и продуктивного творчества. Непременным условием такой атмосферы является столкновение различных мнений, обмен спорными мыслями, дискуссия, диспут. За последние годы мы сделали колоссальный шаг вперед в этом направлении. И все-таки мы еще плохо дискутируем, без достаточного умения и культуры.

Тринадцать лет — с 1921 по 1935 год — я работал в Англии, в Кавендишской лаборатории. За эти годы я стал ученым. И все эти годы я провел в атмосфере споров, публичных и кулуарных; чаще всего они носили научный характер, но порой — общественный. Пользу их трудно переоценить.



Академик
П. Капица.

Ведь дискуссия — это сама диалектика. В столкновении противоположностей рождается истина. Когда в какой-либо науке нет противоположных взглядов, нет борьбы, то эта наука идет по пути к кладбищу, она идет хоронить себя. Легче игнорировать своего противника, чем спорить с ним, но отвернуться от противника, не зная его, «закрыть» его — значит нанести ущерб науке, истине, обществу.

В дискуссиях оттачивается ум, укрепляется мнение, растет число сторонников истины. Дискуссии должны воспитывать. А для этого их нужно уметь вести. Этим мы похвастать не можем, в том числе и у себя в Академии наук. Начать хотя бы с председателя любого совещания, конференции, семинара. Его роль обычно сводится к тому, чтобы открыть и закрыть заседание и следить за регламентом. А ведь он должен направлять разговор, ставить вопросы, умело и тонко обострять дискуссию, если она гаснет, наконец, резюмировать ее.

Умению полемизировать молодым людям нужно учиться у своих дедов, делавших революцию. Тогда ораторское искусство стояло высоко, потому что от слова порой зависело все. Я считаю, что молодежи нужно всячески развивать откровенный обмен мнениями и не бояться их столкновений.

Корреспондент. Говорят, что из двух спорящих всегда один неправ. Исходя из этого позволительно спросить: не станет ли трибуна спора источником распространения неверных взглядов?

П. Капица. Чепуха. Во-первых, из двух спорящих оба могут быть неправы, а могут быть и оба правы. Во-вторых, истину нельзя знать заранее, и прийти к ней и проверить ее можно только в результате борьбы противоречий. В-третьих, заблуждения

всегда отступают под напором истин, несмотря ни на какие препятствия; на худой конец это вопрос времени или количества жертв, о чем говорит история человечества, начиная с костров инквизиции и даже раньше. А в-четвертых, я хотел бы поговорить о праве человека на ошибки. Я припоминаю одну свою беседу с Горэйсом Лэмбом. Он рассказывал мне, как слушал лекции Максвелла. Он говорил, что Максвелл при выводе формул на доске часто ошибался и сбивался. Вот в том, как Максвелл искал и поправлял свои ошибки, Лэмб научился большему, чем из любой прочитанной им книги. Для Лэмба самым ценным в лекциях Максвелла были его ошибки. И я считаю, что ошибки гениального человека так же поучительны, как и его достижения. Я уже говорил прежде, что ошибки не есть еще лженаука. Лженаука — это непризнание ошибок.

Можно сказать, что ошибки — диалектический способ поиска истины. Никогда не надо преувеличивать их вред и уменьшать их пользу.

Корреспондент. Применительно к науке это положение вряд ли вызывает сейчас активные возражения. Но относится ли оно только к науке?

П. Капица. Думаю, нет. Законы развития всюду одни и те же, и результаты сходные, только скорость процесса разная.

Вот у меня на стене вы видите репродукцию рисунка Пикассо. Канонам классического реализма этот рисунок никак не отвечает. Но нравится он поголовно всем. Современное полотно, на мой взгляд, должно приглашать зрителя к участию в творчестве. Зритель должен додумывать и творить картину вместе с художником. Глядя, скажем, на этого пикассовского «Дон-Кихота», вы и я видим его

по-разному, вкладывая в рисунок частицу самого себя, благо для этого есть достаточный простор. Конечно, такое искусство сложнее для восприятия, чем, скажем, полотна Брюллова.

Не так давно в «Огоньке» я читал высказывания нашего известного художника Павла Корина о Пикассо. Он побывал в Америке и увидел там «Гернику», которая выставлена, кажется, в коллекции Гугенхайма. И Корин изменил свое мнение о Пикассо. Это очень интересно: ведь Корин абсолютно искренен и в живописи абсолютно ортодоксален, и вдруг «Герника» производит на него такое впечатление! Совершенно очевидно, что столкновение различных художественных манер, стилей и творческих кредо столь же полезно для развития искусства, как борьба мнений для прогресса в науке. Общество выигрывает от полемики, от откровенного обмена мнениями. Это лишний раз показала экономическая дискуссия в нашей печати, которая сыграла полезную роль в подготовке решений партии о перестройке планирования и руководства промышленностью.

Корреспондент. Кстати, об экономической перестройке. Это серьезный рубеж, предоставляющий огромные возможности для молодежи. Однако нередко высказывают озабоченность, в какой мере молодые люди действительно готовы для инициативной роли в хозяйственной жизни. Очевидно, к самостоятельности следует готовиться загодя...

П. Капица. Конечно, надо всячески развивать у молодежи вкус к общественной жизни, и чем раньше, тем лучше. Чаще всего мы наблюдаем, что только в молодости у человека наиболее ярко проявляется темперамент, который делает его прогрессивным, под старость хочется жить спокойно. Поэтому мало сказать о молодых: они — наше будущее. Они и наше настоящее. По мере того как ты становишься старше, только молодежь, только твои ученики могут спасти тебя от преждевременного мозгового очерствения. Кто учит своего учителя, как не его ученики?! «Капица,— говорил мне Резерфорд,— ты знаешь, что только благодаря ученикам я себя чувствую тоже молодым...».

Корреспондент. В одном из своих сравнительно недавних выступлений вы говорили о том, что необходимо создать клуб ученых, где можно было бы собраться и в непринужденной обстановке поговорить о насущном. Вы вспоминали, что, когда вы работали в Англии, самые интересные беседы происходили на обедах в колледжах и что это был лучший способ расширить свой кругозор. Какие формы об-

щения с той же целью вы рекомендовали бы современной молодежи?

П. Капица. Для этого нужно знать молодежь лучше, чем я ее знаю. По-видимому, хороши для этой цели кафе, но клиентура их должна стабилизироваться, чтобы молодые люди шли в то или иное кафе и знали, каких людей встретят и какие разговоры возникнут. Возможно, следует создавать смешанные дома отдыха для молодежи, но так, чтобы отдыхающие группировались вокруг объединяющих их интересов, как группируются, скажем, монументалисты и архитекторы. Очень хороша идея совместных лагерей дружбы, куда съезжаются юноши и девушки из разных стран. Вообще путешествия совершенно необходимы для молодежи.

Следовало бы устраивать художественные выставки в различных учебных заведениях и обсуждать их, как устраиваются (кстати сказать, редко) вечера поэзии.

Я лично мечтаю, например, о создании учебного заведения типа Коллеж де Франс для того, чтобы крупные ученые могли беседовать с молодой аудиторией по вопросам, интересующим обе стороны. Посещение лекций, разумеется, совершенно свободное, никаких дипломов такой университет не выдает, но возможности для образования и самоопределения огромные. Представьте себе, если бы курс лекций о связи математики с поэзией вел Колмогоров, а лекции о театральном искусстве читал бы Акимов! И я искренне сожалею, что подобные встречи у нас крайне редки и обычно носят случайный характер. Наконец, можно было бы приглашать для чтения лекций зарубежных ученых, общественных деятелей, писателей. Например, Арагона, Моруа... Почему бы действительно не создать такое учебное заведение на базе МГУ, например, а?

Короче говоря, формы могут быть самые разные, дело не в них. Римляне, например, дискутировали в банях. Важна сущность: без общения ничто не развивается. Это основной закон прогресса.

Корреспондент. Больше всего, Петр Леонидович, вы уделили внимания общественной пользе дискуссий. Я думаю озаглавить это интервью «Приглашение к спору». Между тем в нашей беседе не было никакого полемического начала...

П. Капица. Лучше, если бы было. Однако есть действительно бесспорные мысли, например, о великой пользе споров.

Интервью взял Виктор БУХАНОВ.



В. Семенов,
доктор
философских наук



сфера добрых услуг

КАЖДЫЙ год среди миллионов молодых людей, оканчивающих среднюю школу, несколько сотен тысяч (как показывает статистика) «теряются» неизвестно куда. Они не входят в число тех, кто продолжает свое образование в техникумах и вузах; они не приходят на производство. Часть этой молодежи готовится к тому, чтобы учиться дальше, часть откровенно бездельничает. В то же время предложи такому юноше или девушке пойти работать продавцом, парикмахером, поваром, секретаршей, швеей, точнее говоря, предложи им избрать для себя одну из этих профессий — и нарвешься на снисходительное презрение: что я, для этого школу кончал?

С грустью приходится констатировать, что в рабоче-крестьянском государстве бытует среди части молодежи барское, снобистское отношение к ряду профессий. Это парадоксально, но это факт. Мы постоянно говорим о том, что в нашей стране любой труд одинаково уважаем. Но мы постоянно сталкиваемся и с таким мнением, особенно в молодежной среде крупных городов: «Как это я, получив аттестат зрелости, «унижу» себя тем, что стану за прилавок, или начну брить бороды, или буду менять детям штанишки в яслях, или сяду за баранку такси?»

Но жизнь сурова по отношению к снобам. Дело в том, что нужда страны в таких профессиях, как, скажем, ядерный физик, летчик-испытатель или киноактриса, строго ограничена. Скажем, нужно десять тысяч — и ни сотней больше. Отбор же происходит не в порядке лотерейной удачи, а по способностям, по труду, наконец, по таланту. И получается, что сотни и тысячи легкомысленных честолюбцев, пытаясь стать тем, кем они стать не могут, попадают, что называется, вдоль плеса и калечат собственную жизнь.

В Москве много хороших парикмахеров, великолепных мастеров своего дела. Одного из них зовут Борис Цирушкин. Ему 27 лет, у него несколько первых призов за успешное участие в различных конкурсах. Он знает немецкий язык, учит английский, а скоро закончит филологический факультет МГУ.

Вы думаете, он намерен переменить профессию? Ни в коем случае. Просто Борис считает, что парикмахер должен быть культурным, образованным человеком, не уступая в этом своим клиентам. Борис гордится своей профессией, он о ней самого восторженного мнения и не променяет ее ни на какую другую. Таких, как Цирушкин, можно найти и за прилавком, и в кулинарии, и в ателье бытовых услуг. И все-таки их немного, значительно меньше, чем надо. Сфера обслуживания остро нуждается в притоке молодых, образованных, честных людей. Почему же их не хватает?

престиж службы быта

Три года назад группа ученых из Новосибирского университета провела сплошное социологическое обследование выпускников средних школ — в городах, в райцентрах и на селе. В числе других проблем изучался вопрос о привлекательности профессий. В разосланной анкете было предложено оценить 70 профессий по десятибалльной системе. Самый низкий балл получили профессии работников сферы обслуживания. Если брать не группы занятий, а отдельные профессии, то ниже всего была расценена работа в коммунальных предприятиях и делопроизводстве; выше всего — профессия летчика и радиотехника.

Выяснилось дополнительно, что престиж профессий сферы обслуживания у девушек выше, чем у юношей, а у сельской молодежи выше, чем у городской. Общий же вывод от этого не стал отраднее: область услуг не считается привлекательной. От юношей и девушек нередко можно услышать, что они стыдятся работать в магазине, столовой, ремонтном ателье. Некоторые боятся, как бы их не увидели за «этой» работой друзья, знакомые. Молодые люди, поработав год-два в сфере обслуживания, стремятся уйти на производство, считая последнее делом «настоящим», а обслуживание «недостойным», едва ли не «позорным». Логика здесь никакой: производить товары не

стыдно; потреблять их тоже не стыдно; а доводить их до потребителя «унизительно». Да почему же?!

Однако если логики нет, то самый факт налицо. Попробуем кратко разобраться в истоках такого заблуждения.

Во-первых, эти профессии были исторически скомпрометированы еще в те времена, когда синонимом обслуживающего персонала были такие понятия, как «холуи», «челядь». После революции В. И. Ленин выдвинул лозунг «Учитесь торговать!» и говорил о необходимости социалистической перестройки обслуживания. Но после смерти Ленина вся эта сфера хозяйства стала считаться «второстепенной» и, надо признать, долгое время находилась в запущенном состоянии. По инерции отзвуки этих настроений дают себя знать и сегодня.

Во-вторых, развитию обслуживания, сервиса, мешают причины экономические. Они заключаются в слабой технической оснащенности работы и относительно низкой зарплате. В-третьих, каждая профессия привлекает к себе не только материальными, но и творческими чертами. Многие молодые люди считают, что в сфере услуг нет простора для творчества и нет перспектив для роста. В-четвертых, молодежь не влечет к себе труд неквалифицированный; низкая культура на многих предприятиях сферы услуг «работает» против самой этой сферы. Наконец, психологические причины. Они проявляются в пренебрежительном (полубарском, полумужицком, по словам Ленина) отношении некоторой части трудящихся к работникам бытовых предприятий.

Но вот в чем дело: со всеми ее недостатками сфера обслуживания сегодня уже совсем не та, что была вчера. А молодежь из-за плохой осведомленности (в коей она, вообще-то говоря, неповинна) принимает вчерашний день за сегодняшний и распространяет его на завтрашний, впадая в очевидное заблуждение. С середины 30-х годов в нашей стране, по сути дела, была прекращена работа по профессиональной ориентации молодежи. В результате выпускники школы не получают необходимых знаний о современном состоянии профессий, о содержании и характере того или иного труда. Молодые люди читают и слышат много восторженного о космонавтах, физиках, летчиках, но почти совсем не получают научных, деловых сведений о сотнях других интересных профессий. Понятно, что уже одно название «сапожник», «прачка» может отпугнуть молодого человека. А что в действительности скрывается за каждой профессией, каково ее нынешнее содержание и перспективы развития — об этом молодежи практически почти ничего не известно.

Профессиональное воспитание должно научить молодежь диалектике возможностей выбора той или иной профессии. Возвращаясь к высказанной выше мысли, мы говорим: вроде бы каждый может стать физиком или космонавтом, но все не могут ими стать, ибо для работы самого физика нужны сотни других профессий. Поэтому «неставшие» вовсе не являются неудачниками, ибо любая профессия в наш век огромных возможностей и научно-технической революции — это поле для поисков и творчества, для раскрытия своего Я.

Есть старая, но нетускнеющая истина: не профессия красит человека, а человек — профессию. Можно в отдельных случаях «пролезть» вопреки способностям в актеры, инженеры, физики, но остаться бесцветной личностью на сотнях ролях. А можно творческой работой окрасить неброскую, но страшно нужную работу официанта или продавца, парикмахера или шофера. Это не парадокс, в жизни действительно так бывает, когда, скажем, плохой писатель,

у которого талант иссякает после первой же книги и который всю жизнь пробавляется мелким и унизительным околослитературным трудом, остро завидует хорошему плотнику, краснодеревщику, мастеру своего дела, который и работает со вкусом да и зарабатывает больше...

Реальные меры, принятые за последние годы, чтобы поднять популярность и престиж сферы услуг, дают основание думать, что скоро рассеется туман предрассудков, непонимания, пренебрежения и профессии обслуживания предстанут перед молодежью в своем истинном свете — как социально важные, нужные людям, как профессии благородного, гуманистического содержания.

Какие же это меры? Во-первых, повышается оплата труда. Среднемесячный заработок работника сферы обслуживания в 1958 году составлял 58 рублей, в 1964-м — 66 рублей, в 1965-м — 76 рублей. Кроме того, с переходом на новые принципы планирования и стимулирования труда входят в жизнь новые формы поощрения (за счет отчисления от прибыли).

Во-вторых, в последние годы ликвидируется отсталость материально-технической базы. Ветер современности вызвал радикальные перемены даже на таких предприятиях, какие по старинке называют в торговле «точками».

Понятно, не многим захочется в наш индустриальный век работать в грязном ларьке, в ремесленного типа мастерской — такое «предприятие» вряд ли вселит надежду, что труд в нем может быть интересным. Иное дело — предприятие современного типа. Оно уже одним своим видом и организацией труда побуждает работника к совершенствованию, к творческому росту. Поясним примером. В центре Свердловска находится девятиэтажный комбинат «Рубин», в котором совмещены ателье, парикмахерская, ремонтные мастерские. Такому предприятию не нужны ни кустари-одиночки, ни неудачники, осевшие в небольших бытовых мастерских. Ему нужны квалифицированные, образованные, культурные кадры.

Или современные магазины, насквозь прозрачные, полные света и воздуха, где продавщица просто физически не может быть неряшливой, неопрятно одетой, где ей грешно быть неприветливой.

Не следует, однако, думать, что только комплексные торговые или бытовые предприятия технически совершенны и отвечают требованиям дня. Большому городу придают уют и маленькие кафе, буфеты, бары, кондитерские, молочные (сошлемся хотя бы на опыт Варшавы и особенно Праги). Экономически такие предприятия-малютки вполне рентабельны, работать в них интересно и приятно, потому что клиентура здесь, как правило, постоянная.

Наконец, характер и организация труда в сфере обслуживания принимают в настоящее время такие же прогрессивные формы, как у рабочих и интеллигентов в сфере производства. Тут важно подчеркнуть вот что: переход от индивидуального к бригадному методу труда. До сих пор здесь господствовал индивидуальный метод работы. Продавец обслуживает «свой» прилавок, официант — «свой» столик. Соседние его не интересуют. Даже если у такого продавца или официанта не будет клиентов, он не придет на помощь товарищу, у которого вдруг большой наплыв посетителей.

От этого страдает и производительность труда, и темп работы, и квалификация, и даже интерес к своим обязанностям.

В большинстве же зарубежных стран к вам, как только вы сядете, скажем, в кафе, незамедлительно подойдет любой официант, вне зависимости от того,

«его» это столик или нет. И это разумно. Ведь задача одна: быстро и хорошо обслужить человека.

Вообще следует сказать, что обслуживать трудящихся—это такая работа, которая предоставляет бесконечные возможности для новых форм, для различных вариаций. Скажем, все больше внедряется обслуживание трудящихся на производстве (от химчистки до гастрономического стола заказов), на дому (от доставки лекарств до услуг парикмахера). В некоторых областях страны формируются поезда добрых услуг, однако к трудящимся приезжают не только работники торговли и службы быта. Так, например, сотрудники Государственной Третьяковской галереи отправляются с картинами и репродукциями в Каракумы, в Саяны, на Устюг и в Братск.

Короче говоря, было бы желание, а нужной и интересной работы — непочатый край.

в ваши руки, молодежь!

ОБСЛУЖИВАНИЕ советских людей — в руки молодежи! Это властный призыв времени. Именно молодым, опирающимся на опыт старых кадров, и вместе с ними, надлежит революционизировать сферу обслуживания, обеспечить бурное развитие в ней научно-технической и культурной революции.

В последние годы в умы передовой части молодежи, комсомольцев все более проникает мысль, что великая стройка коммунизма совершается не только при создании новых городов, строительстве заводов и фабрик, электростанций, железных дорог, освоении целины, но и путем перестройки сферы услуг, путем налаживания достойного обслуживания советских людей — людей нового типа, «людей как бы из будущего», как хорошо было сказано о них на XXIII съезде партии.

Молодежь — к прилавку, молодежь — в сферу обслуживания! — это призывы, широко поддерживаемые комсомолом. По путевкам комсомола в течение последних лет в торговлю, в общественное питание, в службу быта пришли десятки тысяч хорошо образованных, передовых юношей и девушек. В разных городах нашей страны возникли десятки молодежно-комсомольских магазинов. Их возглавляют направленные по путевкам комсомола опытные комсомольские работники, технологи, инженеры. И хотя многие работающие в них комсомолцы прошли всего двухмесячные курсы материально ответственных лиц, работают они изобретательно, высококультурно, с жаром души.

Минувший год — год особенный. Для него характерен одновременный выпуск учащихся из десятых и одиннадцатых классов, а также увеличенный выпуск учащихся из восьмых классов. В связи с этим ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мероприятиях по расширению обучения и устройству на работу в народное хозяйство молодежи, оканчивающей общеобразовательные школы в 1966 году». В постановлении значительное место отведено устройству молодежи на работу в сферу обслуживания, а также организации учебы молодежи в различных учебных заведениях, готовящих кадры для сферы услуг.

Как конкретно будет организовано обучение юношей и девушек, приходящих на работу в сферу обслуживания? Те, кто выберет профессией работу в торговле и общественном питании, смогут пройти обучение в различного типа учебных заведениях. В системе государственной торговли и потребкооперации имеется восемь вузов. Еще в одиннадцати институтах

открыты торгово-экономические факультеты. Работает около двухсот торговых и кооперативных техникумов. В эти высшие и средние специальные учебные заведения принимают в первую очередь тех, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в торговле. Перед юношами и девушками, которые по окончании общеобразовательных школ придут в торговлю и общественное питание, открываются широкие возможности для поступления на заочные и вечерние отделения вузов и техникумов.

Торговых работников массовых профессий станут готовить в 159 торгово-кулинарных и 114 кооперативных профессиональных училищах. Вместе эти учебные заведения примут около 73 тысяч юношей и девушек. Сроки обучения по большей части — от одного до двух лет.

Еще быстрее, за шесть — девять месяцев, можно овладеть избранной специальностью на курсах, которые организуются при больших, хорошо оборудованных магазинах, столовых, хлебопекарнях. Их так и называют: школы-магазины, школы-столовые. Только в системе Центросоюза на курсах будет обучаться около 50 тысяч человек. 43 тысячи юношей примут школы-магазины и школы-столовые министерств торговли. Большая часть юношей и девушек, которые придут работать на предприятия торговли и общественного питания, будет овладевать профессиями без отрыва от производства.

Для того, чтобы обеспечить в последующие годы достаточный приток молодежи в сферу обслуживания, нужно постоянно ориентировать молодых людей на эти отрасли. Большую роль в этом играют их родители, знакомые и друзья. Исследования, проведенные в ряде социалистических стран, показали, что главными наставниками молодежи в выборе профессии являются в пятидесяти случаях из ста друзья и родственники, в тридцати случаях — знакомые, в десяти — печать, телевидение и кино и лишь в пяти — школа. По-видимому, так же обстоит дело и в нашей стране.

Эти главные «советчики» ориентируют молодежь, как правило, на выбор «модных» профессий, так как порой сами очень мало знают и о производстве и о характере работы. Ни родители, ни дети не имеют достаточно ясного представления о значительных переменах в профессиональной структуре и в содержании профессий сферы обслуживания. И это лишает их возможности помогать ребятам в выборе дела по душе и по способностям.

Но выпускники школ и сами должны проявлять серьезность в выборе профессии. Пусть побывают юноши и девушки на всевозможных выставках, совершат экскурсии на самые различные предприятия в разных отраслях народного хозяйства. Для учителей тоже следует провести семинары, которые помогли бы им получить сведения о значении различных профессий. Пришло время организовать в школах кабинеты профессиональной ориентации молодежи, где всегда можно было бы найти различные справочники, в которых давались бы сведения о вузах, техникумах, училищах, предприятиях.

это и наука и искусство

ОБСЛУЖИВАНИЕ людей не просто труд. Это наука и искусство. Наука потому, что, как и каждое дело в условиях социализма, обслуживание должно быть поставлено на научную базу. Искусство же потому, что оно требует не ремесленного, не равнодушного применения знаний и опыта, а их творческого

доведения до людей, творческого оказания услуг советским людям.

В сфере обслуживания, как и в каждой народно-хозяйственной отрасли, велико значение материально-технической базы, квалифицированных, образованных кадров. Но одного этого недостаточно. Можно иметь современное, красивое предприятие торговли с достаточным машинным оборудованием, можно располагать в этом предприятии квалифицированными, образованными молодыми кадрами, но при всем этом вести дело обслуживания ненаучно, некультурно.

Важнейшая черта труда непосредственного работника обслуживания та, что это работа с человеком. Иными словами, каждый работник обслуживания — это участник формирования, развития внутриобщественных отношений. В результате предприятия обслуживания, где постоянно взаимосоприкасаются, соотносятся между собой люди — посетители, клиенты и обслуживающие их работники, — являются своеобразным зеркалом существующих на данный момент в обществе социальных, человеческих взаимоотношений.

Работать с человеком, быть участником развития внутриобщественных отношений — это действительно требует от работников обслуживания трудиться человеком, а значит, так, чтобы их благородный труд, направленный на удовлетворение нужд человека, был наукой и искусством. Без этого он огрубляется, становится бездушным, ремесленным, равнодушным.

Поэтому не будет преувеличением и напыщенностью, если мы скажем, что труд обслуживания в советском обществе — один из самых человеческих, гуманных, благородных видов труда. Само его существо требует, чтобы это была не просто обычная, честная деятельность, а своеобразный сплав труда, науки и искусства.

Молодежь уже в силу своего возраста является носителем прогрессивных тенденций, честности, нравственной чистоты. Именно поэтому и делается на нее ставка, именно поэтому мы и обращаемся к ней: «Идите в сферу обслуживания!»

Общий принцип взаимоотношения работника обслуживания и посетителя — это принцип взаимоотношения хозяина и гостя. Для работника обслуживания каждый посетитель — это желанный, дорогой гость. Так относиться к посетителям — значит относиться высококультурно. Когда в домашней обстановке любой из нас принимает друзей, — успех, культура такого вечера зависят от того, насколько радушно, заботливо, непринужденно, предупредительно мы встретим гостей. То же самое в сфере обслуживания.

Равнодушие, пассивность, черствость, невнимание — это бескультурье в деятельности работника обслуживания. Это — нежелание создать удобства посетителю, желание создать удобства только для себя, то есть удобную обстановку для собственной бездеятельности.

В основе принципа отношения хозяина и гостя в сфере услуг должно лежать уважение к личности, к ее специфическим интересам. И этот принцип должен быть в заимен между хозяином и гостем.

Обеспечивая человечески-культурное обслуживание советских людей, работники сферы услуг тем самым выполняют и определенную воспитательную роль, роль одного из стимуляторов повышения трудовой активности советских работников, производительности их труда.

Это раскрывает еще одну грань разностороннего, интересного, творческого, романтического труда обслуживания, если, конечно, относиться к нему заинтересованно, с душой.

Человеческая доброта, сердечность и отзывчивость не забываются людьми. В городе Свердловске многие приезжие, что заходят пообедать в ресторан «Большой Урал», первым делом интересуются: «Какие столики обслуживает официант Ялунин, мы о нем столько слышали...» Несколько лет назад Геннадий Ялунин, рабочий компрессорного завода, поступил в вечерний филиал Института народного хозяйства имени Плеханова. Тогда же он записался на курсы официантов. Через два месяца по распределению Геннадий попал в самый лучший ресторан города. Он внимательно, культурно обслуживает посетителей, и потому никогда не пустуют его столики. Осенью 1964 года в Москве на Всесоюзном конкурсе молодых официантов Г. Ялунин показал себя одним из самых искусных. Кому бы Геннадий ни накрывал стол — знатым иностранцам или своим землякам, — все остаются довольны.

Дальнейшее развитие инициативы — необходимое условие прогресса сферы услуг и занятых в ней работников. В Директивах XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану сказано, что для улучшения обслуживания населения главное — это привлечь к организации бытового обслуживания инициативных людей, понимающих, что требуется для удобства человека.

Инициатива же и творчество в огромной степени зависят от общего и специального культурного развития человека, от его образовательной подготовки, идейной зрелости и закаленности, уровня сознательности, прежде всего гражданской сознательности. Ведь инициатива и творчество — это в конечном счете духовное отношение человека к труду, ко всем своим действиям, способ выявления, проявления интеллектуальных сил личности. Когда у человека в силу ряда объективных и субъективных причин нет достаточного образовательного уровня, культурного, интеллектуального развития, он в определенной степени ограничен в проявлении своей инициативы и творчества. Он хотел бы их проявить, но не может, ему не хватает для этого вполне определенного уровня развития.

Поэтому мы не говорим любому и каждому: идите в сферу обслуживания! Для этого в наше время нужно иметь и желание (если не призвание) и обладать определенным духовным уровнем и определенными моральными качествами. Мы просто призываем каждого задуматься о своей будущей профессии и трезво сориентироваться в современной обстановке. Ничуть не запугивая, мы можем сказать вам: «Бойтесь остаться не у дел, бойтесь не найти своего места в жизни!»

В феврале этого года в Москве состоится Всесоюзный слет работников добрых услуг. Не следует думать, что эта статья приурочена к слету. Вовлечение молодежи в сферу обслуживания — это не кампания, это планомерная и длительная работа на долгие годы. И было бы хорошо, если бы журнал «Юность» и другие издания, широко читаемые молодыми людьми, чаще возвращались к этой теме. Мы хотим, дорогие читатели, чтобы вы не только прочитали эту статью, но и откликнулись на нее.

Давайте откровенно поговорим о том, как нас обслуживают, какую роль обслуживание играет в нашем настроении, в нашем здоровье, в нашей семейной жизни. И какую роль отводят молодые люди себе в этом большом всенародном деле.

—

Элла Черпахова

БРОНЗОВЫЙ ВЕКСЕЛЬ (дело № 1230)



Рисунки
М. Лисогорского.

Сначала Виктор просил меня прошлого не ворошить («Я не трус и все такое, но сколько же можно? И так на весь Ярославль звону было...»).

Насчет того, что «звону было на весь Ярославль», — это он, конечно, преувеличивал. История не пошла дальше силикатного завода. Но для человека круг его товарищей по работе, соседей, знакомых и есть обычно «весь город», правда?

Товарищи — да, сразу оказались в курсе, и разговору на заводе было много. Одни говорили: «Витька Ляхович — малый со смыслом. Никакого дела не обескуражит». А другие: «Так-то оно так, но ведь парня мокрым рядом накрыли».

«Мокрым рядом накрыть» — это старая поговорка; она означает, что человек с поличным пойман. На воровстве.

Разговоры шли перед судом.

Судил Ляховича Красноперекопский народный суд в Ярославле, и не одного, а с сообщником Василием Евстифеевым. Оба они работали на заводе, оба имели пристрастие к технике и по нарядам садились машинистами то на бульдозер, то на трактор, то на экскаватор — как уж там требовалось по ходу дела. Работали они бок о бок, особо не дружили, но и не грызлись. Были совсем разные люди.

О Евстифееве мне хочется всего два слова сказать — не о нем речь. Василию Егоровичу Евстифееву ко времени суда было лет около тридцати. Славу он снискал у заводских скверную: «Так и норовит спереть, где что плохо лежит в гараже. Сопрет — толкнет, а толкнет — выпьет». Такая вот «технологическая нитка».

Конечно, командиры завода не

знать этого не могли. Главный инженер силикатного завода Павел Алексеевич Назаров объяснил, что терпели Евстифеева за большую его физическую силу и выносливость: «Учтите, текучесть у нас — семьдесят процентов, для производства кирпича из силиката нужны люди со здоровьем. А Евстифеев у нас всю дорогу на складе извести работал».

И главный механик Анатолий Васильевич Скородумов жаловался: «Да, очень течем. Приходят к нам, знаете, какие? Трудовая книжка — как «Война и мир» толщиной. Летуны, транзитники. Вот и требуй с них... Евстифеева этого я как облупленного уже знаю. Раз дали ему наряд, а он напился и пошел «левую» работу делать. Иду и вижу: чей-то трактор на горе пляшет рок-н-ролл. А это наш Евстифеев с каким-то дядьком план под огородик снимают...»

После одной особо дерзкой евстифеевской выходки, кончившейся пропажей новеньких запчастей из гаража, главный инженер не выдержал, и Евстифееву было сказано:

— Завтра же верни, пока прокуратура не потревожила!

Евстифеев поломался, но вернул. Словом, был Василий Евстифеев ясен: как говорится, из плута скроен, мошенником подбит. Он и со своих машин, тех, на которых работал, норовил новые детали толкнуть, а старые поставить, чтобы затем опять выклянчить у завода новые. Места работы он менял часто и без сожаления. Скажут ему после очередного происшествия: «Не отвечивай», — снимется — и «с приветом», поехал искать, где каша погуще.

А Виктор совсем иного склада парень.

На силикатный он пришел — ему едва за двадцать было, и тут он, по сути, начал свою жизненную карьеру. Понравилось Виктору, хотя работа была тяжелая: поди попробуй в карьере мерзляк зимой покидать! Из карьера брали песок, везли на завод — и через двадцать часов готовый кирпич. Приезжайте в Ярославль, найдите высокое место и посмотрите на город сверху: он весь как светящийся. Белокаменный. А вернее, белокирпичный. Это все силикатный дал, его кирпичи и плиты.

Техники на заводе изрядно: скреперная лебедка, тракторы, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, — и для них выстроены гараж, ремонтная мастерская. В этой мастерской, бывало, Виктор и слесарил и ремонт сам производил, если его «железный конь» выходил из строя: слесарей на все машины не хватало. Слесарь Алеша Титов верное дал пояснение: «Шестеро ломают, двое чинят — пропорции нет».

Виктору однажды досталось сильно побитый «Т-28» («Владимирец») приводить в божий вид, и стал он день за днем ходить в ремонтную мастерскую — низковатое помещение, где на металлическом покорябанном столе лежат ключи, развертка, стоят тисочки, «нитра» в бутылке из-под портвейна. На старом, обшитом транспортной лентой кресле сидит кто-нибудь из ребят, курит под сенью старого плаката с вечно живым содержанием: «Если не хочешь попасть в беду, не прыгай с трактора на ходу».

С трактора на ходу Виктор не

прыгал и в беду попасть не хотел, но попал. И почему попал — вот это и есть цель нашего исследования. Здоровья Виктору не занимать — не особенно плечистый, но ладно сшитый, румяноскулый, с хорошими, рабочими руками. Такие руки кинооператоры любят показывать крупным планом. Впечатление необманное: за что парень ни возьмется — клеится. Поэтому и зарабатывал он прилично, и место среди товарищей нашел, и ходил на завод охотно.

Молодой, неженатый, если увлечется работой, — в воскресенье прибежит, будет возиться у своей машины. Кто привязан к своей лаборатории, кто — к операционной, кто — к аэродрому, а этот — к гаражу. Известно: не место красит...

Вот что, между прочим, стоит заметить. Детали, запчасти, инструмент здесь под «оптовым контролем». Бригадир знает и помнит все «в общих чертах», лишней «писанины для учета не разводит». Если что нужно, тогда пишешь заявку: мол, требуется то-то и то-то, допустим, свеча запальная, болт башмака гусеницы или еще что, и все это тут же бригадир на стол с наказом, кто «скорей чесался». С запчастями — это уж так повсеместно — очень тяжело.

Но трудно достать — еще не вся задача. Трудно, оказывается, и сохранить, потому что дальнейший путь добытой и полученной для мастерской детали, целого узла или даже индивидуального комплекта, в который как раз входят ценные вещи — запчасти, слесарный инструмент и заправочный инвентарь, — удается проследить далеко не всегда. Путь этот тернист.

Хочется привести дословно две жалобы. Одна принадлежит главмеху Скородумову, а другая — рабочему силикатного завода. Жалоба Скородумова была обращена к прессе в моем лице.

«Мы запросили на прошлый год сорок тысяч пятьсот рублей, — сказал Скородумов скорбно, — а они учли это?.. — Он быстро прикинул на логарифмической линейке. — Двадцать три процента потребности. Все! План же, к слову сказать, плюнуть не успеешь, растет, и нагрузка на технику увеличивается. Что я могу, скажите? Нет фондов — и аминь. У меня свой человек уже два месяца сидит в «Сельхозтехнике». Как появится дефицит — будет хватать вкладыши, поршни, коленчатые валы... О насосах не мечтаем. За три года два насоса через обком партии достали. Вот так и работаем...»

Жалоба рабочего изложена в письме на имя главного инженера

Назарова: «Что у нас творится! Один тут динамку с «Владимирца» продал в подсобное хозяйство за десять рублей, а сколько продано магнето! Что с новым прицепом сделали, вы бы знали! Полностью раскурочен! Орудуют несколько человек. Недавно баллон с «Владимирца» был изжеван, и, чтобы скрыть, поставили баллон с «Москвича», что вредит техническому состоянию трактора. Хотя в сменах работают хорошие товарищи, кого ни назови — Соколова, Титова, Садова, Нундикова, — но вот эти недостатки остаются. Очень плохо, что нет учета запчастей!»

Думаю, что открытия тут ни для отцов-командиров производства, ни для кого другого на заводе нет. Хочешь не хочешь, а надо признать: воруют. Доски, инструмент, забытую спецодежду; больше того: был случай, трактор угнали, и другой — автомашину увели. Между тем директор силикатного своей властью даже забора вокруг хозяйства поставить не мог. Проходная есть, а забора нет! Писали «выше», да оттуда отказ пришел: что вы, мол, товарищи, мы социализм построили, к коммунизму идем, а вы — забор! От кого отгораживаться?!

Как раз когда я была в Ярославле, всех тревожила мысль: «Песок в карьерах кончается. Что делать, когда доскребем до дна?» Нужно осваивать новый карьер и фабрику строить, флотационные машины ставить, дороги вести. Это требует средств и, главное, времени...

Вот такие — основные — вопросы тревожили руководителей, и потому беготня рабочего Виктора Ляховича, колдовавшего в это время над своим выдавшим виды «Т-28», всех слегка раздражала.

В гараже Виктора прозвали «писателем». Неудомимо, изо дня в день, он писал заявки на магнето и другие нужные ему запчасти, клал их на стол бригадирю Рябову, таскался к механику Смирнову, допекал начальника отдела снабжения Першина, а Першин говорил: «С директора требуйте». Директор, по фамилии Белянин, объяснил, что «на нет и суда нет», родить же запчасти он не может, тем более что по горло других дел.

Здесь почти все правда, кроме того, что на «нет и суда нет». Судто вскоре был.

Побегав по начальству без толку, Виктор впал в уныние: работать на «Владимирце» со старым магнето было сущей мукой. Он заводился только от другого трактора, для чего по утрам приходилось

таскать машину по 30—40 минут на буксире, причем ребята, работавшие в смене, не жалели соленого юмора и язвительных шуток. Сначала немного перетягивало хладнокровие Виктора, потом стало сильно перетягивать самолюбие. И в конце концов перетянуло. Он перестал писать заявки и ждать чуда. Он пошел за советом к опытному Евстифееву, и тот дал совет.

Декабрьским снежным днем, проработав кое-как на своем «Владимирце» до четырех часов (возил мусор с территории завода: что еще повезешь на таком «калечном-увечном»), застенчивый, положительный Виктор Ляхович подошел к беззастенчивому, отрицательному Василию Евстифееву, и тот, хлопнув его по плечу, сказал:

— Держи хвост пистолетом! Все будет... Ты мою хозяйственную политику знаешь. Заправься вот... Ночью и поедем...

На свет появилась поллитровка. «Выпили по 0,25» — было зафиксировано позже в протоколе милиции. Дождавшись ночи, они вернулись на завод, сели на трактор и спокойно выехали со двора, который, как уже было сказано, огорожен не был ввиду оптимизма вышестоящих товарищей.

Поехали они к подсобному хозяйству «Красный Перекоп». Там, по сведениям вездесущего Евстифеева, был свой гараж, а в гараже стоял «Владимирец» — новенький, в прекрасном состоянии. Все это точно так и было, но на гараже висел огромный замок, и сбить его никак не удавалось.

— А карбюратор там хороший? — спросил Виктор. — А форсунка там в норме?

Они выставили раму с западной стороны деревянного гаража, влезли и, нервно чиркая спичками, осветили темные углы. Посреди гаража стояли два трактора. Виктор рванулся было к одному, но, осветив его, увидел, что это харьковский «ХТЗ-7», и не тронул его. Зато второй... Второй был «Т-28». Родной! Дрожа от возбуждения, Ляхович принялся «раздевать» машину. Он складывал осторожно, на фуфайку, стартер, карбюратор, форсунки и, наконец, долгожданное магнето! Евстифеев, пошарив по углам, добавил сюда несколько ключей, насос, домкрат, молоток и плоскогубцы. Завернув все это в фуфайку, они вылезли из окна и побежали к трактору, но злополучный «Т-28» подвел Ляховича, как всегда: внезапно заглох и остановился. Оставалось ждать утра, чтобы вытащить его. Но утром в гараж «Красного Перекопа» пришли люди, обнаружили кражу и



увидели застрявший трактор. Поиски длились недолго. Виктор не запылился. Сказал только, что брал не для себя, а для завода и что выхода у него не было.

На силикатный позвонили из милиции, и там, узнав о происшествии, возмутились. Надо же! Ну ладно, Евстифеев, он таковский. Но Ляхович! Ведь как доверяли человеку, как с ним цацкались! Хотя молодой, а бригадиром механизаторов поставили, благодарности шли. Возьмите, скажем, Викторову производственную характеристику. Как песня!

«Ляхович В. С. работает на Ярославском заводе силикатного кирпича с 11 июня 1961 года. За все время работы показал себя как вдумчивый и трудолюбивый товарищ. За умение хорошо работать, безупречное поведение тов. Ляхович был назначен бригадиром бригады механизаторов. Сам Ляхович хорошо разбирается в технике. Не раз его ставили на работу как тракториста, где он показывал себя с хорошей стороны. Тов. Ляхович В. С. за время работы нарушений трудовой дисциплины не имел. Отзывы товарищей по работе о нем только хорошие. Тов. Ляхович — честный, старательный и исполнительный, а также является активным членом всей нашей бригады.

Механик цеха — СМЕРНОВ.
Начальник прессового цеха — ПИРОТИН».

Но как же тогда со всем этим вяжется ночное «дело»? Главный инженер Назаров высказался художественно: «Однажды цветочек дикий попал в пучок с гвоздикой и стал душистым и сам...» (и так далее).

Руководству силикатного в связи с случившимся ЧП, ясное дело, «выдали». Вспыли за плохо поставленную воспитательную. О том, как это было в деталях, ни директор, ни главный инженер вспоминать не хотели, но было, видимо, как обычно, как повсюду. Упрекнули, что редко на заводе бывают лекторы и мало читают лекций о моральном облике советского человека, поставили на вид, что неважно обстоит с посещениями театров, до ужаса мало лыжных вылазок и совсем плохо с индивидуальной работой. Вот опять и прохлопали человека.

Нет ничего уютней схемы. Как покойно укладывается в нее мысль! Нигде не жмет, привычно, удобно.

Словесное воспитание — наша беда. Слово — могучее средство, «полководец человеческой силы» и так далее, но тогда лишь, когда полновесность его обеспечена делом — не на 0,25 и не на 0,75, а целиком и полностью!

Сколько раз попадала я, бывало, на собрания рабочих или строителей. Выступает мастер или, допустим, прораб, чистят какого-нибудь ловчила, «кусочника»: горсть гвоздей, доску, моток проволоки из цеха или со стройки прихватил, краску налил в грелку, норвил на животе пронести. Позор, да и только!

Да, это позор, это — воровство, это стоит «чистки», наказания. Но после «чистки» и после наказания кто-то другой все-таки берет гвозди, тащит проволоку, выносит краску. На одном заводе — в Минске — даже станок украли. Бывает, узнается дело, а бывает — и сколько раз! — нет. Тащат охотней всего там, где не считано, не меряно, где по часу заседают из-за украденной горсти гвоздей — и списывают ежегодно на тысячи рублей заржавевшего на дожде и снеге дорогого оборудования, где рабочим читают лекции о моральном облике — и дают премии за продукцию заведомо бракованную, негодную, зато сверхплановую, рожденную в муках авралов и штурмовщины.

В подтверждение своих слов могу привести такие примеры: в 1965 году контрольным пунктом «Союзсельхозтехники» была забракована весьма солидная партия деталей Ереванского завода запчастей — 150 тысяч штук (выборочно взятая: черпнули где придется!). Орловский завод тракторных запчастей выступил в том же жанре. Были и другие. Интересно, как там

у них с лыжными вылазками? С походами в театр? С индивидуальной работой?

Давайте отвлечемся от дела Ляховича и посмотрим на вещи шире.

Экономика стала нынче чуть не самой модной темой наших разговоров. Дай бог, чтобы «мода» эта не прошла никогда. В умении или неумении хозяйствовать и следует нам искать корни многих наших теперешних бед и несчастий, подчас чисто морального свойства. А когда знаешь, что поражено недугом, тогда уже можно брать и за врачевание. Лечить человека надо, а не болезнь. Это известно.

В самом деле, смотрите, как сплетаются в единый сложный узор разные, казалось бы, события. Один минский завод за короткий срок выпустил тракторы — множество различных марок — «МТЗ-2», «МТЗ-5», «МТЗ-5К», «МТЗ-5А», «МТЗ-5М», «МТЗ-5МС», «МТЗ-50», и т. д., и т. д. Запасные части к ним не унифицированы. Детали к старым и стареющим конструкциям перестают выпускать или выпускают в очень небольшом количестве. Внимание, как правило, переключают на машины более совершенные. Но ведь техника, к которой охладели, существует. Она изнашивается лишь в каких-то деталях и требует частичного обновления. Обновлять же практически нечем. Гибнут огромные ценности. Начальник управления запчастей московского областного объединения «Союзсельхозтехники» С. В. Демьянушко сказал об этих сокровищах: «Вот она, проблема: все есть, а ничего нету».

До сих пор мало строили новых, специализированных заводов запчастей; зачиная новую машину, не



думали о том, сколько и как ей жить. Проблема запчастей — это, разумеется, капля в водопаде, хвоинка в тайге. Но, как и во всем прочем, бесхозяйственность, организационные промахи, недостатки управления не только обращают в прах материальные сокровища, не только приносят вред вообще, но сказываются и на психологии, на судьбе реального, живого, отдельного человека. Более того, иногда приводят его к подлинной драме, как было с Виктором Ляховичем.

Вынося приговор Евстифееву и Ляховичу, районный суд вынес примечательное частное определение: «Рассмотрев и осудив непосредственно исполнителей преступления, народный суд считает необходимым назвать тех, кто прямо или косвенно подтолкнул Евстифеева и Ляховича, спровоцировал их на это преступление. Такими лицами, по мнению состава суда, являются бригадир Рябов А. И., механик цеха коммунист Смирнов А. Г., бывший начальник цеха Тютин В. А. (член КПСС), начальник отдела снабжения Першин А. А., главный механик завода Скороходов А. В. и директор завода коммунист Белянин П. Н. Это они не создали для подсудимых надлежащих условий труда. Не обеспечили их запчастями и своими действиями (вернее, бездействием) подсадили подсудимым незаконный выход. Они совершили преступление якобы в интересах производства».

И далее: «Никому не нужное, бессмысленное преступление совершено, а в уголовной статистике Ярославской области и страны в целом появились два новых преступника, два человека, которые вполне могли ими не быть».

Ляхович и Евстифеев были приговорены к лишению их свободы сроком на 1 год условно каждый с испытательным сроком на 2 года. Суд возложил на силикатный завод «задачу их перевоспитания».

Перевоспитывали, к слову, их теперь так же, как раньше «воспитывали», — положение для них не переменилось. Только Ляховича, во искупление, бросили на более трудную работу — бульдозеристом в карьер.

У Гегеля есть выражение «монотонный формализм». Оно очень подходит для определения того, чем занимаются на иных заводах и фабриках, «ставя задачу воспитания и перевоспитания». Девяносто девять процентов воспитывающих правильных слов

уходят в стружку, если основное дело делается кое-как, разгильдяйски.

Есть лекарства вреднее самой болезни. Они не лечат, они отравляют: это громкие, но пустые слова с трибуны. Действие их мнимое. Разрыв между словом и делом дает не нулевой эффект, а эффект — минус один.

Хорошо, но что можно сделать? Проследите за этим коловращением: в конструкторских бюро беспрерывно создают машины, обреченные на неестественно раннюю старость и смерть из-за полного небрежения к унификации запчастей. Создается дефицит. (Яркое свидетельство тому — великое племя «толкачей» от заводов, колхозов и совхозов.) А когда вымоленные бесценные и долгожданные детали приходят на место, — начинается их разбазаривание. Грубый, вприглядку, учет и такой же по стилю контроль — все это ведет к обезличке труда. А обезличенный труд — это основа бесхозяйственности.

«От каждого — по его способности, каждому — по его труду» — эта формула в силе закона, не так ли? Но ведь вся она призыв к индивидуальной работе с человеком, вся она мысль о том, как установить прочные и реальные связи между интересами отдельного человека и целого общества.

Материальный стимул, провозглашенный сентябрьским Пленумом ЦК КПСС, — вот та формула, с помощью которой решается проблема. Я разговаривала недавно с начальником инспекции Гостехнадзора Московской области Иваном Ивановичем Дружининым, и он сказал, по-моему, убедительно: «Нас губит методика ч о х а. Я вот мотаюсь по области, иной раз волосы дыбом: есть места, где вообще учетчиков нет. Все на бригадире висит. А он среди прочих многих дел и учет и распределение ч о х о м, на круг ведет...»

Под Москвой, в Орехово-Зуевском районе, от чоха решили таки уйти... В совхозе счетовод-учетчик, имеющий одно целевое задание, отражал в лимитной книжке каждого всю эпопею предвешенной ремонтной страды. Тут всякий шаг тракториста известен: когда, сколько и что взял. Запчасти тебе выдали — зафиксировано, в каком количестве и какие. Технический уход провел — как, за какой срок. Счетовод даром хлеб не ел, он подсчитывал, во сколько обходятся плоды деятельности каждого, и каждый мог взять свою книжку и прочесть там правдивую повесть о своем

труде. Честь и слава такой литературе! Она нужна нам позарез! Честь и слава такой индивидуальной работе. Она реальна, она убедительна, она создает условия для честной, продуктивной работы, она необходимый элемент ведения рентабельного хозяйства. Отвлекаясь от этой коротенькой оды, добавлю, что орехово-зуевский счетовод-учетчик ежемесячно представляет отчет в центральную бухгалтерию.

Работа машинно-тракторного парка представлена при этом дифференцированно, по каждому трактору; учет расхода горючего осуществлен по талонам или же «по заборным ведомостям, с нарастающим итогом». И как результат — отличный ремонт техники, ощутимая экономия, и закон соблюден на практике: как поработал, так и получил.

Происходящая сейчас хозяйственная реформа вовсе не ограничивается по значению рамками «прямой экономики»; касается она и вопросов «воспитательной»... С помощью новых принципов организации и стимулирования труда мы не только не потеряем честных, старательных, исполнительных, но и, верю в это, «введем в норму» нечестных, нестарательных, неисполнительных: воспитаем их и словом, и рублем, и общественной нетерпимостью.

Дело № 1230 — судебное дело Евстифеева и Ляховича — очень показательное. Мне хочется еще раз сказать о том, что Красноперекоский народный суд Ярославля сделал тонкий и умный анализ происшедшего. Он на конкретном примере показал, что вопросы экономики касаются нас всех в гораздо большей степени, чем мы иногда думаем. Сто лекторов, эрудированных, как пятьдесят томов Большой Советской Энциклопедии, не смогут произвести в сознании людей того сдвига, который произведет новая экономическая реформа с ее вполне современными инструментами: цена, рентабельность, сбыт. Да, это теперь главные инструменты нашей экономики, но одновременно и инструменты воспитания.

Экономисты знают такой термин — «бронзовый вексель». Это — обязательство, написанное на бумаге и не обеспеченное средствами, золотом.

Бронзовые векселя воспитательного дела приносят убыток столь же ощутимый, сколь и горестный. Не будем же их ни давать, ни брать!





На опушке Голосеевского леса, мощным заслоном прикрывающего Киев от южных суховеев, стоит обелиск. Скупыми, как военные сводки, словами, врезанными в его гранит, история напоминает о событиях, происшедших здесь четверть века назад. На этом месте, где сейчас так бурно растет новый район, когда-то проходил огневой рубеж защитников столицы Украины. Здесь рождалась бессмертная слава города-героя, преградившего путь фашистским полчищам в первое лето войны...

Тому, теперь уже далекому, времени и посвятил свой роман «Киевские ночи» украинский писатель Семен Журахович (авторизованный перевод с украинского А. Островского, «Советский писатель», 1966). Только он повествует не о восьмидесяти ночах, которые стоически перенес фронтовой Киев, сражавшийся в последний день обороны, когда наши войска, выходя из блокированной цитадели, отступают за Днепр и над притихшим городом опускается ночь оккупации, длившаяся два с лишним года. Свообразным камертоном, определившим настрой всей книги, является, на мой взгляд, один из первых эпизодов.

...На степном проселке, ведущем в уже занятый гитлеровцами Киев, происходит неожиданная встреча журналиста Яроша и полиция. Это столкновение двух судеб, двух мировоззрений, двух враждующих лагерей: ослабевший от ран и голода, но не сломленный воин — и самодовольный и ничтожный в своей «самостийности» предатель. До этой знаменательной встречи они находились под одним боевым знаменем. И оружие было у них одно. Да и дорога, по которой они шли, тоже была одна. А пути — разные. И короткая схватка, завершившаяся смертью полиция, и продолжение похода солдата в родной город стали ключом к развитию действия романа. Эта яркая сценка на проселке как бы говорила: Киев пал, но Киев борется.

Я не критик. Я украинский поэт и ветеран минувшей войны. Мне самому довелось пройти нелегкие испытания. И волевал-то я под Киевом. Возможно, поэтому мне особенно близки события и люди, изображенные моим другом по перу и оружию. Однако я глубоко верю в то, что каждый, прочтя эту книгу, как и я, увидит и надолго запомнит город во мгле — с облавами и виселицами, с лагерем смерти на Сырце и потрясшей весь мир трагедией Бабьего Яра; город, где неистовствовали потерявшие человеческий облик убийцы из зондеркоманд и их приспешники — украинские националисты, пытавшиеся рядиться в тоги «законных хозяев». Как и я, читатели полюбят героев полоненного, но не сломленного Киева — подпольных бойцов Максима и Гаркушу, Середу и Калиновского, Яроша и Даниленко, Надежду и Ольгу, Ромку и Юрку... Как и я, читатели проникнутся глубокой ненавистью к нечисти — всем этим тварям, жившим рядом с нами и ждавшим прихода «нового порядка»...

Роман заканчивается, как и начинается, в сентябре. И тоже ночью. Но это уже иной сентябрь и иная ночь. Нет, Киев еще во мгле. Он еще борется в глубоком вражеском тылу. Однако близится рассвет свободы. И герои книги идут на новые подвиги, чтобы ускорить его приход.

Правдивый, умный и волнующий роман написал Семен Журахович. Жаль расставаться с его читателями, когда перелистываешь последнюю страницу. А может быть, продолжение последует?

Микола УПЕНИК

До недавнего времени имя Андрея Платонова мало кто знал. Но за несколько лет в отдельных сборниках, на страницах еженедельников и толстых журналов опубликованы дотол не

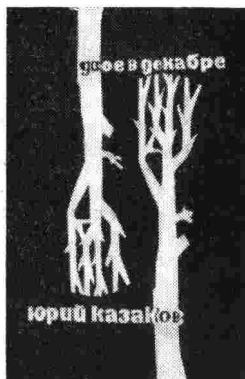
печатавшиеся и переизданы многие рассказы и повести писателя. Только за последнее время вышли два его сборника («В прекрасном и яростном мире», изд-во «Художественная литература»; «Избранное», изд-во «Московский рабочий»). Андрей Платонов открыт — словно впервые и заново.

Когда читаешь такие шедевры писателя, как «Сокровенный человек», «Фро», «Третий сын», «Возвращение», и пытаешься понять секрет обаяния этих вещей, то прежде всего замечаешь внимательность и доброжелательность писательского отношения к людям. Об одном из своих героев Платонов написал: «Он любил ощущать другую жизнь, ему казалось, что там есть что-то более таинственное и прекрасное, более значительное, чем в нем самом...» («Джан»).

Удивительно в Платонове глубокое и мудрое отношение к миру природы и миру вещей. Он не противопоставляет эти два мира как враждебные, они существуют рядом друг с другом. Его герой часто вчерашний крестьянин, зачарованный страстью к машине. Он живет где-нибудь на «опушке города», куда люди «приходят жить прямо из природы» («Происхождение мастера»), у рельсовых путей, за которыми простирается знакомый, выжженный солнцем пейзаж степной России.

Платонов описал нелегкое время: гражданскую войну, годы разрухи, время первых пятилеток, Великую Отечественную войну. Какими бы трудными путями ни шли его герои, в них неизменно сохраняется самое главное — душа человеческая. Отсюда убеждение писателя, что путь к правде жизни лежит через сердце человеческое, через человеческий ум и мастерство. Этому миру творчества противостоит мир косности, душевной застылости, мертвости, обыденщины, некий «Город Градов» с его сатирическими персонажами, одержимыми идеями вселенской бюрократии.

Безусловно, Платонов гораздо обширнее отмеченного нами, и



не так просто обозначить круг его творчества. Литературное наследие его еще далеко не полностью опубликовано и еще совсем не изучено.

Но Андрей Платонов из тех редких писателей, которые достойны не только изучения. Его нельзя не любить.

Г. ГУНН

«МЕНИЯ здесь поразило все — и люди и земля...» Такова Средняя Азия в стихах Нины Татариновой («Поиски», Ташкент) — поэтессы, для которой этот край давно стал не случайным местом жительства, а второй родиной.

«Тревожный ветер шевелит соломой, и, словно смерч, вздымается мечеть — река по руслу ринулась иному, и целый город должен умереть» — чтобы так написать, для этого, кажется, нужно в крови своей чувствовать историю, через цепь предков достигнуть далеких времен, дойти до столь конкретной их картины.

Впрочем, мир Н. Татариновой в целом скорее светел и задумчив, чем напряженно-трагичен. Это мир, где «тюльпаны спускаются с гор», где над вершинами чинар «теснятся каравелы из Генуи приплывших облаков», где «бостандыкские сады не огорчат вовек, как вечный звон живой воды неукротенных рек». Это мир, где поэт останавливается, прислушиваясь...

У поэтессы есть драгоценное свойство — воспринимать весь мир с необыкновенной родственностью и задушевностью.

Н. ГОРБАНЕВСКАЯ

Юноша вырос в Москве. И вот он попадает на Север. Не на Северный полюс, нет! В обычную рыболовецкую артель где-то на берегу Белого моря. Он видит море и воздух странного цвета, пронзительные, словно напоминающие о чем-то давно утраченном, что было еще до него, но он почему-то это помнит... Он слышит запах гниющих водорослей и пара, восходящего от земли, запах хлеба и рыбы. Он видит людей, которые заняты «изначальным» трудом: рубят избы и ловят рыбу, смалят баркасы и пекут хлеб. И вдруг устоявшиеся жизненные представления, освященные традицией и привычкой каноны смещаются. И юноша видит, что мир больше, ярче, богаче, добрее, чем это представлялось там, в каменном лабиринте детства. И вот уже подступают раздумья: а так ли жил до сих пор и как жить дальше?..

Десять лет назад впервые появились в журналах рассказы молодого писателя Юрия Казакова. Затем книги: «На полуостанке», «По дороге», «Голубое и зеленое»... В этом году издательство «Молодая гвардия» выпустило сборник «Двое в декабре», в который вошли лучшие рассказы писателя. Отдавать предпочтение каким-то из них, выделять их, сравнивая с другими, очень трудно. Это объясняется высокой требовательностью писателя к себе, к каждому своему слову.

Писатель снова и снова приводит героя на свидание с природой, и всякий раз происходит чудо: разувверившийся, замкнувшийся человек сбрасывает панцирь и начинает искать того, в ком разочаровался, — другого человека...

«Двое в декабре» — вовсе не призыв бежать на лоно природы, подальше от «ужасов» города. Отнюдь. Ведь можно везде жить истинно. Но надо уметь видеть, слышать и отзываться чуткой душой не только на красоту пейзажей, но и на человеческое горе. Уметь преодолеть

вать отчуждение. Этому и учат — не навязчиво, не нравоучительно — рассказы Юрия Казакова.

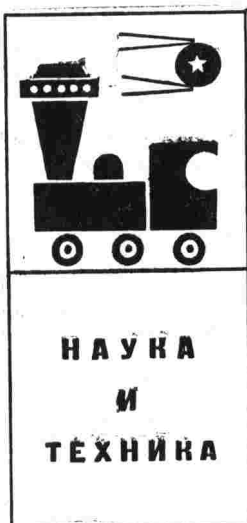
И. АКИМОВ

Если вас не интересует, можно ли помолодеть от питья талой воды, к чему приводит ношение магнитных браслетов и поясов, как узнать характер человека по его почерку, взлетит ли в космос знаменитая машина Дина, в чем беспомощна всемогущая кибернетика, наступит ли конец света, — не читайте книгу Л. Боброва «По следам сенсаций» (изд-во «Молодая гвардия»). Но имейте в виду, что шесть ее очерков не цветастый букет разномастных сенсаций, волновавших умы в последние годы. Каждая из них — повод для того, чтобы помочь читателю взрыхлить глубинные пласты научных проблем, пласты, которые всегда подстилает лежащее на поверхности газетное или журнальное сообщение.

Интересен, например, очерк о футурологии, как названа наука о грядущем, о прогнозе будущего. Методы футурологии позволяют все увереннее отвечать на «апокалипсические» вопросы: куда идет род человеческий? Грозят ли нам энергетический голод или перенаселенность Земли? Возможно ли столкновение с Лунной в далеком будущем, а в более близком — с пресловутым планетой Икар, открытым американским ученым Бааде в 1949 году? Обоснованы ли все эти опасения?

Проблемы геронтологии и графометрии, телепатии и электромагнитной биологии, математики и футурологии изложены доступно и занимательно, со множеством вставных новелл и лирических отступлений. Книга оформлена иллюстрациями А. Колли и И. Чуракова, которые соединяют выдумку и веселье.

А. КОЛПАКОВ



Владимир
Леви

СОТВОРИ САМОГО СЕБЯ

Психологические заметки

*В какой мере человек может овладеть
своей психикой, переделать ее,
и каким способом этого можно достичь?*



Рисунок
И. Оффенгендена.

Великую щедрость проявила природа по отношению к нашему мозгу. Можно, оказывается, иметь вес мозга чуть ли не в полтора раза меньше обычного и быть при этом Анатолем Франсом. Можно с одной лишь половиной мозга совершить важнейшие открытия — одно полушарие мозга Пастера было в молодости расплавлено кровоизлиянием.

Развитие цивилизации и совершенствование мозга идут вовсе не параллельно. Рабы, строившие пирамиды для египетских фараонов, обладали мозгом ничуть не лучшим и не худшим, чем современные литераторы. Мозг сегодняшнего специалиста по квантовой механике ничем существенным не отличается от мозга охотника-кроманьонца, жившего 60 тысячелетий назад.

Когда-то, примерно во времена Иоганна Себастьяна Баха, был создан рояль. С тех пор техника изготовления этого инструмента существенно не меняется. Инструмент остается тем же. Но фортепианные композиции, стиль игры, степень исполнительского мастерства менялись и продолжают меняться. Человеческий мозг можно уподобить роялю, на котором история в каждую эпоху разыгрывает свои пьесы.

Судя по всему, человеческий мозг несет в себе огромную, пока далеко не используемую целиком избыточность природных возможностей. Природа отпустила нам колоссальный кредит, и этот наследственный фонд до сих пор вводится в действие не слишком поспешно.

На что шли математические способности в пещерные времена? Да ни на что. Они спали и ждали своего часа. Действовали другие программы. Для того, чтобы размахивать палицами, не требовалось математических выкладок.

А сколько иных возможностей спит еще ныне?

ДВА ПОЛЮСА ГЕНИАЛЬНОСТИ

Нет-нет да и вспыхнет звездой гениальности избыточность интеллектуальных сил. Я стою на той точке зрения, что гениальность — это не отклонение, не аномалия человеческого ума, как склонны считать некоторые, а, напротив, высшая полнота его проявления, обнажение природных возможностей. Действительно, при общении с гением — будь это романы Толстого, стихи Пушкина или картины Рембрандта — нас не покидает чувство естественности. Это чувство говорит нам: только так, иначе нельзя.

Но не в том ли дело, что полное проявление естественного в творчестве — такая же чрезвычайная редкость, как полная гармония телосложения, как идеальный характер? Огромная неравномерность распределения способностей между людьми очевидна. Но еще вопрос, в чем причина этой неравномерности: в неравенстве ли исходных возможностей или в неодинаковости их использования? Ведь даже у самых выдающихся личностей далеко не в одинаковых пропорциях сочетаются компоненты «специальных способностей» и волевых качеств.

Можно выделить как бы два полюса гениальности, между которыми лежит гамма постепенного перехода. Представителей одного полюса можно было бы назвать, по традиции, гениями «от бога», представителей другого — гениями «от себя».

Гении «от бога» — Моцарты, Рафаэли, Пушкины — творят так, как поют птицы, — страстно, самозабвенно и в то же время естественно, непринужденно, играючи. Они, как правило, выделяются своими способностями с детских лет; судьба благоприятствует им уже в начале жизненного пути, и их обязательное

трудолюбие сливается воедино со стихийным, непровольным творческим импульсом, составляющим самую основу их психической жизни. Огромная избыточность «специальных» способностей проявляется у них подчас на фоне сравнительно скромных волевых качеств.

Волевые качества Моцарта — чистейшего гения «от бога» были, по-видимому, посредственными. Уже в зрелые годы он отличался такой детской наивностью суждений, какая, исходя она от другого лица, могла бы вызвать лишь снисходительный смех. Зато через всю биографию Моцарта проходит мощное волевое влияние его отца, побуждавшее его к неустанной работе, ограждавшее от неверных шагов. Отец был учителем, воспитателем и импресарио юного Моцарта; огромное дарование сына было вынесено к вершинам гениального творчества волею отца.

У гениев «от себя» развитие медленное, иногда запоздалое, судьба обращается с ними довольно жестоко, порой даже зверски жестоко. Здесь фанатическое преодоление судьбы и преодоление самого себя.

В исторической веренице выдающихся людей этого типа мы видим застенчивого, косноязычного Демосфена, ставшего величайшим оратором Греции. В этом ряду и наш гигант Ломоносов, преодолевший свою великовозрастную неграмотность; здесь и Джек Лондон с его обостренным до болезненности чувством собственного достоинства и настоящим культом самообладания и самопреодоления; здесь душевнобольной Ван-Гог; здесь яростный Вагнер, овладевший нотным письмом лишь в двадцать лет.

Многие из этих людей в детстве и юности производили впечатление малоспособных и даже тупых. Джемс Уатт, Свифт, Гаусс были «пасынками школы», считались бездарными. Ньютону не давалась школьная физика и математика. Карлу Линнею прочили карьеру сапожника. Гельмгольца учителя признавали чуть ли не слабоумным. Про Вальтера Скотта профессор университета сказал: «Он глуп и останется глупым». О Шеридане писали: «Тот, кому суждено было в 25 лет от роду приводить всю Англию в восторг своими комедиями и красноречием своим на трибуне потрясать сердца слушателей, в 1759 году (то есть в восьмилетнем возрасте) получил название самого безнадежного дурака...» «У тебя только и есть интерес, что к стрельбе, возне с собаками и ловле крыс, ты будешь позором для себя и своей семьи», — говорил отец Чарльзу Дарвину.

У гениев «от себя» над всем преобладает несокрушимая воля, неумное стремление к самоутверждению. У них колоссальная жажда знаний и деятельности, феноменальная работоспособность. Работая, они достигают вершин напряжения. Они преодолевают свои недуги, свои физические и психические недостатки, в буквальном смысле творят самих себя, и на самом творчестве их, как правило, лежит отпечаток яростного усилия. Гениям «от себя» порой не хватает той очаровательной непринужденности, той великолепной небрежности, что свойственна гениям «от бога», но гигантская внутренняя сила и страсть, соединенные с неукоснительной требовательностью к себе, возводят их произведения в ранг гениальности... Думаю, что к этому типу гениев относится и Эйнштейн, который не шутя заявил однажды: «У меня нет никакого таланта, а только упрямство мула и страстное любопытство». В школьные и студенческие годы создатель теории относительности тоже, как известно, особенно не блистал. Нельзя, конечно, сбрасывать со счетов исходный потенциал дарования и у гениев «от себя»: что-то дол-

жно было быть, что питало страстное влечение к делу и веру в себя, — может быть, их толкало вперед смутное чувство нераскрытых возможностей... Бесспорно одно: на этом полюсе гениальности впереди всего воля, саморазвитие и самопреодоление.

Кто не бывал «в ударе»? Кто не знал в жизни минут, когда все поразительно проясняется и удаётся, когда все получается «само по себе»? Каждый хоть раз испытывал тот вдохновенный взрыв, то состояние, которое позволяет иной раз новичку выигрывать у классного игрока... Быть «в ударе» — не значит ли это находиться в — увы! — кратковременном, ускользающем состоянии гениальности? Быть гением — не значит ли это хронически находиться «в ударе»?

О НЕДОВОЛЬСТВЕ СОБОЙ

«Вышло так, что я оказался вне общества... На малейшую критику, иронический смех реагирую крайне болезненно... Товарищи, подметив эту мою слабость, стали нарочно меня поддевать... В конце концов я ушел из общежития...»

(Рабочий, учащийся вечернего техникума, 17 лет.)

«...С самого детства чувствую себя в обществе людей скованно, напряженно. Ничего не могу с собой сделать... Всегда сторонилась людей, не могла с ними нормально общаться и страдала от этого... Ощущение одиночества бывает невыносимо... Завидую людям, которые могут свободно разговаривать и смеяться с другими...»

(Служащая, 28 лет.)

«...День проскакивает незаметно. Пока войдешь в ритм, день уже кончился. Времени не хватает».

(Рабочий, студент вечернего института, 25 лет.)

«...Прошу вас ответить на мой вопрос: какими способами можно улучшить свою память?»

(Школьник, 16 лет.)

«Не могу заставить себя заниматься. Засыпаю над книгой через 15 минут».

(Медсестра, 22 года.)

«Очень мешает жить чувство неуверенности в себе. Оно постоянно, особенно в общении с людьми. Легко соглашаюсь с тем, что говорят другие, хотя в глубине сознаю, что прав я».

(Студент, 23 года.)

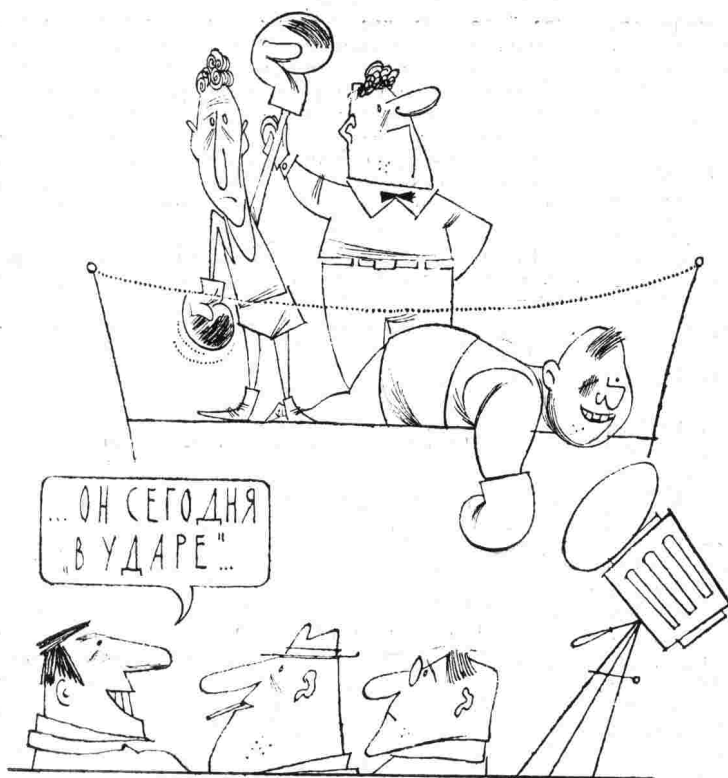
«Как выработать организованность?.. Заводил записные книжки, но забывал в них заглядывать. Все время оказываюсь во власти момента. Куда-то иду, что-то делаю, потом спохватываюсь — время упущено, самое главное так и не сделано...»

(Аспирант, 27 лет.)

«Не могу выступать перед людьми, даже если хорошо подготовлен. Страшно волнуюсь. Какой-то спазм... Говорю совершенно не то и не так, много лишнего. Потом ругаю себя, считаю себя трусом».

(Служащий, 30 лет.)

«...Два раза покупал баян, потом продавал... Те-



перь опять купил, в третий раз. Музыка люблю, а слуха нет, не нахожу себе места... Посоветуйте, что делать,— бросить все или продолжать...»

(Колхозник, 32 года.)

«Живу в ожидании какого-то просветления. Кажется, чего-то мне не хватает, в голове моей что-то закрыто, заперто, но вот-вот раскроется. Что-то изменится, и прекратится посредственное существование, голова заработает ясно, чисто, сделаю какое-нибудь открытие...»

(Женщина-инженер, 26 лет.)

Эти выдержки подобраны из многочисленных читательских писем, полученных мною за последнее время в ответ на статьи, посвященные психике.

Вопросы — как мне исправить в себе то-то и то-то — исходят чаще всего от молодых людей. Их задают обычно вполне здоровые люди, по тем или иным причинам недовольные своей психикой. Думаю, не ошибусь, если скажу, что таких людей много. Одно время, наполовину шутки ради, я распространял среди своих знакомых такую анкету:

К КАКОЙ ГРУППЕ ВЫ ОТНЕСЕТЕ СЕБЯ!

- 1) Доволен собой, доволен другими людьми;
- 2) доволен собой, недоволен другими людьми;
- 3) недоволен собой, недоволен другими людьми;
- 4) недоволен собой, доволен другими людьми.

Большинство, как и следовало ожидать, отнесло себя к третьей группе (в том числе и автор этих

строк). За ней следовала четвертая, затем — первая, и на последнем месте — вторая группа. Таким образом, судя по этой нехитрой анкете, большинство людей недоволено собой, прежде всего собой, а затем уж другими.

Если отвлечься от частностей и попытаться заглянуть «в корень» всех пестрых психических недостатков здоровых людей, то можно убедиться, что главные причины их достаточно однообразны. Основным стержнем, на который нанизываются все прочие психические недостатки, оказывается недостаточность воли (как раз то, что в избытке имеется у гениев «от себя»). Именно слабовелие составляет главное препятствие к достижению любых жизненных целей. Не меньшее значение имеет эмоциональная неуравновешенность, плохой контроль над эмоциями. Очень часто эмоциональные недостатки (раздражительность, чрезмерная застенчивость и т. д.) слиты в одно с дефектами воли. Они выявляются именно там, где воля обнаруживает свою слабость.

Многие хотят переделать себя, но не знают, как к этому подступиться, сомневаются, достижима ли психическая перестройка. Индивидуальных причин недовольств собой множество, их не перечислишь, в рубрики не уложишь. Но конечные цели у всех более или менее общие: лучше владеть собой, лучше себя чувствовать, избавиться от дурных привычек и неприятных особенностей характера, развить и усилить способности, жить в обществе полноценно.

Можно ли этого добиться?

Культуризм, принимающий за последние годы все более массовые масштабы, показывает, какие чудеса способна сделать с человеческим телом продуманная, систематическая, совершенствующая работа. Хилые, неуклюжие приобретают атлетический вид. Но ведь психика наша — чувства, воля, память, мышление — все это принадлежит нам точно так же, как тело, все это лепится из того же природного материала, только еще более изменчивого, пластичного и управляемого!

ПСИХИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА

Собственно говоря, средство одно, бесконечно разнообразно и многочисленно лишь способы его применения. Здесь, мне кажется, достаточно будет рассказать лишь о его сущности, и читатель сможет, если пожелает, начать им самостоятельно овладевать.

Не я первый и, очевидно, не я последний пишу о самовнушении, предлагая его в качестве средства работы над психикой. С глубокой древности до самого последнего времени использовалось множество способов самовнушения для самых различных человеческих целей. Магия, религия, медицина, искусство, военное дело, педагогика, труд — везде, где только оказывалось необходимым мощное и глубокое влияние на психику человека, обращались к самовнушению. На самовнушении основаны такие разные по целям и методам системы, как йога и учение Станиславского. Да и без особых систем испокон веков мно-

жество людей, мало что зная теоретически о самовнушении, тем не менее испытывало на себе его колоссальную силу. Сила самовнушения делала людей инвалидами, сводила в могилу, но она же спасала от страданий и смерти, вскрывая неслыханные, неожиданные возможности психики.

Известны десятки и сотни подобных случаев. Некоторые из них даже слишком известны — настолько, что мы перестаем вникать в их существо. На память приходят прежде всего Николай Островский, Маресьев и их многочисленные «двойники», имена которых получили не столь широкую известность. Если мы говорим, что к героическому самопреодолению этих людей побуждало неутолимое желание служить сверхличному делу, высокой идее, то нельзя не видеть и другой, «технической» стороны: все они, преодолевая себя, прибегали к направленному самовнушению. Способность самовнушения свойственна человеческой психике от природы; это то, что всегда «под руками», и те, кто использует эту способность сполна, добиваются поразительных результатов. Не происходит ничего сверхъестественного. Мобилизуется та самая избыточность человеческих мозговых сил, о которой мы уже говорили. При самовнушении психика человека, пользуясь своими неограниченными возможностями комбинирования представлений и самоотражения (рефлексии), создает внутренние модели самой себя и сама же себя под них подгоняет. Сосредоточением внимания и настойчивым повторением эти психические самомодели вводятся в память (но не в механическую, а в так называемую «память чувства»), переходят из сознания в подсознание и в конце концов уже автоматически, непроизвольно начинают влиять на самоощущение и поведение.

Внушить себе что-либо — значит заставить себя в это поверить. Поверить: я такой (а не иной) — и, значит, по сути дела, уже быть таким. Разумеется, до известных границ: поверив, что я Наполеон, я не стану Наполеоном, хотя верно и то, что в поведении душевнобольного, искренне верящего, что он Наполеон, появляются черточки, которые ни за что не смог бы скопировать человек, притворяющийся Наполеоном.

Схема самовнушения выглядит так: должен — хочу — могу — есть. Движение идет от сознания к подсознанию, от решения к вере, к убеждению.

Самовнушение, применяемое полубессознательно, пронизывает, по существу, всю нашу жизнь, явственно проскальзывает то здесь, то там, но по большей части используем мы его неумело и слабо.

Человек, встав утром, тщательно бреется, надевает чистую сорочку, внимательно подбирает галстук и, причесывая голову, принимает перед зеркалом бодрый, несколько воинственный вид... Он и не подозревает, что производит молчаливое самовнушение приблизительно в таком духе (если перевести на язык слов): «Я энергичен и полон достоинства. Я полон решимости провести этот день в высшей степени плодотворно. Я покажу кое-кому, на что я способен...» Такое бессознательное самовнушение «зряжает» память чувства у одних на весь день, у других — на полдня, у третьих — едва на первые полчаса. Вероятно, именно из-за потребности в дополнительном самовнушении Сен-Симон велел своему слуге будить его каждое утро словами: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Обратите внимание: это делалось именно утром; гордый призыв врезался в еще спящий мозг великого утописта, как бы включая в нем свет.

Познакомившись благодаря своей профессии с разнообразными методами самовнушения, применяемы-

ми в медицине, я пришел к полному убеждению, что некоторые из этих методов, их «квинтэссенция», вполне могут применяться для более широких целей здоровыми людьми. Я не оригинален в этом мнении. В Польше, например, с недавнего времени сеансы обучения самовнушению стали передавать по телевидению. Это так называемая «аутогенная тренировка» (саморасслабление или разрядка). Этой системой самовнушения с успехом пользуются некоторые известные спортсмены — Шмидт, Бажановский и другие.

Для массового применения нужны методы упрощенные, «портативные», свободные от «специализированных» наслоений. Самым целесообразным представляется применение психической гимнастики — по аналогии с физзарядкой, уже достаточно прочно укоренившейся в быту и на производстве.

Психическая гимнастика должна заключаться в концентрированном, направленном самовнушении, дающем психике определенный настрой и позволяющим постепенно овладевать самой техникой самовнушения. Отработанные элементы этой техники могут включаться в любое время, в любой ситуации.

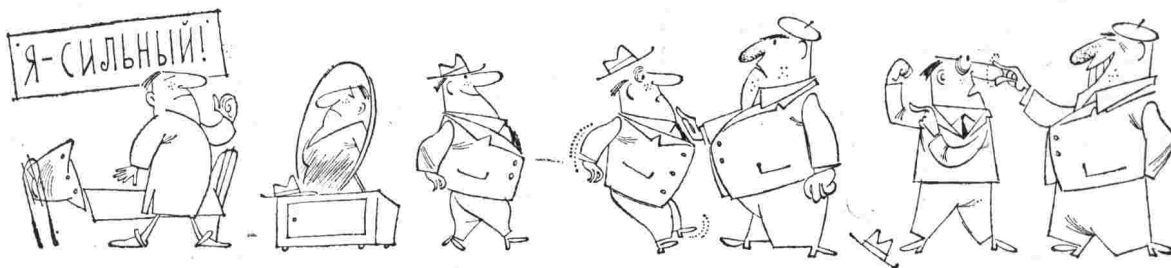
Начать лучше всего с аутогенной тренировки. Вспомните состояние, которое бывает у вас, когда вы просыпаетесь утром после хорошего, освежившего сна. Тело еще расслабленное, голове легко. Дыхание свободное. Мысли могут принять любое направление, никакие эмоции, никакие заботы еще не давят на вас. Вот это переходное состояние между сном и бодрствованием и составляет основу аутогенной тренировки. Добиться его можно различными способами.

Положение тела может быть любым, но лучше всего свободная поза, называемая «позой кучера»; сидя, голова полуопущена, предплечья опираются на слегка расставленные колени.

Вот один из наиболее распространенных способов: сосредоточение на представлении о тепле и тяжести, наполняющих тело. Сначала это ощущение вызывается в одной из рук (правой; у левой — левой). Упорно и максимально ярко представляйте себе: «Моя правая рука становится тяжелой и теплой... как вата, пропитывающаяся теплой водой...» И тому подобное. Довольно скоро, обычно через минуту-две, вы действительно начинаете ощущать тепло и тяжесть в руке (это расширяются сосуды и расслабляются мышцы). Последовательными тренировками вы усиливаете это ощущение. С каждым разом оно возникает все легче. Переходите к другой руке, наконец, учитесь вызывать такое же ощущение во всем теле. Следом за этим рекомендуется сосредоточиваться на представлении: «прохлада в области лба». Сочетание двух этих ощущений (тепло и тяжесть тела, прохлада во лбу) создает состояние полной эмоциональной свободы и вместе с тем сосредоточенности, самообладания.

По другому способу такое же состояние достигается путем медленного маятникообразного сгибания-разгибания различных суставов тела: пальцевых, локтевых — с помощью легких маятникообразных покачиваний головы, туловища и т. д. Производя эти движения, вы стараетесь уловить, усилить и закрепить ощущение «наименьшего напряжения». Мысль одна: «Я совершенно расслаблен».

Наконец, то же ощущение эмоциональной свободы возникает при равномерном, неторопливом, несколько углубленном дыхании (вспомните «вздохи облегчения»). Дыша так, тоже можно уловить состояние «наименьшего напряжения» и научиться «включать»



его в нужный момент. Лучше всего освоить все три способа. В ходе тренировок каждый может найти свои, индивидуальные дополнительные приемы.

Для овладения основами аутогенной тренировки нужен примерно месяц ежедневных занятий; проводить тренировку лучше всего днем и вечером, каждое занятие минут по 10—15. Лучше заниматься в уединении, но в крайнем случае это можно делать в любой обстановке. В первое время при расслаблении часто клонит ко сну, но засыпать ни в коем случае не следует, надо удерживать это состояние, запоминать возникающие в нем ощущения. Очень важно научиться быстро переходить из состояния расслабления в состояние максимального напряжения и обратно. Этот навык позволяет усиливать работоспособность, повышает все более необходимую в наше время психическую подвижность. В конце концов приобретается умение моментально расслабляться и, наоборот, предельно мобилизоваться по молниеносному мысленному самоприказу.

Овладение аутогенной тренировкой повышает волевой тонус и вместе с тем дает эмоциональную уравновешенность, способность «перехватывать» любую нежелательную эмоцию. Аутогенная тренировка создает «стартовую площадку» для дальнейшего совершенствования психики, для любых самовнушений. Она как бы стирает с психики, как с доски, ненужные записи и готовит ее тем самым для новых.

Овладев элементами аутогенной тренировки, можно двигаться дальше и отрабатывать формулы самовнушения. На фоне достигаемого аутогенной тренировкой «сосредоточенного расслабления» вы максимально сосредотачиваетесь на ярких, образных представлениях или на выразительных, лаконичных словесных формулировках, выражающих суть того состояния, которого вы хотите добиться. Вы как бы «вживаетесь» в эти состояния.. Хорошо проводить утреннюю психическую гимнастику с «вживанием» в формулы самовнушения еще лежа в постели, когда фон «сосредоточенного расслабления» готов сам собой.

Вот примерные утренние формулы (здесь и дальше я привожу их словесные выражения, но «для себя» их не обязательно выражать в словах, важно именно «вживаться» во внутреннее содержание, в их смысл): «СВЕЖЕСТЬ И БОДРОСТЬ». «Я ЗАРЯЖЕН ЭНЕРГИЕЙ». «ВЛАСТЬ НАД СОБОЙ». «Я ВЛАДЕЮ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ». «РАБОТА НАД СОБОЙ ПРИНОСИТ УСПЕХ». «ВПЕРЕДИ ПЛОДОТВОРНЫЙ ДЕНЬ». «ВОЛЯ СОБРАНА, КАК ПРУЖИ-

НА». «ПРИГОТОВИЛСЯ». «ВНИМАНИЕ!». «ВСТАТЬ!»

Быстро подняться и приступить к обычным утренним процедурам.

Такие же формулы можно включать и в дневной сеанс психической гимнастики, особенно лицам с недостаточным волевым тонусом — расхлябанным, неорганизованным, малоработоспособным натурам.

Формулы самовнушения для людей, у которых преобладают эмоциональные недостатки, должны выглядеть приблизительно так: «СПОКОЙСТВИЕ БЕЗ УСИЛИЙ». «Я УВЕРЕН В СЕБЕ». «ПОЛНАЯ НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ». «СВОБОДА И ЛЕГКОСТЬ ВО МНЕ». «Я ЛЮДЯМ ПРИЯТЕН». «Я ВНУТРЕННЕ УЛЫБАЮСЬ». «МНЕ ПРИЯТНО С ЛЮДЬМИ».

Вечерние формулы должны успокаивать, расслаблять: «ПОКОЙ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ». «ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАБОТ». «МЫСЛИ ЛЕНИВО УХОДЯТ».

Главное правило формул самовнушения: они должны утверждать, а не отрицать, быть наступательными, а не оборонительными. Нельзя формулировать: «Я не раздражаюсь». Правильно: «Я спокоен».

Формулы, приведенные здесь, разумеется, лишь примерные образцы. Каждый, сообразуясь с собственной индивидуальностью, может найти наиболее подходящие для себя и своих целей формулы самовнушения. Их можно «импровизировать». Важно лишь быть упорным в их поиске и применении.

Успех придет обязательно; он нарастает по мере занятий по принципу «снежного кома». Но, вообще говоря, трех-четырех месяцев интенсивных занятий психической гимнастикой уже достаточно для заметной перестройки всего фона психики: вы овладеете основами техники самоконтроля.

ПСИХИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРИЗМ

Серьезность решения, неотступность — главное условие успеха работы над психикой, как всякой другой работы. Не стоит ожидать здесь легких успехов. Пробы, и ошибки, и опять пробы. Все зависит от вас, и если вы отступили, разочаровались, — значит, вы не захотели помочь самому себе.

Первые шаги, как и во всем, самые трудные; надо подготовиться и к неудачам и к срывам. Надо поднять восстание против себя самого, предпринять длительную осаду собственной психики. «Все! Взят! Решил вырабатывать волю!» — такие знакомые де-



кларации имеют знакомый конец: они забываются при первом соблазне. Лучше всего не делать никаких деклараций, а постепенно вырабатывать привычку к самонаблюдению и самоотчету — в форме ли дневника или в форме регулярных мысленных бесед с собою.

Самоотчет должен быть, разумеется, честным и беспощадным. Втирать очки самому себе — малопривлекательное занятие. Не самокопание, не самолюбование и не самоуничижение, а трезвые, лаконичные самооценки без завышений, с заданиями на будущее. Выработанная привычка к самонаблюдению и самоотчету — уже огромное достижение. Это половина победы над самим собой.

Сказанное можно суммировать коротко: отношение к психике должно быть спортивным в лучшем смысле этого слова. Относиться к своей психике так, как спортсмен или культурист относится к своему телу.

Психика людей, овладевших самовнушением, ранее инертная, непослушная, становится гибкой, подвижной и вместе с тем более устойчивой. Мозг этих людей работает в «оптимальном режиме», как хорошо налаженная машина, и поэтому, естественно, у них повышаются шансы на успех в любом деле. Известны случаи, когда с помощью самовнушения усиливались некоторые «специальные» способности, например, счетные (случай с ливийским крестьянином Кузи, о котором сообщали в печати).

В начале нашего века был предложен специальный метод улучшения памяти, основанный исключительно на самовнушении. Люди, овладевшие этим методом, подчас творили настоящие чудеса. В 20-х годах по циркам Европы гастролировал знаменитый То-Рама. С помощью одного лишь самовнушения он полностью подавлял у себя болевую чувствительность: он, например, позволял прокалывать свое тело огромными иглами. «Я выработал свою систему победы над самим собой и вообще не испытываю страданий, если не хочу их испытывать», — говорил он.

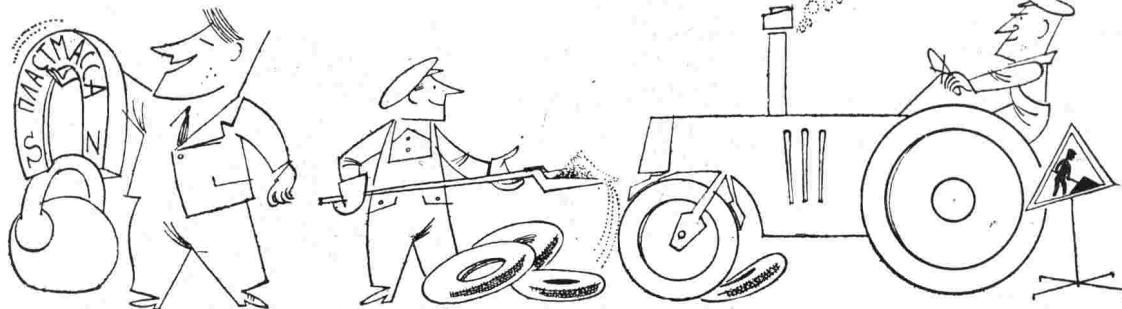
Высокоразвитая способность к самовнушению составляет немалую долю успеха выдающихся мастеров

эстрадных психологических опытов Вольфа Мессинга и Михаила Куни. Люди, овладевшие самовнушением, становятся хозяевами, распорядителями собственной психики и находятся в неизмеримо более выгодном положении по сравнению с теми, кто, утратив веру в себя, «живет на таблетках». Самовнушение — самый естественный и потому самый надежный способ оптимизации психики. Для овладения им, как и любым другим навыком, необходимо только одно: неотступность. Поставить себе задачу и овладеть, как овладевают, скажем, техникой вождения автомобиля или иностранным языком. Конечно, разным людям потребуется для этого разное время и усилия, но доступно это всем и каждому.

Говоря об этом с полным убеждением, я тем не менее не питаю иллюзий относительно коэффициента полезного действия своих аргументов, зная, как трудно побудить человека заняться собою, если только его не побуждают к этому чрезвычайные обстоятельства. «Да, это, наверное, что-то даст... хорошо бы, конечно, заняться... да времени нет...» — вот что самое страшное. Я был бы рад, если хотя бы один из ста читателей дал себе труд овладеть аутогенной тренировкой, воспользовавшись этим предельно сжатым, конспективным изложением.

Одними благими пожеланиями дело не сдвинешь. Нужно искать какие-то более действенные формы массового распространения психологических знаний и психологической техники. Может быть, как это сделали в Польше, использовать телевидение? Увлекаются культуризмом, который состоит в развитии мускулов, а не стоит ли подумать о психическом культуризме? Каждый день мы читаем в газетах о рационализаторских предложениях, улучшающих машины, которые нам служат. А как хорошо было бы, если бы кто-нибудь подал хотя бы одно предложение об улучшении машины, которую каждый из нас носит у себя на плечах! Без глубокого понимания человеческой психики, без вооружения тонкой психологической техникой не достичь цели, которую поставило перед собой наше общество, — воспитание нового, физически и психически более совершенного человека.

—



НОВОСТИ ОТОВСЮДУ

ДОЛГОВЕЧНЫЙ АСФАЛЬТ

Набегает в глаза дорога. Крутя баранку, шофер следит не только за поворотами и встречными машинами, но и за трещинами на асфальте. Долгое время они были неразрешимой технической проблемой XX века. Во всех странах вода, ветер и смена температур делают одинаково черное дело — портят дороги.

В Польше эту проблему пытались решить с помощью синтетического каучука. Если его добавить в асфальт, то срок жизни дорог продлевается, они не «стареют» и не покрываются морщинами-трещинами.

Однако каучук дорог и дефицитен. И польские инженеры нашли оригинальный выход. Они начали добавлять в асфальт резиновый порошок, приготовленный из старых автомобильных покрышек.

ПРЕЕМНИК АЛЮМИНИЯ

В качестве такового все чаще называют стеклопластик. Судя по проектам французских ученых, ему суждено побывать и на предельных глубинах океана и высоко в воздухе. Они утверждают, что стеклопластик — идеальный материал для строительства глубоководных батискафов. Он легок и прочен, не подвергается коррозии.

Французские инженеры сейчас испытывают первый в мире самолет, корпус и крылья которого сделаны из стеклопластика. Пластмассовый самолет летает со скоростью около 300 километров в час. За счет облегчения веса он берет больше пассажиров и груза, чем такой же самолет из алюминиевых сплавов.

МЕТАЛЛ ДРУЖИТ С ПЛАСТМАССОЙ

В Институте общей и неорганической химии Академии наук СССР созданы вещества, существование которых еще недавно казалось невозможным, — металлополимерные сплавы. Советские ученые научились в массе полимерного материала равномерно распределять коллоидные частицы железа, свинца, меди и других металлов. При таком необычном сочетании получают сплавы с очень ценным комплексом свойств.

Ученые в шутку говорят: вот случай, когда дважды два — пять. Посудите сами: отдельно из пластмассы или молибденовой стали сделать тормозную колодку нельзя. А из их сплава получается. Тормозная колодка из металлополимера обеспечивает повышение скорости поезда, ибо она легче обычной, чугунной, а тормозит лучше.

Сплав полимеров и частиц никеля, кадмия, хрома дает жаростойкий и кислотостойкий материал для химической промышленности.

Сплав полистирола и железа дает легкий материал с магнитными свойствами. О пластмассовом магните не мечтали даже писатели-фантасты.

Свинцовая защита утяжеляет изотопные приборы и ядерные установки. Металлополимер на основе коллоидного свинца и полиэтилена открывает возможности для изготовления легких кожухов, надежно защищающих от гамма-излучений.

КОЕ-ЧТО О ДИНОЗАВРАХ

Недавно американские ученые раскопали полный скелет гигантского динозавра. Длина его от огромной пасти до последнего хвостового позвонка составила двадцать шесть метров. Чудовище, прыгавшее по земле, как лягушка, жило примерно 130 миллионов лет назад.

Найденный ящер относится к когда-то многочисленному семейству игуанодонов, которые в среднем имели длину не больше десяти метров.

По уже сложившемуся мнению, все они были травоядными рептилиями. Но когда палеонтологи рассмотрели с помощью поляризационного микроскопа окаменелые остатки внутренностей и костей игуанодона, они, к своему удивлению, убедились, что вымерший гигант был всеядным хищником. Он мог питаться болотными травами, но охотнее поедал себе подобных.





«АМФИБИЯ» ОТСЧИТЫВАЕТ СЕКУНДЫ

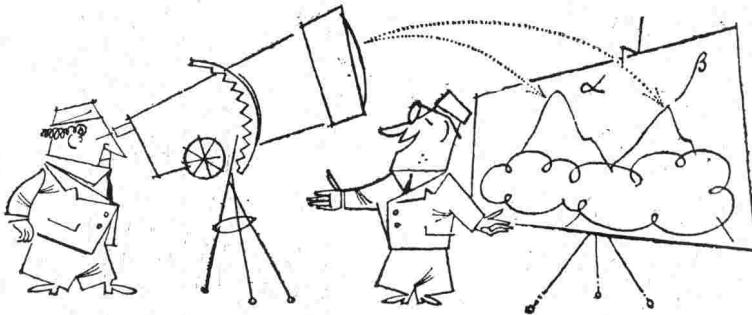
На руке аквалангиста — часы с черным циферблатом и светящимися цифрами. По размерам они не отличаются от обычных. Такая же секундная стрелка, такой же хромированный корпус. Только название необычное — «Амфибия».

С такими часами можно погрузиться на глубину до 200 метров. Их герметический корпус надежно защищает механизм от соленой воды. Во время испытаний в специальной камере они исправно тикали при давлении в 22 атмосферы.

Такие часы для спортсменов-подводников и водолазов начинают выпускать завод в городе Чистополе.

ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ В КИРПИЧЕ

Ученых Каирского университета недавно можно было застать за очень странным делом. В масках, как при хирургической операции, в комнате со стерильным воздухом они разрезали никелированной пилой... кирпич. Поверхность кирпичей и пила перед операцией также самым тщательным образом стерилизовались. Затем из пор в середине кирпича брались крупинцы глиняного порошка. В этой же комнате (при соблюдении всех правил осторожности) порошок переносился в питательную среду из агар-агара и выдерживался несколько дней в тепле специального



инкубатора. После этого ученые обнаружили под микроскопом... ожившие бактерии двух видов.

Остается добавить, что кирпичи брались из стен древнеегипетского храма в Карнаке. Микробы ожили после сна, длившегося 34 века.

ВЕНЕРИАНСКИЕ АЛПЫ

На полках в рабочих кабинетах ученых еще нет атласа поверхности Венеры. Наша соседняя планета скрывается за толстым облачным слоем.

Однако радиолучи уже приносят некоторые сведения о рельефе Венеры. Так, недавно с помощью радиотелескопа в Пуэрто-Рико открыто два горных хребта, протянувшихся по поверхности планеты на четыре тысячи километров.

Хребты получили обозначение Альфа-альпы и Бета-альпы.

тивную отрасль науки — индикационную геоботанику. По снимкам, сделанным с воздуха, а также по наземным наблюдениям они составляют карты распространения некоторых растений, которые «выбирают» себе почву с определенными минералами.

Есть, например, виды трав, которые буйно растут над залежами молибдена. Другие предпочитают редкоземельные элементы. Фиалки любят цинк, а полевой хвощ — золото.

При избытке бора или битума, соли или гипса встречаются уродливые формы кустарника или деревьев. Хилый кустарник часто растет над платиной.

Словом, ботаники теперь способны оказывать существенную помощь разведчикам недр. Их методы при этом могут охватывать точными исследованиями большую площадь, чем бурение.

ЕЩЕ ОДНО ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ «ПОДУШКИ»

Приглядевшись, как движутся по воде современные корабли на воздушной «подушке», английские металлурги решили построить по этому принципу... прокатный стан.

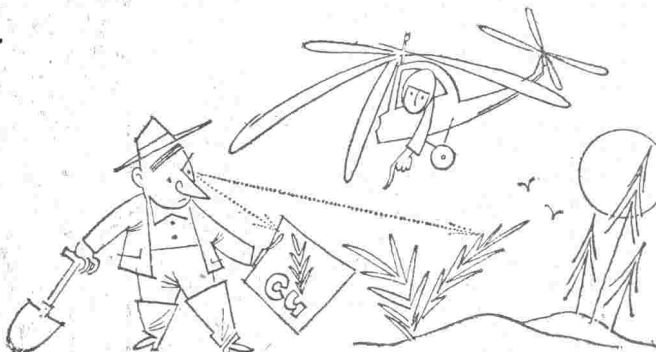
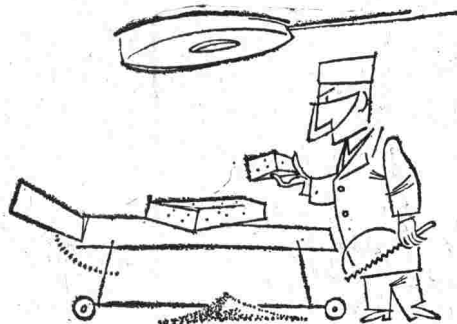
Конечно, не сам прокатный агрегат летает по воздуху. «Подушка», создаваемая струями теплого воздуха, поддерживает на весу раскаленные листы металла. Применяется она для того, чтобы не поцарапать поверхность только что прокатанных листов.

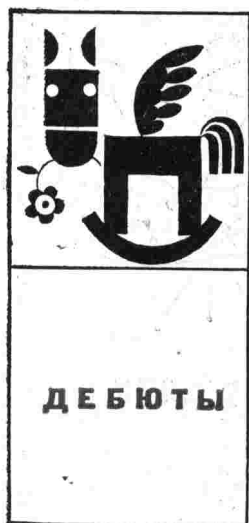
САМОЛЕТ, РАСТЕНИЯ, МИНЕРАЛЫ

Самолет кружится над лесами и полями и делает цветные аэрофотоснимки. Затем их изучают... ботаники. Сделав по ним специальные карты, они преподносят геологам подарки:

— Вот тут — каменная соль. Здесь — бор. А вот в этих местах — нефть, медная руда, подземные минерализованные воды.

Советские ученые сейчас разрабатывают новую и весьма перспек-





Наташа Аринбасарова:

«Я еще ничего
не умею...»

Ей двадцать лет. Она готовилась стать балериной, но неожиданно снялась в роли Алтынай в фильме Андрона Михалкова-Кончаловского «Первый учитель». Минувшей осенью в Венеции за исполнение этой роли Наташе Аринбасаровой был вручен кубок Вольпи, как лучшей актрисе кинофестиваля.

Она застенчива и сдержанна в суждениях. Давать интервью еще не привыкла.

— Весной 1964 года я заканчивала хореографическое училище при Большом театре,— говорит Наташа.— На одном из занятий ко мне подошли какие-то люди, спросили фамилию. Потом я узнала, что приезжали с «Мосфильма». Вскоре меня пригласили на фотопробы, познакомили с Кончаловским, провели несколько репетиций. Я уже знала, что готовятся съемки по повести Чингиза Айтматова. И, закончив училище, я уехала с киноэкспедицией в Киргизию. Я с трудом привыкала к необычным условиям работы, к съемочной камере, к людям, среди которых мне предстояло полгода жить и работать. Я родилась в Москве, а потом долгое время жила в Средней Азии, где служил мой отец. Мой родной язык — казахский. Во время съемок я впервые увидела красочные пейзажи Киргизии, узнала обычаи жителей айюлов, их костюмы, быт... Я читала Айтматова, позже меня с ним познакомили. Он очень помог мне при изучении характера моей героини. Помогали мне и женщины, снимающиеся в фильме,— в основном актрисы народных театров и просто местные жительницы. Они меня одевали, причесывали, вплетали в косы тяжелые серебряные монеты и кораллы. Постепенно я освоилась, научилась всему, что должна делать Алты-

най, постаралась все это почувствовать... Много и терпеливо со мной работал режиссер: ведь я почти ничего не умела в кино.

— Значит, трудно было сниматься, Наташа?

— Очень,— признается она.— Вначале не представляла, как можно что-нибудь сделать перед камерой, она меня гипнотизировала. Потом, правда, я перестала ее замечать. Я жалела свою героиню, мне казалось, что все это происходит со мной, мне было даже страшно. Никогда не забуду, как снималась сцена омовения. Было страшно холодно, моросил дождь. Но так как он был недостаточно сильный, пожарные брали воду из ледяной горной речки и поливали нас из шести насосов. В конце съемки я потеряла сознание и упала с лошади...

— А с балетом теперь покончено?

— Мне грустно об этом говорить, но это так. Здоровье не позволяет.

— Каковы же ваши ближайшие планы, Наташа?

— Осенью буду поступать во ВГИК, в мастерскую Сергея Герасимова. Нужно очень много учиться: ведь я еще ничего не умею. Мне хочется играть в театре трагические роли, может быть, Шекспира. Но я знаю, для меня это почти нереально: внешность не очень подходящая... А в кино хотелось бы сыграть острохарактерную роль...



Фото Г. Тер-Ованесова.

Виктор Третьяков:

«Играть без конца,
все лучше
и лучше...»



Фото С. Хенкина.

Ему тоже двадцать. Он один из лауреатов Третьего Международного конкурса имени Чайковского. Студент-первокурсник получил золотую медаль!

Вспоминаю, как сразу же после конкурса друзья и коллеги отзывались о Викторе Третьякове: «В Серебряном бору мы жили на одной даче. Утром я услышал его игру, и мне страшно захотелось заниматься...»; «Он очень «беспронгрышный» скрипач. Не знаю, как это ему удается. Мне это не под силу»; «Мне тоже...»; «У него огромный темперамент в сочетании с виртуозностью и артистизмом».

Я встретила с Виктором Третьяковым в полутемном зале Московской консерватории за час до начала занятий.

— Как вы стали скрипачом? — спрашиваю Виктора.

— Мой отец был военным музыкантом, играл на трубе, мама, правда, занималась домашним хозяйством, но музыку тоже очень любила. Каждое лето я проводил с отцом в лагерях, вечно торчал около оркестрантов. Мне исполнилось семь лет, когда мама привела меня в Иркутскую музыкальную школу с намерением записать в фортепьянный класс. Но получилось иначе. Встретил меня педагог по скрипке Ефим Яковлевич Гордин и предложил заниматься у него. Играл я на скрипке охотно, занимался по пять часов в день. Меня мальчишки дразнили, когда я шел с футболом в школу: «Что ты все «пилишь» на своей скрипке? Иди лучше в футбол погоняем!» Помню, я едва не бросил скрипку, но Гордин взял меня в руки. Через год мой педагог обратился в Москву к Юрию Исаевичу Янкевичу с просьбой принять меня в музыкальную школу... В августе 1954 года мы всей семьей приехали в Москву. Янкевич прослушал меня и взял в свой класс. Тогда я еще не понимал, как мне повезло, к какому я попал педагогу. Он сделал почти невозможное: чтобы не разлучать меня с семьей, добился через Генштаб перевода моего отца в Москву.

Долгое время мы жили в общежитии при училище, было очень трудно, почти никаких условий. Я перешел в Центральную музыкальную школу при консерватории и окончил ее в позапрошлом году. Ну, остальное известно. В консерватории я продолжаю заниматься у Янкевича.

— Ваш идеал скрипача?

— Мне лично ближе всего Исаак Стерн. Я слышал его в концертах и в записи. Его игра для меня — всегда какой-то необъяснимый стимул, хочется потом играть без конца, все лучше и лучше. Но до него очень, очень далеко... Он творит музыку на сцене, на наших глазах. Это — редкое явление.

— Кто из композиторов вам близок?

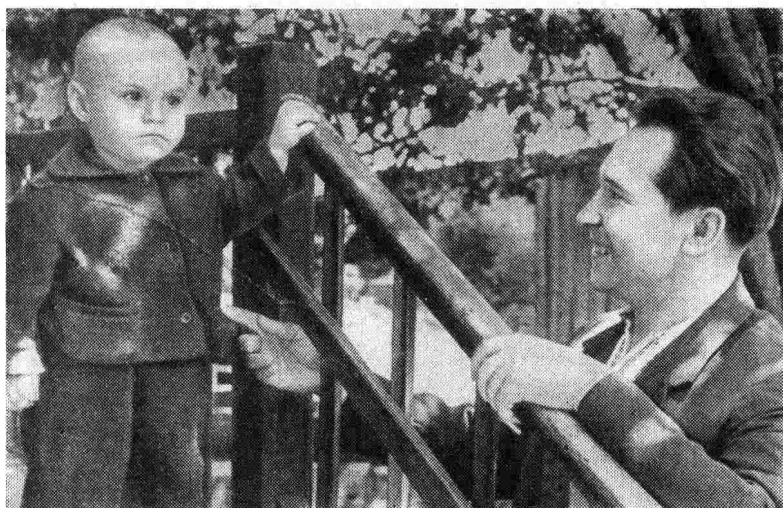
— Я предпочитаю романтиков. Очень люблю Концерты Брамса, считаю, что лучше ничего нет, а потом услышу Баха или Моцарта — происходит то же самое. С удовольствием играю Прокофьева, Стравинского. Я, должно быть, всеяден, но пока ничего не могу с этим поделать.

— Самое большое ваше желание?

— Как можно больше играть. Хочу повидать мир. Так как мне предстоят гастроли, уверен, что это желание осуществимо. Но вот иногда становится грустно: в отличие от многих я никогда не смогу, оставив на время свою скрипку, взять рюкзак, палатку и махнуть по стране, просто так, не думая о том, что нужно заниматься. Это мне уже не дано. Я буду ездить в комфортабельном вагоне, летать самолетом, жить в хорошей гостинице, а пешком, по лесам, в горах, у костра, — пожалуй, никогда... Мы, музыканты, всегда должны быть в форме, и даже день без скрипки невозможен.

Но я готов пожертвовать всем. Прежде всего играть, как можно больше играть.

Интервью взяла
Людмила ГЕРАСИМОВА.



К Л Я Т В А ГИППОКРАТА

Операция могла закончиться трагически и для больного и для врача. Но мальчик умирал, и Анатолий Писарев решился на операцию.

— Неужели, кроме вас, не было в Краматорске врача, способного сделать операцию Жене Соболю? — спрашивал я Писарева.

— Врач был, золотые руки, но Григорию Наумовичу Блоху восьмой десяток пошел, и подобные операции ему теперь не под силу.

— И больше никого не нашлось?

Анатолий не ответил, но я и сам знал: есть в городе, кроме него и Блоха, еще один врач-отоларинголог, который отказался делать операцию под тем предлогом, что не состоит в штате больницы.

— Пришлось самому оперировать. Григорий Наумович ассистировал... Не пропадать же человечку! Сейчас такой бутуз растет!

— Очевидно, это была самая трудная ваша операция?

— Скорее необычная, чем трудная...

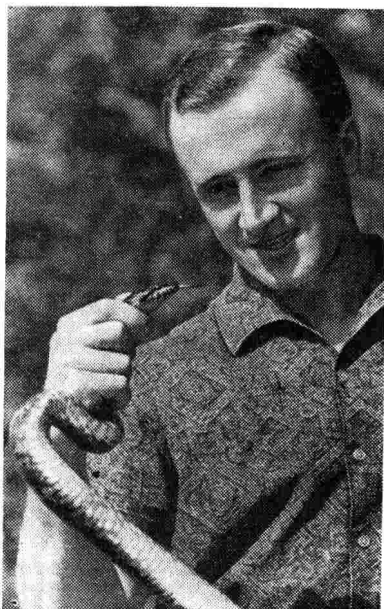
Рассказывать подробней Анатолий не захотел.

— Надо было, вот и оперировал.

Тогда я пошел к отцу Жени Соболя, молодому инженеру вычислительного центра одного из краматорских заводов. Любительские фотографии серьезного малыша украшали стены квартиры: Женья — единственный ребенок Виктора и Раи. Ребенок, которого долго ждали в этой семье.

— Вы были готовы к худшему? — спросил я.

— Даже при смертельном исходе, — сказал Виктор, — ни у кого не повернулся бы язык упрекнуть Писарева. Сам после приступа ап-



Врач Анатолий Писарев и спасенный им Женья Соболев («Клятва Гиппократ»).

«Держишь гадючку так нежно, будто хочешь поцеловать...» («Вальпургиев день»).

Подводный дом «Ихтиандр-66» перед погружением («Акванавт № 2 дает интервью»).

пендицита, чуть ли не с операционного стола — и взялся делать операцию... Это я, конечно, позже узнал.

— А что с Женей случилось?

— После легкого гриппа у Жени началось воспаление дыхательного горла. Подсвязочный ларингит, как его называют врачи... Доставили Женю в больницу — личико посиневшее, из горла хрип вырывается. Промедли немного — и мы бы лишились сына. А операцию некому делать... Послали старшую сестру в палату, где лежал после операции больной Анатолий. Посидела она у его кровати, посмотрела: говорить или нет? Доктор Блох подошел. Но Писарев уже и сам догадался: что-то неладное в больнице... Перебинтовали ему живот простыней потуже, чтобы швы от напряжения не разошлись, на коляске снова привезли в операционную. А там уже инструменты к операции готовы. С трудом пересадили Анатолия на вращающийся стул, винт до отказа подняли, чтобы операцию было удобнее делать. Стоять-то он не мог. Так и опери-

ровал. Медсестра Рая Чеботарева его поддерживала, как бы сознание не потерял...

Женю Соболя я разыскал в яслях. Разговор у нас был, к сожалению, односторонним: я говорил, а он молча слушал, серьезно смотрел на меня. Как я ни старался, рассмешить Женю мне не удалось.

Вторую, не менее уникальную операцию Анатолий Писарев сделал восемнадцатилетнему парню, страдающему эпилепсией. Приступ у больного начался во время еды — кусочек груши попал в дыхательное горло. Нужна была немедленная операция: ждать окончания приступа — заранее планировать смертельный исход. Парня не то что оперировать, к нему подступиться со скальпелем не было возможности. Пришлось собрать в больнице всех санитаров и медсестер — они держали больного, а Писарев оперировал... Чтобы избежать осложнений, в таких случаях после операции полагается вставлять на время в дыхательное горло никелированную трубку. На свой страх и риск Ана-

толий зашил рану наглухо: приступ эпилепсии продолжался, и оставлять трубку в ране было рискованно...

Перед отъездом из Краматорска я пришел в больницу попрощаться с Писаревым. Миловидная сестра предупредила меня:

— Анатолий Антонович готовится к операции. Освободится не скоро. Сегодня у нас трудный день.

И снова где-то в операционной Анатолий Писарев возвращал кому-то жизнь, творил новое чудо. Потому что сколько бы раз ни повторялось возвращение к жизни, оно всегда будет чудом. Мне вспомнилась старинная врачебная присяга, знаменитая Клятва Гиппократ, которую по окончании высшей медицинской школы давали в свое время врачи: «...в течение всей своей жизни ничем не помрачать чести сословия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время помогать, по лучшему моему разумению, прибегающим к моему пособию страждущим».

Бронислав ГОРБ

АКВАНАВТ № 2 ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ

В конце августа прошлого года близ мыса Тарханкут в Крыму был опущен на дно Черного моря небольшой стальной дом. Любители-подводники, которые провели несколько суток в этом доме, названном «Ихтиандр-66», будут гордо именоваться впредь первыми советскими акванавтами.

Корреспондент «Юности» Ю. Зерчанинов взял интервью у акванавта № 2 — московского инженера Дмитрия Галактионова.

— Расскажите об ощущениях, которые вы испытали, поселившись на дне моря.

— Наш дом стоял на глубине одиннадцати метров. Это, конечно, небольшая глубина. Я уже ходил и на пятьдесят метров, а на двадцать шесть ныряю с маской. Но когда Александр Хаес, организатор эксперимента, находился в первую ночь на дне моря один, мы, на берегу, не спали. Море в ту ночь слегка штормило, и мы готовы были в любую минуту прийти на помощь Саше.

— Когда вы находились в доме вдвоем, один мог ночью дежурить. А в первую ночь?..

— Когда я присоединился к Хаесу, мы оба в одиннадцать часов

ложились спать. Но телефон в доме никогда не выключался, а наверху, в палатке врача Якова Брандиса, стояли усилитель и магнитофон. Всю ту первую ночь мы слышали легкий Сашин храп и были спокойны. Саша — заядлый курильщик и ночью слегка похрапывает. Я думаю, он не обидится, что я выдал эту его тайну. Кстати, все разговоры берега с «Ихтиандром» писались на пленку — так сказать, для истории. Писались и все разговоры акванавтов между собой. Однажды мы с Сашей забыли об этом, и последовало грозное предупреждение: «Выбирайте выражения...»

— Вы когда присоединились к Хаесу?

— Двадцать четвертого августа

в шесть часов вечера — ровно через сутки после начала эксперимента. Последний раз взглянув на берег — солнце уже низко висело над горизонтом, — я стал спускаться навстречу пузырькам воздуха, которые поднимались из дома. Проник в дом через специальный люк-тамбур, и Саша радостно встретил меня.

— Так какие же ощущения испытываешь, живя в подводном доме?

— Никаких особых ощущений я за три дня испытать не успел. Аппетит не терял. Правда, пить не хотел — влажность повышенная сказывалась. Но зато в доме было тепло, мы ходили в одних плавках и легко переносили повышенную влажность. Все свои ощущения и впечатления мы записывали в бортовой журнал. Там был такой пункт: «Испытываете ли Вы нежелание выходить из дома в воду?» Нет, нас с берега даже сдерживали, не позволяли слишком часто выходить в воду.

— Далеко уходили от дома?

— Не очень. Долго пробыв под водой, даже на такой глубине, сразу всплывать нельзя: кессонную болезнь получишь. Поэтому, выходя с аквалангами из дома, мы старательно запоминали ориентиры. Дом стоял на песчаной поляне, около скалы. В соседних скалах было много пещер и гротов. В одной из пещер я подстрелил однажды великолепный экземпляр темного горбыля. Мы гуляли и перед сном. И эти ночные прогулки забываемы. После ярких шахтерских светильников в доме вода поначалу кажется черной, хотя на дно проникает рассеянный лунный свет. Но глаза привыкают, и мы уже видим друг друга на расстоянии до полутора метров. Вот Саша проплывает мимо меня, и за ним тянется зеленоватый искрящийся шлейф. Вспыхивают зеленоватые искры — и когда мы работаем ластами и когда выдыхаем воздух. Я включаю подводный фонарь, и луч света выхватывает неподвижно застывших рыб, прячутся крабы под камнями. Но скоро кончится воздух. На моих подводных часах половина одиннадцатого. Пора возвращаться, ложиться спать.

— Как прошла первая ночь в «Ихтиандре»?

— Спал хорошо. Снов никаких не видел. Я сны вообще очень редко вижу. Может, десяток снов за всю жизнь. Не больше.

— Вам сколько лет, Дима?

— Двадцать восемь.

— Кто в мире может похвастаться ночью, проведенной в подводном доме? Очень мало таких людей?

— Я как-то об этом не думал, когда засыпал в «Ихтиандре».

— О чем же вы думали?

— Думал: наконец-то впервые за семь месяцев я могу спокойно уснуть. Вспомнил новогодний праздник, который встречал в Донецке вместе со своими друзьями-подводниками из клуба «Ихтиандр». Тогда Саша Хаес и выдал идею эксперимента — изучить, как влияет повышенное давление и прочие необычные условия на организм человека, поселившегося на дне моря. Ведь Саша, как и многие его друзья по клубу, — врач по профессии. Но ни самого дома, ни компрессора, ни электростанции, ни оборудования тогда у нас не было. И денег почти не было... Некоторые члены клуба отдали на проведение эксперимента все свои сбережения. Кстати, проживание на дне моря обходилось акванавту по 3 рубля 30 копеек в сутки. А знаете, как в Евпатории раз-

гружались вручную две железнодорожные платформы?.. А как потом у нас обрывался балласт и дом выбрасывало на поверхность?.. Да разве все расскажешь... И в ту первую ночь на дне моря, лежа на своем надувном матрасе и слушая, как бурлит в воде выходящий из дома воздух и как скрипят стальные тросы, которыми крепился наш дом к бетонному балласту, я думал: наконец-то все это кончилось. Позади и частые травмы, потому что единственным рабочим инструментом у нас был фактически лом... Позади и все прочие зловключения. Наконец-то кончилась нервотрепка.

— Значит, мысль о том, что вы впервые засыпаете на дне моря, вас несколько не занимала?

— Меня занимало другое. Двадцать седьмого августа кончался мой отпуск, а мне предстояло еще неделю жить под водой. Подготовка эксперимента затянулась, мы начали его позднее, чем думали. Я боялся неприятностей на работе.

— Обошлось?

— С работы прислали поздравительную телеграмму, узнав, почему я опаздываю.

— И, подумав о неприятностях на работе, вы затем уснули?

— Надо быть до конца откровенным, да?

— Во имя истории...

— Я думал о Тане — она моя невеста. Жалел, что она уехала с Тарханкута, не дождалась, пока я спущусь в дом. У нее тоже отпуск кончился. Я жалел, что ее нет сейчас наверху и я не могу услышать ее голос, ее «Спокойной ночи»...

— А утром? Что было утром?

— В девять часов подъем по звонку с берега. Затем психологические испытания — работа со специальными таблицами и рефлексометром. Что это такое? На рефлексометре, например, когда гаснет лампочка, надо отпускать кнопку. На берегу я отпускал кнопку через 0,31 секунды. Мой лучший результат под водой — 0,43 секунды. Затем к нам опускалась лаборантка Рая, измеряла пульс, брала кровь на анализ...

— Так, значит, вас навещали в доме?

— И пищу опускали и корреспонденцию.

— Но посещения «Ихтиандра» все же ограничивались?

— Был и экспромт однажды. Москвич, поселившийся в лагере, приплыл с венгерской кофеваркой и настоящим кофе: харари, смешанным с арабикой. Кофе прямо с Кировской. И, несмотря на повышенную влажность, мы сварили на сухом спирте кофе на несколько порядков выше, чем местный, железудевый, который пили в лагере. Дно моря, а ты пьешь настоящий кофе и слушаешь твисты и Теодора Бикеля — программу, которую берег передавал нам для бодрости. Ничего?.. Эта кофеварка теперь историческая: на ней расписались все акванавты.

— Не так уж плохо вам жилось на дне моря.

— Во всяком случае, люди наверху выматывались больше, чем мы. Особенно доставалось руководителю технической группы Юрию Барацу, который ведал электростанцией и компрессором, и врачу эксперимента Якову Брандису. Меня-то можно спрашивать: «Видел ли сны?» Но те, наверху, ручаюсь, снов не видели. Для этого, как минимум, надо спать.

— А Таня прислала телеграмму в подводный дом?

— Тоже для истории?

— Конечно!

— Прислала письмо, просила меня замерить палец веревочкой: сколько сантиметров и миллиметров. Для обручального кольца.

— Замерили?

— Пока искал веревочку, начался семибалльный шторм. Это было двадцать седьмого августа. Сашу уже сменил акванавт № 3 Юра Советов. Он шахтер, работает на шахте крепильщиком. Но Юра успел провести в «Ихтиандре» только одну ночь.

— Шторм и на дне чувствовался?

— Дом сильно раскачивало. Смотришь в иллюминатор, и кажется, на тебя скала надвигается. Вот сейчас стукнет!.. Мы получили приказ выходить на поверхность. Жалко было бросать дом, я уже в нем обжился. И к бычку Сеньке, который поселился под люком-тамбуром дома, привык и к рыбам-зеленухам Соньке и Машке — они нам посуду «мыли». Мы бросали посуду прямо на дно, а две зеленухи ее очищали. У нас были даже знакомые крабы: Васька-краб и Митька-краб... Мы всплывали не сразу, делали остановки на глуби-

не семи и трех метров, чтобы предотвратить кессонную болезнь. Замерзли, пока поднимались, но на берегу нас накормили горячим супом и уложили в спальные мешки.

— Эксперимент был все же не завершен?

— Мы продолжим его следующим летом. Планируем глубину двадцать пять метров.

— Последний вопрос: сколько времени, Дима, вы могли бы прожить в дне моря, если бы это только от вас зависело?

— Один?

— Допустим.

— Не знаю... Кстати, сказать, шторм помешал спустить в дом щенка Вафлю. Его хотели спустить в резиновом мешке. И не ради эксперимента, а чтобы скучно не было...

Вальпургиев день

Помните предания о Вальпургиевой ночи, о шашке ведьм, о любовных страстях в Люциферовом понимании? А то, что недавно увидел я в Вологодской области, в верховьях реки Ёршуги, иначе не назовешь, как Вальпургиев день.

Присоединившись к экспедиции по отлову ядовитых змей, я поехал в Вологодскую область «на гадюку». Чтобы поймать гадюку, надо иметь два рюкзака продуктов, болотные сапоги, крепкие нервы, зоркие глаза. А также надо хорошо грести, ориентироваться в лесу и на болоте и, если нарвешься на ядовитые зубы, не бояться разрезать самому себе рану и спустить отравленную кровь. Ну и, наконец, змеелов должен владеть металлическим крючком вроде кочерги, хваталкой и пинцетом.

Да, чуть было не забыл самое главное. Надо научиться с чувством и проникновенно петь «На тебе сошелся клином белый свет...». Услышав эту песню, змеи охотно выползают из нор. И хотя на приглашение пожаловать в мешок змеи отвечают шипением, «угговорить» их переменить место жительства не так уж сложно. Главное — чтобы гадюка пришла на свидание, а остальное — дело вашего обаяния и ловкости рук. Точно знаю. На себе проверил. Хотя в тот момент, когда брал первую шестидесятисантиметровую «блондинку» — так мы называли серых гадюк, — состояние было, как перед первым прыжком с десятиметровой вышки.

Змея обвивает твою кисть, бьет хвостом. А страшные ядо-

витые зубы — всего в сантиметре от пальцев. Чуть ослабил напряжение, глянул в сторону, отвлекся — и змея вырвется, не забыв по пути укусить тебя. Можно, конечно, стиснуть пальцы крепче, но тогда змею задушишь или искалечишь. А она нужна живая и здоровая — ведь ее еще будут «доить». И чем больше она даст яда, тем больше сделают всевозможных лекарств.

Так что держишь гадючку бережно-бережно и так нежно, будто хочешь поцеловать. Потом заправляешь ее хвост в мешок и резким движением бросаешь голову вниз. Но и это не все. Змея тут же встает на хвост и норовит ударить. Тут уж гляди в оба, иначе разъяренная гадюка наверняка цапнет за палец.

Двадцать один день бродили мы по болотам, которые обходили стороной даже самые заядлые грибники и охотники. И вот однажды...

Представьте утыканное моховыми кочками болото. Бледное, как фонарь дневного света, солнце проглядывает сквозь облака. А по кочкам вышагивает приобщившийся к природе горожанин. Как всегда, он хрипло и старательно воет свое любимое заклинание «На тебе сошелся клином белый свет». И вот на том самом месте, где «пропал за поворотом санный след», он увидел нечто необычное.

Поначалу мне показалось, что это элементарная стихийная драка, когда бьют и своих и чужих. Но, приглядевшись, понял, что борьба ведется по кодексу чести. Три пары серых, рыжих и черных

самцов грозно шипели и свирепо бросались друг на друга. Резкий удар головой! Еще удар! «Брюнет» отлетел в сторону. Немного отлежался. Приподнялся над землей. И снова в бой!

Причем ядовитые зубы в ход не пускались. Победенные кое-как уползали в угол ринга и отогревали на солнце набитые синяки и шишки.

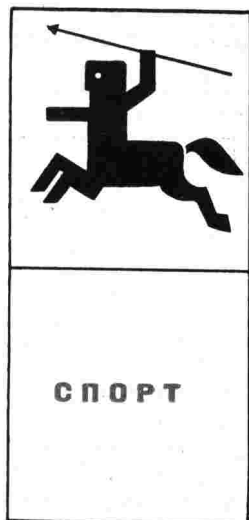
А с кочки, с мягкого мохового ложа, за схваткой лениво наблюдала большая черная самка. Что ни говорите, она была красива, эта «брюнетка»! Битва между тем клекотала! Схлестывались гибкие тела. Сухо щелкали удары головой. Сыпались проклятия и крепкие словечки, состоящие из одних шипящих.

Наконец, осталось двое претендентов на руку, простите, сердце прекрасной «брюнетки». Если раньше она относилась к турниру со старательным безразличием, то сейчас ее нервы сдали. Все-таки не безразлично: кто же будет отцом ее змеенышей?

«Брюнетка» подняла голову. Свернулась в клубок. Дуэлянты замерли. Потом она что-то прошипела. Это был сигнал, и здоровенный, сильный самец — эдакий рыжий детина — бросился на изрядно потрепанного «блондина».

И тут случилось невероятное! «Брюнетка» покинула ложе, спустилась к претендентам — и... причудливо сплелась клубок сразу из трех змей. Через мгновение он полетел в мой мешок. Составили им компанию и ранее отвергнутые искатели любовных приключений.

Б. СОПЕЛЬНЯК



Эвэ Киви

Я, АНТС И КОНЬКИ

Фото В. Мааск.



— О коньках? Я думала о кино! А что я могу сказать о коньках? Хотя... хотя мне есть что сказать о коньках. Я не только киноактриса, но и жена конькобежца, олимпийского чемпиона, вижу и знаю то, что никто не видит и не знает.

...Едва Антс Антсон сделал мне предложение, как сразу же уехал на сбор. А я — на съемки. Такова наша жизнь — спортсмена и актрисы. Собственно, настоящее знакомство состоялось... в письмах. Мы переписывались месяц, прежде чем снова встретились.

Это было осенью 1964 года, когда Антс был в расцвете славы. Многие мне тогда, конечно, завидовали. В зарубежных газетах мелькали наши имена и фотографии: Антс и рядом я как его жена и, конечно, как актриса кино. Признаться, сперва мне все это

льстило. Я даже представляла себе, что Антс стал чемпионом мира, трибуны рукоплещут ему, и я, его жена, тут как тут, и мне тоже бросают цветы.

В ту зиму, когда мы поженились, Антс стал выступать неудачно. Все шишки сразу же посыпались на меня: вот-де женился на Эвэ Киви, потерял форму и т. д. Сперва я думала, что действительно одна виновата во всем. Но, поверьте, я делала все, чтобы не мешать Антсу. Я видела, сколько сил он отдает спорту, как он переживает неудачи! Мне так хотелось ему помочь!

Но вот странно. Мы ведь почти не виделись: он все время был в разъездах, а все равно я как будто ему мешала!

Я старалась понять, в чем дело. И читала все газеты, которые пытались как-то объяснить его неуда-

чи. Писалось о технике, о подготовке, о форме... Дескать, не так подготовился. А куда больше было готовиться? Возвращаясь с тренировок, Антс в изнеможении падал в кресло, закрывал глаза...

Я как раз снималась в «Тобаго». Летала со съемок домой и обратно. Являюсь на съемку, режиссер смотрит на меня, смотрит и говорит:

— Нет, ты сегодня не Алиса!

А приезжаю домой, Антс говорит:

— Какая-то ты не такая, не Эвэ.

По-моему, у спортсмена, как и у актера, есть такая часть души, сердца, мыслей, которую он полностью должен отдать своему делу. Только тогда он не выйдет из образа. А что такое образ в спорте? Нет, это не спортивная форма. Может быть, психологический настрой? Тоже не совсем

так. Это нечто и над формой и над психологическим настроем.

Кто вопреки всему был в образе, так это Инга Воронина. Мне так казалось во всяком случае. Помню, как я познакомилась с ней, заехав на сбор к Антсу. Какая очаровательная она была, умная! Ее трагедия развевалась на глазах у всех... Ребята злились на ее мужа. А Инга держалась. Я думаю, она хранила свой образ.

У Антса все было по-другому. Все. Почти сразу после Олимпиады он остался без тренера. Его тренер Борис Арсеньевич Шилков ушел из сборной. И в этом была главная беда Антса, а совсем не во мне.

Мне кажется, что тренер — это как режиссер-постановщик. Раскрывая творческую индивидуальность спортсмена, тренер помогает ему выразить себя.

Я снималась в разных картинах, у разных режиссеров. И никогда никто из режиссеров не пытался подчинить мое понимание роли своим разработкам. Иной раз даже не можешь объяснить режиссеру свое понимание роли, образ только еще ощущается, только складывается в подсознании. И лишь когда переживешь вместе с героем все, что полагается по сценарию, и поймешь, что у тебя получается, а что не получается, идешь к режиссеру, советуешься.

Антс и Шилков очень хорошо понимали друг друга. Шилков всегда знал, чем помочь Антсу. Помню, мы приехали в Ленинград перед матчем СССР — Норвегия. Антс тогда уже «вышел из образа»: Шилкова в сборной не было. Стою я на трибуне во время тренировки и слышу разговор: «Это

Антсон или не Антсон?...» «Что ты! Какой это Антсон! Спорим!..» Ленинградские болельщики, на глазах которых вырос Антс, не узнали его.

Оставалось пять дней до соревнований, когда бывший тренер пришел Антсу на помощь. Всего пять дней! И за эти пять дней Антс побегал по-настоящему и занял второе место.

А разве можно за пять дней исправить технику? Тем более вернуть форму? Мне кажется, Борис Арсеньевич помог Антсу «войти в образ».

После того как Шилков ушел из сборной, заботы об Антсе принял на себя новый старший тренер. Он, конечно, хотел, чтобы Антс по-прежнему отлично выступал. Но считал, что для этого Антсу надо переучиваться, поскольку у него плохая техника. Но Антс, став олимпийским чемпионом со своей «негодной» техникой, не соглашался с тренером. Тот настаивал, а Антс не соглашался.

Кто из них был прав? Не знаю. Но знаю, что взаимодействия у тренера и спортсмена не получилось. Вот Антс и потерял свой «образ».

И вот еще о чем я думаю.

Спортивная слава недолговечна. А как трудна эта слава! Кто видел прославленного спортсмена, когда он возвращается домой после тренировки? У него нет сил нормально разговаривать. Даже улыбаться. Все его раздражает... Никто этого не видит, разве только жена. С годами спорт забирает все больше и больше сил. Искусство куда благодарнее! И уж если ты отдаешь ему часть души, то растешь

как художник, все более самодовольствуешься. Вот о чем я думала, когда слава Антса стала меркнуть.

Да, когда-то мне завидовали: жена олимпийского чемпиона! А чему завидовать? Антсону все нельзя! Все! Даже обед для него — это целая наука. Я поцеловала стала специалистом: знаю, где, когда, сколько и каких калорий надо мужу. Создаю Антсу еду в соответствии с этими требованиями.

Рождение ребенка — это радость. Для нас с Антсом рождение Фреда было тоже огромной радостью. Но родился сын, и сколько появилось новых проблем! Фред кричал два месяца кряду — нельзя было укрыться от его крика в нашей «типовой» малогабаритной квартире. Я отправляла Антса отсыпаться к маме. А один раз он даже сказал: «Я не знал, что будет так трудно».

В этом сезоне Антс тренировался еще больше. Он мечтает все-таки стать чемпионом мира. А я? Мечтаю ли я по-прежнему о цветах, которые буду принимать как жена чемпиона, об овациях стадиона? Нет. Станет Антс чемпионом, не станет — какая разница! Спорт открыл для меня прекрасного, сильного Антса. И за это спорту спасибо.

А теперь я хочу, чтобы Антс поступил наконец в аспирантуру. Я хочу, чтобы все ему было можно! Я хочу жить нормально, даже нарушать режим, наконец! Я не хочу быть женой чемпиона!

И все-таки... И все-таки, как и прежде, я буквально умираю от страха, когда Антс выходит на лед. Я так хочу, чтобы он победил!

Тренер из угрозыска

Карло Ундилашвили — старший лейтенант милиции, оперуполномоченный угрозыска. В Гори о нем ходят легенды. На Ткиавской дороге он догнал на мотоцикле грузовик, на полном ходу прыгнул в кузов, один обезоружил пятерых хулиганов и доставил их в отделение. В другой раз Карло бросился на стрелявших в него в упор двух грабителей, вынул пистолет у одного и обезоружил другого. Все «легенды» подкреплены служебными рапортами и благодарностями министра.

Но лучше всех рапортов и благодарностей о Карло мог бы рассказать Серго Каркишвили. Пять лет назад Серго был обыкновенным сорванцом. Удирал с уроков, бил фонари на улицах, «потрошил» колозные сады. Особенно любил с ватагой таких же 12-летних «разгружать» грузовики с капустой.

Карло — выпускник Горьковского пединститута и мастер спорта по самбо — заведовал в то время детской комнатой. С «грозой грузовиков» он познакомился «при исполнении служебных обязанностей»: во время очередного налета стащил мальчишку с пятитонного «ЗИЛа». Стащил и почувствовал, какой крепкий мальчишка — настоящий борец.

Карло научил Сергея бороться, водил его на соревнования, купил ему спортивную форму. Маленький «потрошитель» привязался к Карло и привел в детскую комнату всю ватагу. Так произошло «педагогическое чудо»: «потрошители» превратились в борцов. Хороших борцов. Но лучшим был Серго. Карло не ошибся в своих предположениях — его подопечный рос быстро. Сплошные чемпионские ступеньки: чемпион города, чемпион Грузии, чемпион страны среди юношей и, наконец, чемпион общества «Спартак».

— Или я ничего не смыслю в борьбе, или Серго будет чемпионом мира, — сказал мне Ундилашвили с непоколебимой уверенностью.

Что ж, запомним это имя. Серго Каркишвили уже давно вышел из-под «опеки» милиции. Занимается у маститого тренера. И те, из ватаги, тоже выросли. А Карло перешел в угрозыск. Работа тяжелая, что и говорить.

Но дважды в неделю он приходит в городской спортзал. Там его ждут маленькие друзья. Новые. Он их тренер. Ему это очень нравится. Ребятам — тоже.

В. КАДЖАЯ



Фото Ю. Моргулиса.

-4 что изменилось за год в моей жизни?—говорит Тамара.—Учусь уже в десятом классе. Улучшила свои спортивные результаты: на дистанции 400 метров сбросила, например, около четырех секунд. И, наконец, стала чемпионкой и рекордсменкой Европы в эстафетном плавании.

Думаю, что приз «Юности» выиграю последний раз. Я знаю, в плавании очень много способных девочек, которые моложе меня. И я не только Иру Позднякову имею в виду...

ВНОВЬ ТАМАРА СОСНОВА

Наш приз — приз самому юному чемпиону страны в одном из олимпийских видов спорта — был впервые вручен пятнадцатилетней московской школьнице, пловчихе Тамаре Сосновой, чемпионке страны 1965 года.

Подведены итоги 1966 спортивного года, и Тамара Соснова, теперь уже шестнадцатилетняя, вновь самая юная среди чемпионов страны.

Как и год назад, на приз «Юности» претендовали спортсмены 1949 года рождения: пловец Андрей Дунаев, гимнастки Наташа Кучинская, Лариса Петрик... Но, как и год назад, моложе всех (на

несколько месяцев!) оказалась Тамара Соснова. Она вновь стала чемпионкой страны, победив в плавании вольным стилем на дистанциях 400 и 800 метров.

Были ли претенденты на наш приз более юные, чем Тамара Соснова?

Да, и прежде всего четырнадцатилетняя фигуристка Галина Гржибовская. Она смело боролась за золотую медаль чемпионки страны, но все же осталась второй, уступив более опытной фигуристке Тамаре Москвиной.

В июле, в дни первенства СССР по плаванию, тринадцатилетняя Ира Позднякова почти на две се-

кунды улучшила мировой рекорд Галины Прокуменщиковой на дистанции 200 метров брассом. Но чемпионкой страны Ира не стала: она состязалась с Прокуменщиковой заочно, выступая на международных соревнованиях в Будапеште. Самая юная чемпионка страны по-прежнему Тамара Соснова. Значит ли это, что Тамаре повезло? Нет, история спорта показывает: легче стать рекордсменом, чем чемпионом.

Поздравляя Тamarу Соснову, мы от всей души желаем успехов и Галине Гржибовской и Ирине Поздняковой.

Н. САМОЙЛОВ

Виктор Славкин

СЕНИНА КАРЬЕРА

Сеня был страстным радиолюбителем. Это его и сгубило. Сеня мастерил транзисторы. Все свободное время он что-то паял, точил, клеил... А потом обставлялся всеми этими коробочками, щелкал рычажками и слушал.

Правда, глагол «слушал» здесь не совсем подходит. Дело в том, что Сеня не слушал свои транзисторы. Он только следил, чтобы при радиопередачах не было хрипов, свистов и прочих помех, чтобы звуки были ровными, чистыми, а что означали эти звуки — Первый концерт Брамса или советы огородникам, — для Сени было безразлично. Поэтому Сеня был, что называется, серым парнем.

И, разумеется, он страдал косноязычием. Ни одно, даже самое простое, предложение он не мог произнести, не сказав вначале: «Ну, это, как его...» А потом уже шла скудная мысль.

Но, повторяем, в радиоделе другого такого мастака, как Сеня, редко где встретишь. Его умение росло и росло с каждым днем, а транзисторы, естественно, уменьшались и уменьшались. Он уже сделал транзистор-книжку, транзистор — спичечную коробку, транзистор-запонку и транзистор-зубочистку.

И вот наконец наш Сеня подошел вплотную к созданию шедевра.

И он создал его. Это была горошина. Обыкновенная горошина. Если ее бросить в кучу гороха, от

других не отличишь. И, конечно же, этот маленький шарик, как и всякая вещь, окружающая Сению, была не что иное, как транзисторный приемничек.

— Значит, опять! — вздохнула жена. — Эх, голова, сколько же тебе этих граммофонов нужно? Занялся бы лучше делом. Вон сосед матрацы перетягивает...

— Ладно. Слышал... — пробурчал Сеня и стал собираться на работу.

Надо сказать, что, кроме своего увлечения в часы досуга, Сеня еще и работал.

— Ну, это, как его, что сегодня на обед? — крикнул он жене с порога.

— Гороховый суп. Да ты его не заработал!

— Ладно. Слышал... — сказал Сеня и хлопнул дверью.

Гороховый суп был действительно на славу. Давно Сеня не едал такого. Тарелка дымилась перед ним. Сквозь душистый пар просвечивала нежно-зеленая глады, подернутая желтизной жира.

— Ну, это, как его, ну... — смог только произнести голодный Сеня и начал есть.

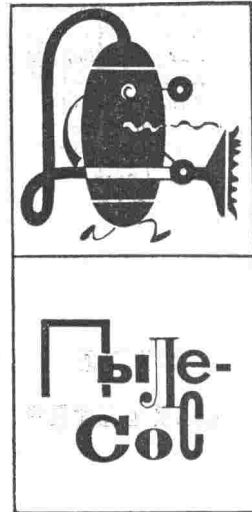
Поев, он отвалился от стола.

— Фу! — пропыхтел Сеня и похлопал себя по животу.

В животе что-то заурчало.

— Гороховый суп — музыкальный суп, — сказала жена.

И, как бы в подтверждение ее слов, в животе у Сени заиграл



рояль. Сеня испуганно уставился на жену, жена — на Сению. Из Сениных недр отчетливо звучал фортепьянный концерт композитора Сен-Санса.

Секунду Сеня прислушивался и вдруг вскочил как ужаленный.

— Ну, это, как его! — заорал он. — Где мой транзистор?

— Тихо ты, — шикнула на него жена. — Дай послушать. — И приложила ухо к Сениному животу. Ей очень понравилось музыкальное произведение композитора Сен-Санса.

— Где моя горошина?! — завопил Сеня.

Тут уж жена хоть и была далекой женщиной, а тоже догадалась.

— Ой, Сенечка, Сенечка! — залепетала она. — Я горох сортировала на столе, а твой транзистор тоже лежал на столе и играл... Потом передача окончилась, и все горошины стали одинаковыми. А у меня уже вода закипела, я все в кастрюлю и покидала. Ой, Сенечка, прости меня... Зато какой суп получился!

— Вот я тебе сейчас покажу, ну, это, как его... Через тебя, проклятая баба, я свой транзистор проглотил!

Сеня бросился было на жену с кулаками, но в это время музыка композитора Сен-Санса заструилась таким светом, печалью и благородством, что у Сени опустились руки. Они с женой присели на кушетку и, обнявшись, дослушали музыку до конца.

— Мы передавали концерт симфонической музыки. В тринадцать часов сорок пять минут последние известия.



• ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС

Сеня вскочил и бросился к двери.

— Вот видишь, как хорошо! — сказала жена. — Мог бы на работу опоздать, если бы не проглотил транзистор.

И действительно, Сеня еле успел на свое рабочее место.

Тут-то все и началось.

Только засели работать, как сосед слева спрашивает Сеню.

— Ты, — говорит, — не в курсе дела, какая завтра погода?

Уже было собрался Сеня ответить ему, что нет, мол, не в курсе, потому что радио никогда не слушает. Открыл было рот, как оттуда четко и ясно раздалось:

— Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура ночью около десяти, днем 18—20 градусов тепла. Ночью на севере области небольшой дождь.

— Дождь, говоришь, — недоверчиво сказал сотрудник слева. — Это значит, плащик надо захватить. — И уткнулся в свою работу.

Сеня сидел ни жив ни мертв. Боясь пошевелиться и плотно закрыв рот.

— Семен! — крикнула секретарша, сидевшая у кожаной двери. — К начальству!

«Ой, что будет...» — подумал Сеня и вошел в кабинет.

— Что ж это вы дневное задание не выполняете?

И только Сеня открыл рот, чтобы сказать свое: «Ну, это, как его...» — как раздался твердый, уверенный голос:

— Один оступился — позор всему коллективу. Взять, к примеру, навалотбойщика шахты семнадцатый товарища Проворова...

И Сеня подробно рассказал об этом поучительном случае.

Начальник опешил.

— Правильно понимаете, — сказал он Сене. — Теперь бы вам подтянуться надо...

— Повышение производительности труда — залог успеха каждого предприятия! — раздалось в ответ. — Взять хотя бы Соколовско-Сарбайский комбинат. До последнего времени...

И Сеня обстоятельно проанализировал работу комбината.

— Товарищ очень вырос, — сказал начальник заведующему отделом, в котором работал Сеня. — Обратите внимание.

— Обратим, — ответил заведующий, и Сеню тут же повысили в должности.

Сеня пулей вылетел из кабинета. Не то чтобы от радости — просто по программе, на которую был

настроен приемничек внутри него, кончалась передача из цикла «Беседы о сознательности в труде» и начинался концерт по заявкам полярников.

— Кстати, — подошла к Сене соседка справа. — Я только что слышала, как ты мурлыкал дуэт из «Пиковой дамы». Очень профессионально! У нас сегодня вечер. Ты должен выступить.

И Сеня выступил. Он сразу же получил звание лауреата конкурса на лучшее подражание Утесову, потому что спел песню ну прямо-таки его голосом.

Сеня, что называется, пошел в гору.



Рисунки М. Шестопала.

На следующий день утром он сделал блестящую политинформацию, в одиннадцать часов образцово провел производственную гимнастику, а перед обедом рассказал, что идет в каждом кинотеатре Москвы, и сообщил адреса всех срочных химчисток и пунктов сбора металлолома. В обед Сеню сразу избрали культормом,

физормом и председателем сектора быта.

После обеда Сеня отвечал на вопросы сослуживцев. На каждый вопрос у него был ответ. Правда, иногда он немножечко путал. Попросят его рассказать о вчерашнем футбольном матче, а он давай диктовать слова детской песенки. Но на это не очень-то обращали внимание. Ведь хорошую песню тоже разучить не вредно.

К вечеру второго дня своей головокружительной карьеры Сеня уже сидел в президиуме общего собрания. Только что он сделал большой доклад. Какой это был доклад! Ну прямо такой же, как в газетах печатают. В первом ряду сидела жена и, розовая от счастья, смотрела на своего. Сеню в полевой бинокль, а Сеня осторожно подмаргивал жене. Остальным это было незаметно, но при семикратном увеличении подмаргивание увеличивало свой смысл в семь раз. «Полный порядочек, полный порядочек», — как бы говорил Сеня.

Тогда он еще не знал, какая страшная и в то же самое время естественная судьба его ждет.

Утром, как всегда, Сеня проснулся без пяти шесть и лежал в постели, вслушиваясь в себя. Он ждал, когда внутри него, под самым сердцем, раздадутся позывные. Прошло пять минут. Позывных не было. Десять. Тишина. Сеня погладил живот. Молчание. Сеня стукнул по животу кулаком. Напрасно.

Сеня стал биться головой о стену. От стука проснулась жена.

— Что с тобой?

Сеня молча раскрыл рот, жена посмотрела на часы и сразу все поняла.

Но утро уже наступило, и Сене надо было идти на работу.

Только он появился в коридоре, его сразу же обступили сотрудники.

— Как сыграли «Спартак» — «Пахтакор»?

— Куда поехать в воскресенье?

— Что происходит в Греции?

— В каком ресторане можно заказать стол на восемьдесят человек?

— Когда будет солнечное затмение?

Обычно Сеня толково и обстоятельно отвечал на каждый вопрос в отдельности. Теперь же он обвел всех медленным взглядом и ответил всем сразу:

— Ну, это, как его...

Тут-то и кончилась Сенина карьера.

● ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС •

Н. Жуков,
народный художник СССР

певец наших улиц



Г. ХРАПАК. Москва. У Савеловского вокзала.

В годы Великой Отечественной войны познакомился я с Юрой — 20-летним юношей из Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Юра Храпак был в то время старшиной студии, и атмосфера товарищества, взаимной выручки и доброжелательства, царившая в студии, исходила во многом от его личного примера. Он умел быть всегда добрым и авторитетным другом и пользовался уважением всего коллектива художников. Я вспоминаю эту страничку его биографии и характера, проходя по выставке, посвященной 25-летию творческой деятельности Г. Храпака. Демонстрируется его искусство, то есть результат жизни художника, а среда и характер — формирующие начала в творчестве любого из нас.

Еще в период войны грековцы узнали Юру Храпака, не только как талантливого молодого художника, дисциплинированного офицера, но и способного поэта, написавшего в то время десятки задушевных стихотворений и песен. Его песня «Я тоскую по Родине, по родной стороне моей...» была одной из широко распространенных и любимых песен в дни Великой Отечественной войны. Как эта песня, искусство Г. Храпака лиричное, красивое, человеческое.

Пережив, прочувствовав народные тревоги и беды военной поры, Г. Храпак в мирное время перенес всю свою любовь на наши милые, спасенные от фашизма города, на пейзажи родной земли. Он внимателен к мотивам русской старины и к современному гордому облику новых кварталов. С

каждым годом расширяется интерес художника к нашей столице; перед зрителем открываются прелести тихих, с вековой сединой, московских переулков и Москва, шумная, неумная, полная динамики сегодняшних будней.

Вспоминая прошлую выставку работ Г. Храпака, которая была лет шесть тому назад, удивляешься росту мастерства художника. В его сегодняшнем почерке много мужества, уверенности, хорошего вкуса. Высокие критерии, гражданский и эстетический, составляют главное в решении художником сложных творческих задач. Вот почему то, что показывает Храпак, радует новизной открытий, хотя зрителю уже хорошо известны многие городские сюжеты, взятые Храпаком.

Для истинного искусства нет «некрасивых» красок, — есть лишь негармоничное их сочетание; и нужно обладать даром композитора, быть мастером тона и цвета, чтобы сложить из любого городского пейзажа ту единую цельность души города, что будет называться в одном случае Загорском, в другом — Ярославлем, Воронежем, Москвой, Баку и т. д. Вот над этой трудной задачей и работает художник и многое решает верно, успешно. Можно прекрасное изобразить посредственно, и можно незаметное, «бросовое» поднять до изумрудного великолепия. В этом тайна живописи. И когда я смотрю на натюрморт Г. Храпака, где фрукты и овощи, и рядом с ними вижу измятый, прозаический пакет, в котором, видимо, и принес художник плоды в свою ма-

стерскую и из которого сумел извлечь уже не овощи и фрукты, а столько эстетического обаяния, то я не сомневаюсь, что сотни глаз удивятся и радостно озадачатся этой тайной искусства. В книге отзывов есть много искренних и горячих слов одобрения художнику, а мне, его давнему другу, хочется от имени всех тех, кто начал с ним путь в Монине, в студии имени М. Б. Грекова, поздравить Юру с успехом, — впрочем, в любимом им искусстве он давно уже для всех нас может называться Георгием Васильевичем...



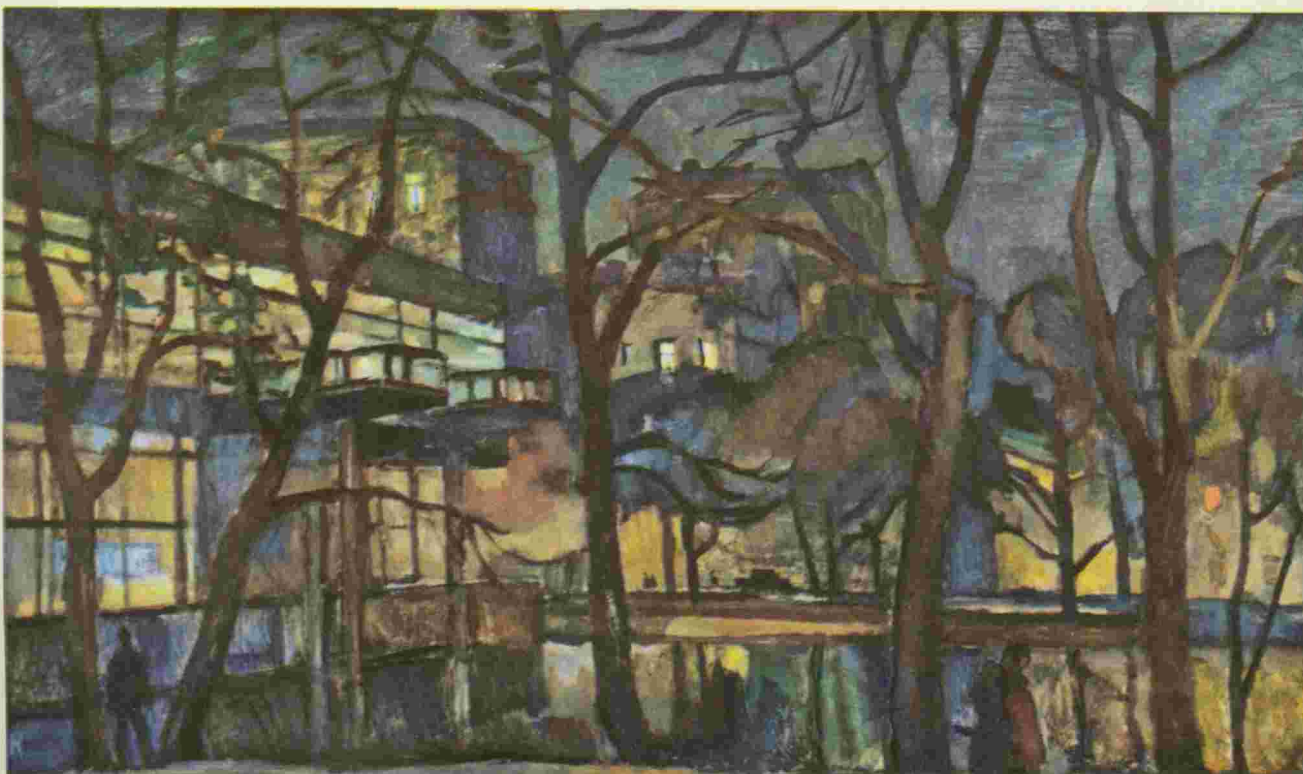
Г. ХРАПАК. Из зарубежных путевых зарисовок.



Трубная площадь зимой.

Выставка произведений Г. ХРАПАКА.

Московский вечер. Чистые пруды.





Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ [отв. секретарь], Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120.